Новый Журнал

81

THE NEW REVIEW

THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели
М. АЛДАНОВ и М. ЦЕТЛИН

С 1946-го по 1959-й редактор М. КАРПОВИЧ

Двадцать четвертый год издания

КН. № 81 НЬЮ ИОРК 1965

РЕДАКЦИЯ:

Р. Б. ГУЛЬ, Н. С. ТИМАШЕВ

NEW REVIEW, December 1965
Quarterly, No. 81
2700 *Broadway, New York* 25, *N. Y.*
Subscription Price $9. — *for one year*
Publisher: New Review, Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Г. Газданов — Пробуждение 5
А. Величковский — Сон, поэма 34
Ю. Марголин — Книга о жизни 37
И. Елагин — Ниагара 75
Г. Адамович — Оправдание черновиков 78
Н. Туроверов — Стихи 97
К. Померанцев — Стихи .. *Последняя статья Льва Лунца* 98
99
А. Раннит — Стихи 104
Вл. Дукельский — Из американских поэтов 105
Ю. де Бособр — Стихи из тюрьмы 108

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

М. Грин — Письма М. Алданова к И. А. и В. Н. Буниным 110
Н. Валентинов — Ленинец раньше Ленина 148
Е. Тагер — О Мандельштаме 172
Стихи из СССР — О царе Никите 200

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

Л. Бинсвангер —Воспоминания о С. Л. Франке 209
Ф. Степун — Вера и знание в философии С. Л. Франка 227
Д. Анин —Русская революция и либерализм 231
Н. Кошелев —Идея свободы —в русском народе 251

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:

В. М. Зензинов — Записи 271

БИБЛИОГРАФИЯ: *Л. Закутин:* — С. Л. Франк. Душа человека. *Д. Чижевский* — Русские поэты XIX века. *Д. Чижевский* — Новые книги о Достоевском. *Ю. Иваск* — Ants Oras. Acht estnische Dichter. *Ю. Иваск* — V. Markov. The longer Poems of V. Khlebnikov. *Ю. Офросимов* — И. Гундулич. Слезы блудного сына. *О. Анстей* — Л. Алексеева. Прозрачный след. *Д. Чижевский* — И. Гундулич. Слезы блудного сына. *Л. Алексеева* — К. Пестрово. Цветы на подоконнике. — *Книги для отзыва*..... **277**

PRODUCED BY RAUSEN LANGUAGE DIVISION
150 VARICK STREET. NEW YORK, N. Y. 10013

ПРОБУЖДЕНИЕ*

Он думал о том, о чем он говорил с Франсуа. Всё представлялось ему смутным и нестройным, всё захватило его врасплох и он не мог сделать из этого тех выводов, которые нужно было сделать. Он вдруг вспомнил, как в лицее, когда он написал одно из наиболее трудных сочинений, учитель сказал ему:

— У вас, Форэ, в том, что вы пишете и в том, как вы пишете, преобладает элемент впечатления, а не последовательного рассуждения. Сочинение должно быть написано так, чтобы было ясно что именно вы хотите сказать и чтобы был так же ясен ход тех рассуждений, которые привели вас к вашему окончательному заключению. У вас нет этой последовательности, вам нужно обратить на это внимание. Во всем необходима строгая дисциплина и дисциплина мышления — прежде всего.

«Дисциплина мышления», «логические выводы»... Эти слова звучали теперь с особенной неубедительностью. Всё это может быть имело значение до самых последних дней, но теперь то, что было раньше, рухнуло и возникло нечто новое, что могло оказаться или счастьем или катастрофой. Пьер думал о том, что он давно и с необыкновенным упорством стремился к той цели, которую теперь можно было считать достигнутой; вся его жизнь была построена на этом расчете. Но сейчас, когда настало то, чего он тщетно так долго добивался, он не знал, что дальше делать. Он думал о том — и эта мысль казалась ему абсурдной и возмутительной: может-быть было бы лучше, если бы Мари не приходила в себя? Пока она не понимала происходящего, всё было ясно и просто. Теперь не оставалось ни этой ясности, ни простоты. Пьер знал, как он

---

* См. кн. 78, 79, 80 «Н. Ж.» Copyright by "New Review", 1965.

должен действовать по отношению к Мари. Но это было одно. А другое — было чувство непоправимой потери, которое он испытывал: то, ради чего он жил, перестало существовать. Теперь возник новый вопрос: что могло связывать его с этой неизвестной женщиной? До последнего времени он был ей необходим, как больному — врач или сиделка, как ребенку — родители. Теперь Пьер ей был нужен только до того времени, когда наступит день ее возвращения к прежней жизни.

— Она не может понять того, что произошло — думал Пьер. — Разве она может знать, сколько усилий потребовалось для того, чтобы она спокойно дожила до своей болезни, до этой высокой температуры, до этого последнего сдвига, который вернул ее к сознательной жизни? Весь этот долгий период времени, — то, как она жила у Франсуа, как я ее привез в Париж и то, что было в Париже — это знаем только мы, Франсуа и я. Она ничего не знает, не знает чего стоило вернуть ее к жизни. И она не должна этого знать. Для нее это не существует. Но что будет теперь? Наконец он решился вернуться домой. Мари сидела в своем кресле и как бы ждала его.

— Вам звонили по телефону, — сказал она, — но когда я ответила, тот кто звонил, повесил трубку.

Пьер пристально на нее посмотрел, вздохнул и вышел из комнаты.

* * *

— Конечно, c'est un cas de conscience, — сказал Франсуа.

Это было на следующий день, когда Пьер вызвал Франсуа и они встретились, как всегда, в кафе. Четверо пожилых людей за соседним столиком играли в карты. За другим сидел старик с мутными глазами и седыми усами, с неподвижным, точно деревянным лицом; время от времени он подносил стакан красного вина и Пьер заметил, как у старика дрожали руки. Еще дальше сидела немолодая, очень накрашеная женщина, с ней разговаривал смуглый человек южного типа, обе руки которого были татуированы.

— Я плохо спал, — сказал Пьер. — Ты знаешь, я теперь

особенно жалею, что никогда так и не научился логически мыслить. Но всё-таки одно мне ясно.

— Что именно?

— Она не должна знать подробностей того, что происходило в течение всех этих лет. Ей надо об этом сказать в нескольких словах: — она потеряла сознание и память, ты ее поднял с дороги, она жила у тебя. Потом я привез ее в Париж и здесь через некоторое время она пришла в себя. Больше ничего. Я ей приблизительно так и рассказал и жалею еще, что сказал слишком много.

— Ты думаешь, что о твоей роли во всем этом не нужно говорить? Ты не хочешь, чтобы она считала себя обязанной тебе тем-то и тем-то? Что это в какой-то степени связывало бы? Ты это хочешь сказать?

— Ты понимаешь, если она будет думать, что без нас она бы погибла, это может в известной мере стеснить ее свободу и с нашей стороны это было бы нечто похожее на моральный шантаж.

— О каком шантаже может быть речь, что ты рассказываешь? — сказал Франсуа. — Но дело не в этом. Я сейчас думаю не о ней, а о тебе. Потому что тебе надо опять перестраивать свою жизнь.

— Ты знаешь, сказал Пьер, — у меня такой хаос в голове, что я плохо представляю себе значение всего что произошло. Я никогда, мне кажется, не испытывал такой душевной тревоги. Вместе с тем это нелепо, я должен был бы чувствовать себя счастливейшим человеком в мире. Это так и было в начале, когда я убедился, что она пришла в себя. А сейчас...

Франсуа смотрел на него с сожалением. Он глядел на Пьера, точно видел его первый раз: незначительное лицо с печальными глазами, очень белые и чистые руки с короткими ногтями, необычайная аккуратность во всем облике — у Пьера всегда был такой вид, как будто он только что принял ванну, только что побрился, только что был у парикмахера, и надел только что разглаженный костюм. Но кроме этих особенностей, — подумал Франсуа — у Пьера был вид человека, у которого не может быть в жизни решительно ничего, что резко отли-

чало бы ее от других, самых обыкновенных существований, вплоть до профессии. Именно людей такого облика социологи и журналисты называют средними французами. «Если вы поставите этот вопрос среднему французу...» — «Если вы спросите среднего француза, что он об этом думает...» — «Огромное большинство так называемых средних французов...» — где он читал эти слова? Он сделал усилие и вспомнил: это была статья в журнале, автор которой, известный социолог, доказывал, что в условиях современной цивилизации неизбежно вырабатывается средний тип людей, у которых нет резко выраженной индивидуальности, которым поэтому закрыт путь к известности и которые всегда остаются на своих скромных местах — рабочие, служащие, мелкие коммерсанты. Разница в их происхождении, наследственности, их личных особенностях мало-по-малу стирается жизнью, которую они ведут и в которой фактически нет возможности выделиться. Сам по себе этот стимул выдвижения в их существовании постоянно отмирает и в результате в современном обществе формируется именно тот тип среднего человека, на который так часто ссылаются и которому одинаково чужды и непонятны и подвиг, и преступление, и душевное благородство, и крайняя душевная низость. Современный мир, — писал автор статьи, — характеризуется всё возрастающим числом именно таких людей, общественных животных, если пользоваться терминологией Аристотеля. И если это будет продолжаться, то культуре и, в частности, искусству, грозит опасность иссякнуть. Уже в наши дни трудно представить себе появление Софокла, Леонардо да Винчи, Шекспира, — не потому, что больше не может быть таких гениев, а оттого, что для современной цивилизации характерна тенденция нивелирования человека. История человечества, это история преступлений и подвигов, — это Библия, это Атилла, это Иоанн Грозный, Наполеон, зловещие призраки, время которых кончилось... Мы вступаем в эпоху торжества среднего человека, когда десятки миллионов людей будут жить совершенно одинаковой жизнью, в одних и тех же условиях и даже внешне станут похожи друг на друга, как это наблюдается уже теперь в некоторых промышленных центрах земного шара. По-

смотрите на этого среднего человека и вы убедитесь, что в его жизни не будет ничего неожиданного, ничего чрезвычайного, ничего выдающегося — он неспособен ни на преступление, ни на героизм, ни на крайнюю подлость, которая могла бы его отличать от других, ни на великодушие, которое могло бы сделать его непохожим на современников.

Всё это Франсуа вспомнил в несколько секунд и вернувшись к началу своих размышлений, подумал, что по своему внешнему облику и по своей профессии Пьер был именно одним из тех средних людей, о которых была написана эта статья.

— О чем ты думаешь? — спросил Пьер.

— О том, как всё нелепо, — сказал Франсуа. — Вот, мы ставим себе какую-то цель и делаем всё, чтобы ее достигнуть. И нам кажется, что когда эта цель будет достигнута, тогда всё станет замечательно. Иногда, конечно, это так и бывает, но далеко не всегда. То, что мы делали для достижения этой цели, было смыслом нашего существования. Но вот, цель достигнута. Что дальше? Это именно то, что произошло с тобой. Но с тобой случилось еще одно — ты, в сущности, сделал всё, чтобы помочь женщине, которую ты не знаешь и которую никогда не знал. Ты знал это несчастное существо, это бедное животное, которое называл Мари. Ты сделал для этой Мари всё, что мог — и ты добился того, что она, эта женщина, в которой за последнее время был смысл твоей жизни, перестала существовать.

— Да это так и есть, — сказал Пьер, — я это понимаю. Но я не мог поступить иначе и я искренне рад тому, что случилось. Я только не знаю, как действовать теперь.

— Ну, — сказал Франсуа, — ты же сам сказал, что тут у тебя так же нет свободы выбора, как не было до сих пор. Ты говоришь, что она стала совершенно нормальной?

— Я в этом убедился, когда позвонил ей по телефону.

— Я не знаю, — сказал Франсуа, — значит ли это, что она вспомнит то, что было раньше в ее жизни. Но это конечно может случиться. И может быть опять таки, в этом случае ты останешься ее хорошим знакомым.

— Нет, тогда я ей буду ненужен. Ты знаешь, я сейчас

чувствую необъяснимую душевную усталость. Ты думаешь, может быть это и есть результат достижения цели? Тогда по-твоему, выходит, что достижение цели несет в себе всегда, с самого начала, нечто разрушительное, так сказать, свою собственную смерть? Что же тогда делать дальше?

— Если у тебя еще есть силы, то поставить себе другую цель, — сказал Франсуа, поднимаясь. — Или делать, как советуют англичане: wait and see.

* * *

Когда в этот вечер Пьер вернулся домой, приготовил ужин, и он и Мари сели за стол, он смотрел на нее с упорным вниманием и не переставал удивляться. Он успел привыкнуть к мысли, что по-настоящему он никогда не знал ее лица, потому что до сих пор оно было искажено пустыми, светлыми глазами. Но то, что удивляло его теперь, это было выражение неподвижного спокойствия в лице Мари, которое, как он думал, не могло отражать того, что должно было происходить в ее душе. Правда, она не могла еще понять всего значения того, что с ней произошло и может-быть некий инстинкт самосохранения предохранял ее от этого; если бы она поняла сразу всё, ее еще хрупкое сознание могло бы и не выдержать такого потрясения. Но так или иначе на ее лице было выражение безмятежного покоя, — как будто всё было решено раз и навсегда, как будто это решение было именно таким, как нужно и никаких оснований для волнений не было.

Он говорил с ней за ужином о самых обыденных вещах. Она ему коротко отвечала. Потом сказала, что ей опять хочется спать и ушла в свою комнату. Пьер остался один. Он начал читать вечернюю газету, которую принес с собой и никогда содержание известий и статей, которые были в ней напечатаны, не казались ему столь незначительны и неинтересны.

Он сел в кресло и закрыл глаза. До него смутно доносился стихающий в этот час шум улицы. Как многие люди, привыкшие к одиночеству, он думал вслух. Но он давно уже, — с тех пор, как в его квартире жила Мари, — привык говорить шопотом, чтобы ее не разбудить, если она спала или не по-

беспокоить, если она не спала. Он думал об ответственности, которую взял на себя — в тот день, когда решил увезти Мари в Париж. Он сидел в кресле и шептал почти беззвучно: wait and see.

— Если бы психиатр оказался прав и она действительно не вспомнила прошлого, а начала бы жить новой жизнью и если бы она спросила меня, как надо понимать то или иное, — что мог бы я ей ответить?

Он всегда завидовал тем, кто твердо знал, — или считал, что знает, — как надо жить и что надо думать. Таких людей было много. Большинство, с кем он сталкивался в своей жизни, или вообще не ставили себе никаких вопросов, не стараясь понять подлинного смысла того, что видели или чувствовали, или были чужды всяких сомнений и у них были готовые ответы на всё. Таким был его отец, который с одинаковой категоричностью судил обо всем, начиная от скачек и кончая литературой; он всегда знал, в чем ошибается тот или иной министр, когда произносит речь о политическом положении, чего не понял автор той или иной книги, как играет свою роль тот или иной артист и так далее. Такими были и некоторые сослуживцы Пьера, такими были и некоторые его товарищи по лицею и все они относились к нему с постоянной снисходительностью — надо же знать, милый мой... Но что можно было знать, в чем можно было быть уверенным — в этой непонятной, бесконечной сложности мира, который окружал Пьера? Самыми умными считались те, — как это неоднократно замечал Пьер, — которые ко всему относились критически, которые ни во что не верили и объясняли всё происходящее личной заинтересованностью и соображениями корыстного порядка. Но это было бы правильно, — думал Пьер, — только тогда, если бы человеческая жизнь и деятельность неизменно руководились чисто отрицательными побуждениями и если бы не существовало огромного количества людей, которые жили и действовали так или иначе не потому, что могли извлечь из этого личную выгоду, а оттого что были убеждены в необходимости действовать именно так, чем бы это не грозило, вплоть до тюрьмы или смерти.

— Но все это соображения слишком общего порядка, — шептал Пьер. — Поставим вопрос иначе. Если Мари будет спрашивать меня о самых важных вещах в жизни, что я должен сказать? Надо выработать какие-то ответы на вопросы, которые она может мне задавать. Надо об этом подумать, надо поговорить с Франсуа. Уже давно наступила ночь, а Пьер всё сидел в кресле, не зажигая света. В квартире была полутьма, так как ставни не были затворены и с улицы доходил свет фонарей. Пьер видел стол, стулья, кресло, буфет, часы, вделанные в мраморный треугольник, те самые часы, которые он знал с детства, как впрочем, и всё остальное, не изменившееся за много лет. Когда он смотрел на обстановку своей квартиры, ему иногда начинало казаться, что жизнь давно остановилась; что когда-то происходило бурное движение, которое прекратилось, застыв раз навсегда в этих стенах и в этой мебели, вневременной и безличной, которая ничем не отличалась от миллионов таких же стульев, таких же буфетов, таких же кресел, стоявших в разных местах с такой же мертвой невыразительностью. Пьер вдруг вспомнил о необыкновенном потрясении, которое он испытал, когда ему было четырнадцать лет и когда его отец решил, что в воскресенье они всей семьей отправятся в Лувр, в котором Пьер до тех пор никогда не был. Пьер помнил ощущение неловкости, которую он чувствовал, когда надевал свой воскресный костюм, — тугой, непривычный и чем-то тягостный, — праздничный облик его родителей, которые казались ему чужими, потому что на них было платье, в котором он не привык их видеть, длинные коридоры музея, залы, следовавшие за залами и это огромное количество картин, проходивших перед его глазами первый раз в жизни. Отец ему объяснял — фламандская школа, Возрождение, семнадцатый век французской живописи. Он говорил уверенно, как всегда, но потом Пьер убедился, что его отец знал обо всем этом очень немного и путал имена художников. Когда они вышли из Лувра, перед глазами Пьера продолжало стоять сложнейшее смешение красок и лиц, бесчисленные переливы черного и красного цветов, кардинальские мантии, надменные лица королей, восторженные глаза святых, голые тела жен-

щин, то узкие, то широкие, розовые, белые, смуглые, деревья, море, поля, собаки, мечи, латы, калеки и нищие, безмолвные толпы людей, усы, каски, львы, лошади, путь на Голгофу, солнечный свет и сумерки, стрелы, вонзающиеся в святого Себастьяна, воины, сражения, смерть побежденных, торжество победителей. Пьер никогда не представлял себе этого необыкновенного богатства, этого кладбищенского великолепия музея, где был представлен исчезнувший мир, который нельзя было сравнить ни с чем, что Пьер знал и видел обычно: серые улицы Парижа, люди в пиджаках, женщины в обыкновенных платьях, безличный отблеск желтого электрического света, — мир, в котором погасли краски, потухли глаза, в котором не осталось ни пророков, ни святых, ни этого бурного расцвета жизни во всем ее чудовищном многообразии. Пьер плохо знал историю, еще меньше знал живопись, но это посещение Лувра погрузило его в такую глубокую печаль, какой он никогда до этого не испытывал и причины которой не были ему ясны; в конце концов, это было зрительное впечатление и, казалось бы, ничего больше. Но он увидел то, о чем раньше не имел представления и после этого ему стало казаться, что он живет в постоянной убогой полутьме скудно освещенного подвала. Он понял это не тогда, когда вернулся домой из Лувра, не тогда, когда ему было четырнадцать лет, а значительно позже, но это чувство подавленности и жестокого лишения того, на что он имел право, — это смутное и непонятное ощущение он тогда уже чувствовал с необыкновенной силой. Он нередко возвращался потом к этому незабываемому впечатлению от Лувра. Оно постепенно расширялось и переходило в то сложное ощущение, которое сопровождало его всюду, и в подлинном происхождении которого он не отдавал себе отчета. Это было почти необъяснимо. Как, казалось бы, зрительное воспоминание об отблеске солнца на каске неизвестного героя, или о неподвижных глазах портрета, написанного в начале шестнадцатого века, или о круглых линиях лошадиного крупа, — каким образом эти впечатления могли привести его к этому ощущению неудовлетворенности своей собственной жизнью, к нелепой мысли о том, что он, Пьер, в силу жестокой неспра-

ведливости судьбы, был раз навсегда лишен доступа к настоящей, полноценной жизни, а не такой как та, которая выпала на его долю, — доступа к этому воображаемому великолепию, к этой полноте, к этой силе чувств, к трагедии и торжеству, к тому, ради чего, в сущности, только и стоило жить, — доступа, которого ему никто никогда не обещал и никто никогда не мог обещать, потому что в мире не существовало никого, у кого была бы власть и возможность дать и выполнить это обещание. Могло случиться так, что какая-то мировая катастрофа вырвала бы Пьера из той жизни, которую он вел дома и на службе, всё изменилось бы, и тогда, быть-может, он узнал бы тот новый мир, которого ему так нехватало до сих пор. Но когда эта мировая катастрофа действительно произошла и Пьер попал в действующую армию, то в этой полной перемене его жизни не оказалось ничего такого, ради чего стоило бы чем-либо жертвовать. Когда он вспоминал о войне, он неизменно видел перед собой дороги Франции, солому, на которой спал, и это бесконечное и бессмысленное движение, в котором он участвовал так же, как миллионы других людей, одетых в военную форму. Потом были тяжелые обстрелы, рвущиеся снаряды и бомбы, развалины зданий, хаотическая нелепость, которая угрожала смертью всем, кто попадал в эту полосу огня и опасности безличной, как судьба, и в которой не было ни противника, ни возможности победы или даже сражения: первого германского солдата Пьер увидел только в Париже, после того, как он был демобилизован и вернулся в свою квартиру. До этого были бесконечные переходы, ночлеги в деревнях или в полях, сообщения о прорывах, о наступлении танковых соединений, но его часть, попавшая в середину этого сложного движения сотен тысяч вооруженных людей, не участвовала ни в одном бою и не заняла ни одного города. Это были переходы — из одного места в другое, — в таком-то часу, в таком-то направлении — иногда везли на поезде, составленном из разных вагонов, преимущественно товарных, но чаще приходилось идти пешком, то под солнцем, то под дождем и так это продолжалось до того дня, когда стало известно что их воинская часть окружена и остается

только ждать плена, который положит конец этому длительному и бесцельному передвижению, давно потерявшему всякий военный смысл.

Была уже поздняя ночь. Пьер прошел в свою комнату, разделся и лег в постель. Он чувствовал такую глубокую усталость, которой, как ему казалось, он раньше никогда не испытывал. Он сделал усилие, чтобы подумать еще раз о том, о чем он думал весь вечер, но мгновенно заснул.

* * *

В первый раз за долгое время, в эту ночь Мари, или, вернее, женщина, которую Пьер называл Мари, не могла заснуть — и лежала с открытыми глазами. Она испытывала новое ощущение — чувствительности к тому состоянию, в котором находилась и ко всему, что было с этим связано. Она чувствовала мягкость постели, движения своего собственного тела, чувствовала, как подымалась и опускалась грудь от ее дыхания. Это было ощущение животного счастья — тепло, спокойствие, шум дождя за окном. И еще одно — то, что недалеко от нее был Пьер — его присутствие, как ей казалось, она чувствовала всегда.

Целый мир — далекий и чужой — возникал перед ней, тот мир, о котором она никогда до сих пор не говорила с Пьером и о котором он спрашивал ее столько раз. — Мари, вы знаете, кто вы? С недавнего времени она это знала. В течение нескольких дней, после того, как она начала выздоравливать, она думала о том, что было раньше в ее жизни и каждый день ее воспоминания уходили всё глубже и глубже в прошлое, сначала бесформенное и отрывочное, потом точно всплывавшее перед ней с неожиданной отчетливостью. Теперь, как ей казалось, она вспомнила почти всё. Но то, что предшествовало ее погружению в многолетнее небытие, история ее собственной жизни, которая обрывалась на том дне, когда в дыму и грохоте бомбардировки, она, оставив автомобиль — его мотор отказался работать — пересекла небольшой лес, вышла на проселочную дорогу, увидела перед собой ослепительный блеск взрыва и потеряла сознание, — всё это как будто происходило не с ней, а с кем-то другим. В том, что она вспом-

нила, не было ничего, что возбуждало бы в ней сожаление или вообще какое-либо чувство. У нее было впечатление, что она смотрит издалека, чужими и холодными глазами на то, что все, кто ее знали, назвали бы ее жизнью... Всё это было похоже на то, как если бы она решила написать книгу о людях, которых она никогда не знала, которые никогда не существовали, но которых она видела перед собой. Это было похоже на воображаемый мир, чужой, далекий и неубедительный. — Мари, вы знаете, кто вы такая? Да, конечно. Она знала, что ее звали Анна Дюмон, что ей было двадцать девять лет, что в начале войны она жила в Париже, на улице Монтевидео, была замужем, что ее мужа звали Жак и что в то время, когда она уезжала из Парижа на юг Франции, он был в армии, на фронте. Ее мать умерла, когда Анне было семнадцать лет, и отец умер за год до войны. Что было еще? Знакомые ее мужа, поездки на море и заграницу — Мадрид, Барселона, Флоренция, Рим, Венеция. Всё это было бесконечно далеко. Но всё-таки что-то в этом было, какое-то ощущение неудовлетворенности и неправдоподобности. Что-то было не то, что-то, в чем она не могла отдать себе отчет и чего она не могла вспомнить. Что это могло быть? И почему теперь у нее не оставалось даже отдаленного сожаления об этом исчезнувшем мире, в котором проходила ее жизнь? Может быть это было последствием того небытия, в котором она провела столько лет и о чем ей говорил Пьер? Может быть она потеряла теперь способность чувственного воспоминания об этом, как люди теряют зрение или слух?

Она глубоко вздохнула, заложила руки за голову и потянулась всем телом. Ее опять охватило ощущение теплого блаженства. Ее глаза были открыты, ее слух улавливал все звуки, все ее мускулы ей повиновались и ей казалось, что она никогда не чувствовала жизни своего тела и своего сознания с такой отчетливостью, как теперь. Неужели она была еще совсем недавно больным существом с погасшими глазами, влачившим то животное существование, которое ей описывал Пьер? Она ничего не помнила об этом. Единственное, смутное, но постоянное ощущение, которое тогда было таким же, быть-может,

как и теперь, с той только разницей, что оно не отражалось в ее омертвевшем сознании, это было ощущение присутствия Пьера. Но почему ее прежняя жизнь казалась ей чужой и ненужной, — сейчас в эту глубокую ночь, под шум дождя, в этой теплой постели?

Ей вспомнилось далекое детство, книги, которые она с жадностью читала, — путешествия, подвиги рыцарей и героев, стихи о любви, где говорилось о том, чего она не знала и не понимала, но что, как она это думала позже, она смутно предчувствовала. Когда ей было двенадцать лет, она представляла себе свою собственную жизнь, как продолжение того, что она читала, как новое и непрекращающееся путешествие по этому чудесному миру, в котором звучали магические слова о единственной любви. Она никогда не училась ни в какой школе. К ней приходили учителя, преподававшие ей те предметы, знание которых было необходимо, чтобы сдать экзамен на аттестат зрелости. И вот тянулись годы уроков алгебры, тригонометрии, истории, географии, литературы, философии, английского языка, появились новые книги, которые она читала с восторгом, не отрываясь, случайные цитаты, которые она запомнила на всю жизнь — «un archange essuyant son epée dans la nuée» — «if winter comes can spring be far behind?» — ее гувернантка, тридцатипятилетняя англичанка с ледяными глазами, с которой она ежедневно ссорилась и которая говорила ей высоким и невыразительным голосом, в присутствии ее матери вечером, желая ей спокойной ночи — God bless you, — преподаватель немецкого языка, старый и бедный эльзасец с печально повисшими седыми усами, всегда в лоснящемся черном костюме, с очень белым и чистым воротничком, развесистым галстуком, красным лицом и мутными глазами, который неизменно жмурился как кот, читая нараспев стихи Шиллера, Клейста, Гёте; преподаватель алгебры, — «ни в чем человеческий ум не достиг такой стройности, как в этой непогрешимой последовательности формул, в этом чудесном смещении цифр, подчиняющемся наиболее гармоническим законам, созданным усилиями гения»; преподаватель истории, невысокий пожилой корсиканец, искренне любивший одних и

не любивший других людей, игравших роль в истории французского государства, ненавидевший Людовика Четырнадцатого — «это невежественное животное» — и питавший слабость к Генриху Четвертому за нантский эдикт; учитель французской литературы — «никто не писал лучше, чем Луиза Лабэ, если говорить о поэзии, никто не писал лучше герцога Сен-Симона если речь идет о прозе». Луиза Лабэ! Только значительно позже «трагический гений Бодлера», как говорил о нем учитель литературы, произносивший эти слова казенным и неубедительным тоном, каким он сказал бы, например, «высокие стены этого здания», — он не любил Бодлера, но не мог отрицать его достоинств — трагический гений Бодлера затмил на время лирическую пронзительность Луизы Лабэ.

Шесть лет, шесть долгих лет учения, в просторном доме ее родителей, в Провансе, где она провела свою жизнь до отъезда в Париж, куда ее привезли, когда ей было восемнадцать лет. И ее долгие разговоры с отцом, в его кабинете, где пахло кожей диванов и кресел, — с отцом, который, как ей казалось, представлял себе историю мира, как смену экономических систем, определявших, по его мнению, всю жизнь человечества (единственный пункт, в котором он, по его словам, был согласен с Марксом, которого не признавал во всем остальном, вплоть до выбора темы его университетской диссертации) — я всегда считал, что эллинская культура, в частности, греческая трагедия — ты слушаешь меня, Анна? — с ее нелепым многобожием, с ее ходульными и искусственными страстями, результат примитивных, в конце концов, рабовладельческих концепций, заслуживает, конечно, изучения, но не больше, чем что-либо другое и никак не заслуживает преклонения, и в сущности даже история Рима в некотором смысле нам представляется более поучительной, чем история Эллады... Сквозь высокое окно проходил свет, отец сидел за столом, Анна против него и с тем, что он ей говорил, она никак не могла согласиться. Ей казалось, что он сознательно вычеркивал из жизни, — вернее, из своего понимания жизни — именно то, что придавало ей ценность и в частности, огромную силу человеческих чувств, которую он находил недостойной ни вни-

мания, ни даже того изучения, какого по его мнению заслуживала всё-таки эллинская культура. Он был высоким человеком необычайной худобы, почти никогда не расставшийся со своими бархатными куртками, которые носил дома. Большую часть времени он проводил в своем кабинете, перегруженном множеством научных книг. К литературе, которую так любила его дочь, он относился с неизменным пренебрежением. — Наша задача в том, чтобы свести всё существующее к ряду естественных и понятных законов, которые могут быть выражены определенными формулами, законов, в которых эмоциональный момент может играть известную роль, но чисто функциональную, Анна, пойми это, чисто функциональную. Что из этого делает твоя литература? И та же Луиза Лабэ, например? Она испытывает определенное физическое влечение к какому-то человеку, влечение, внушенное ей чрезмерно развитым инстинктом размножения и оттого, что она это начинает испытывать, весь мир, видишь ли, ей представляется иным, чем до тех пор. И в учебниках литературы это называется лирической поэзией. Мне описывают на сотнях страниц жизнь человека, который проходит мимо всего важного, не замечая этого и внимание которого сосредоточено на незначительных личных чувствах. Искусство вообще, — ты слушаешь меня, Анна ? — это отказ от настоящей жизни, это бесплодные блуждания праздного воображения, кому это нужно, в конце концов? Вот что надо изучать, вот что надо понять, — он показывал ей рукой на свои книжные шкафы, где стояли, все в одинаковых переплетах, толстые книги о структуре общества, о политической экономии, об истории феодализма. Ни с кем в доме — и меньше всего со своей женой, — он однако, не говорил о том, что надо изучать, зная, что его не поймут. Как это думала потом Анна, ее отец, которому не удалась его личная жизнь, который не умел уживаться с людьми и не скрывал своего пренебрежительного отношения к ним, объяснявшегося тем, что их не интересовало то, что интересовало его, — ее отец представлял себе всю историю мира, как последовательность вполне определенных систем, которые, по его мнению, направляли в соответствующую эпоху развитие человечества. Задача че-

ловека заключалась в том, чтобы понять основные принципы этой системы и способствовать их эволюции. Конечно, людей, которые могли выполнить эту задачу, было немного. Остальные — это была статистика: рождаемость, смертность, повышение или понижение жизненного уровня, численность городского населения. — Сколько вздора было написано о Римской империи, Анна, этому трудно поверить! А между тем, история римского могущества и история гибели Рима могут быть изложены в нескольких словах. Это результат действия двух сил, центробежной сначала, центростремительной потом. Центробежная сила, это завоевания, включение в состав империи далеких варварских провинций, это движение, которое вело к расцвету римской мощи. Затем следует некоторый период стабилизации и потом начинается центростремительное движение, гипертрофия Рима, как столицы империи — и Рим, в конце концов, задыхается и гибнет. Вот тебе история Рима.

Анна отдавала себе отчет в том, что ее отец очень много знал, но все свои знания он стремился включить в рамки определенных теорий, отступления от которых он не допускал. Всю систему его взглядов можно было представить графически, — расширение и суживание разных величин, стрелки, определяющие то или иное направление, кривые повышения или понижения и главное существование постоянных понятий, похожих на аксиому о том, что прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками. И в этой жестокой геометрической системе не было, конечно, места ни для лирической поэзии, ни для искусства.

Мать Анны, происходившая из аристократического рода, была так же далека от эмоциональной жизни, как ее муж, но по совершенно другим причинам. В отличие от отца Анны, она не строила никаких теорий но знала всегда, как надо поступать в том или ином случае, точно всё должно было подчиняться определенным правилам, раз навсегда установленным при каком-то дворе, центром которого была она, как королева воображаемого государства. О своем муже она говорила — этот бедный Ипполит, — как будто он был ее дальним родственником, которому она из милости позволяла жить в ее доме. Анна

потом спрашивала себя с недоумением, что могло быть общего между ее родителями и чем объяснялся их удивительный брак. Они почти не разговаривали между собой, виделись обычно только за столом и прожили в этом ледяном отчуждении друг от друга всю свою жизнь. Анна помнила только один случай, когда ее мать совершенно вышла из себя и кричала высоким голосом, которого Анна не слышала ни до, ни после этого:

— Как вы смеете клеветать, Ипполит! Я никогда не допущу этого в моем доме! Какая возмутительная дерзость! Какая плебейская выходка!

Всё это произошло потому, что когда Анна подходила к столу, отец посмотрел на нее внимательнее, чем обычно и сказал:

— Я иногда спрашиваю себя, в кого ты вышла такая Анна, с таким литым телом, и такими тяжеловатыми чертами лица, с такими ровными и правильными зубами? В кого? Ни в мать, ни в меня, во всяком случае. Единственное объяснение, я думаю, можно найти в том, что дед твоей матери, будучи болезненным и несколько странным человеком, женился на прачке, простой крестьянке, которая до конца своей жизни так и не научилась читать и писать, но отличалась несокрушимым здоровьем и исключительной физической силой, такой, что когда она дала пощечину брату своего мужа, который слишком явно выражал ей ненужные чувства, то он упал без сознания и его чуть ли не замертво выволокли из гостиной, где это произошло. Ты ее достойная правнучка, наследственность иногда действует через несколько поколений.

И вот, после этих слов, мать Анны встала из-за стола и начала кричать.

— То, что я говорю, — спокойно сказал отец, — это вовсе не клевета, это именно так и было и я не вижу в этом ничего дурного. Если бы вы имели представление хотя бы об истории Франции, то есть, вашей собственной родины, то вы бы знали, что вторжение плебейского начала в так называемую аристократию, — понятие, кстати говоря, чрезвычайно расплывчатое и условное, — явление довольно частое и отнюдь

не отрицательное. Ваша бабушка с отцовской стороны была крестьянкой, но она была женщиной достойной уважения, чего я не мог бы сказать о вашей бабушке с материнской стороны, которая была княгиней, но поведение которой всю жизнь вызывало бесконечные скандалы.

После этого Анна никогда больше не видела своей матери за столом, ей подавали обед в ее комнату, ту самую, где однажды утром ее нашли мертвой — она заснула и не проснулась — и это было похоже на то, как если бы день ее спора с отцом о клевете на бабушку был последним днем ее жизни, непонятным образом затянувшимся на целый год: она умерла ровно через двенадцать месяцев после этого спора.

У ее матери не было ни той культуры, ни тех знаний, какие были у отца, но ее представление о мире было не менее определенным. Главную и в сущности единственную роль в этом представлении играл вопрос о происхождении человека, то-есть, о большей или меньшей степени его принадлежности к той касте, представительницей которой она себя считала, — аристократии. Ее собственная аристократическая кровь, однако — как это объяснил Анне отец во время одного из разговоров с ней, — (впрочем, это было трудно назвать разговорами, это были, в сущности, его бесконечные монологи, которые заменяли ему книги, которые он мог бы написать, но которых не написал, так как Анна заменяла ему ту аудиторию, которую он хотел бы иметь, но которой у него не было) — как это объяснил ей ее отец, эта аристократическая кровь ее матери представлялась ему несколько разбавленной, так как помимо одной из ее бабушек, которая была крестьянкой, в истории рода ее матери фигурировал, правда, в течение короткого времени, еврей-банкир, от которого у другой ее бабушки, княгини, был сын, носивший, однако, фамилию не своего отца, а мужа своей матери, что не мешало ему быть наполовину евреем. В этом отец Анны опять-таки не видел ничего плохого, но в существование банкира ее мать не могла и не должна была верить. С матерью у Анны было мало общего. Много позже, уже будучи замужем, Анна поняла, что если бы ее мать

не считала, что ее принадлежность к аристократии сама по себе заменяет ей всё остальное — душевные качества, ум, знания, талант, — то у нее решительно ничего не осталось бы. Она никогда не отличалась ни красотой, ни умом, ни пониманием. То, что она говорила, всегда было до удивительности незначительно, так же, как всё ее существование. Когда Анна была маленькой и подходила к матери, чтобы положить ей голову на колени, мать неизменно отстраняла ее и говорила — уберите этого ребенка, он мне мешает. Отец Анны никогда этого не делал и нередко играл с ней, в нарушение всех своих теорий о чисто функциональной ценности эмоционального мира. Именно он занимался ее образованием и выбирал учителей, производя каждому из них соответствующий экзамен. — Скажите мне, мой друг, что вы думаете о книге, которая недавно совершенно случайно, попала в мои руки и о которой я не успел составить себе представления, так как прочел всего несколько страниц? — это мог быть Шопенгауэр или Бергсон, если речь шла о философии, Пруст или Фроментен, если вопрос касался литературы, Пуанкарэ, если это была математика. У матери Анны была какая-то непреодолимая враждебность ко всему, что называлось общим словом «культура» — исключение составлял английский язык, но, как это заметил отец Анны, совсем не потому, что на этом языке писал Шекспир, а оттого, что дед Анны в свое время прожил несколько лет в Англии, оправдав таким образом, в представлении матери Анны, право на существование английского языка.

Анна думала обо всем этом теперь, в эту ночь, когда она не спала. В эти часы она отчетливо вспомнила почти всё, вплоть до того оцепенения, из которого она никак не могла выйти, до туманного небытия, из которого до нее впервые дошли слова Пьера, вернее, даже не значение этих слов, а их вопросительная интонация, это звуковое колебание его голоса, давшее ей смутное представление о том, что она существует. Но только после своей долгой болезни, во время которой ее возвращение к жизни странным образом проявлялось в ощущении того, что она умирает, что она задыхается, что она не может перенести этой страшной боли в голове, только после своей болезни,

— она очень ясно помнила это, — ей показалось, что где-то вдали начало происходить сложное движение, которое постепенно, с медленной неудержимостью приближалось к ней, в неуловимых формах и сразу в нескольких направлениях и по мере этого приближения всё стало проясняться вплоть до той незабываемой минуты, когда она увидела стены этой незнакомой комнаты, погруженной в полутьму, так как ставни окон были закрыты, когда к ней вошел Пьер, сказавший ей эти слова: — Вы пришли в себя, Мари? слава Богу... — и она узнала и этот голос и эту интонацию. Это был самый важный день ее жизни. Это была ее последняя мысль в эту ночь — через секунду она закрыла глаза и заснула.

* * *

На следующий день, когда Пьер ушел и она осталась одна, она не переставала думать о том, что ей накануне так долго мешало заснуть. Чем объяснялось то чувство, которое она испытывала теперь, — и которое, как ей казалось, она знала всегда, — это чувство неудовлетворенности, эта неубедительность того мира, из которого она была вырвана в его последний день, который она помнила, в дыме и огне этой апокалиптической бомбардировки? Почему она чувствовала себя в нем чужой? В конце концов, это действительно было похоже на конец света, когда небо скрылось, свившись как свиток, — откуда эти слова? Она сделала усилие и вспомнила, что это из Откровения святого Иоанна, о котором отец Симон, аббат, один из ее учителей, говорил ей, что его не следует принимать буквально, так как, — вы понимаете, дитя мое, вдохновение святого Иоанна, создавшее эту несравненную по своей силе картину гибели мира, порой начинало переходить за пределы той чисто христианской концепции, которая ему внушила его труд и свои собственные слова, вызванные его священным гневом, он вкладывал в уста Спасителя, невольно искажая Его божественный облик и забывая, что Спаситель не мог сказать этих слов: «Я люблю тебя за то, что ты ненавидишь учение николаитов, которое и Я ненавижу». Подлинный христианин, дитя мое... — Каждый раз, когда Анна думала потом об отце Симоне, она будто вновь слышала шуршание его рясы, сшитой

из какой-то очень тугой материи и от этого всё, что относилось к религии, со времен раннего ее детства, невольно было связано в ее представлении с этим шуршанием, похожим на звук едва слышного полета ангелов, как бы взвивавшихся в воздух, когда отец Симон произносил свои первые слова — Отче наш...

— Подлинный христианин, дитя мое, может быть, увы! увы! предметом ненависти, но сам он не может ненавидеть никого и в том числе николаитов, которые, в конце концов, были виноваты только в том, что они заблуждались. Дитя мое, я неоднократно замечал, — у отца Симона был глубокий и низкий голос, — что в вашем поэтическом представлении величие христианства приобретает несколько своеобразный характер — он поднимал при этом руку вверх. — Я не хочу сказать, что в этом есть что-нибудь отрицательное, но это не совсем то. Христианство, дитя мое, это не только мягкий свет Гефсиманского сада, сумерки, спускающиеся на Голгофу, видения Апокалипсиса, трубы архангелов, то-есть всё то, к восприятию чего так чувствительна ваша романтическая натура. Это не только Тициан, не только Сикстинская капелла и Микель Анджело, как бы гениально всё это ни было. Христианство, это победа над чувственным миром, победа духа над материей, победа идеи бессмертия над всем тем, что люди так склонны ценить на нашей бедной земле и что есть только прах, дитя мое, только прах. Анна вспомнила надгробную речь, которую отец Симон произнес, когда хоронили ее мать, и которая по своей торжественности была похожа на речи Боссюэ. — Господи, прими ее душу, которую Ты создал бессмертной в те дни несравненной Твоей славы, когда в грохоте рождающегося мира Ты сотворил всё, что существует. Теперь эта душа покидает землю, чтобы войти в царство небесное. Господи, дай ей силы перенести нестерпимое сияние Твоей славы. — В церкви было прохладно в этот жаркий день, в безоблачном небе летали ласточки, горячий воздух дрожал над раскаленной землей.

«Эмоциональная жизнь имеет только чисто функциональную ценность». «Христианство это победа над чувственным миром». Анна не могла спорить ни с своим отцом, ни с аббатом,

объяснявшим ей смысл Откровения святого Иоанна. Каждый из них без труда доказал бы ей, что это именно так, как он говорит. С одной стороны это было отрицание искусства, с другой — проповедь аскетизма и в конце концов, может быть действительно надо было примириться с этой неизбежностью осуждения всего, что так влекло ее к себе? Но она не могла этого сделать. Ее отец, впрочем, отдавал себе в этом отчет, особенно в последние годы, когда он смотрел на свою дочь, на ее тяжелые губы и глубокие глаза, — нет, Анна была непохожа ни на него, ни на свою мать, и то, что ему, ее отцу, в лирической поэзии казалось незаслуживающим внимания, для нее было насыщено смыслом. Когда ей было четырнадцать лет, она уже ощущала в себе ту душевную тревогу, то предчувствие чего-то чрезвычайно важного и значительного, то физическое томление, которое только усиливалось по мере того, как она становилась старше. Когда отец привез ее в Париж, где она поступила в университет, она через несколько месяцев познакомилась с Жаком, своим будущим мужем, сыном одного из товарищей ее отца, владельца нескольких предприятий. Жак был инженер по образованию и помощник директора завода, хотя ему было всего двадцать восемь лет. Впрочем, на вид ему было больше, он начал уже полнеть и лысеть. Анна впервые увидела его в церкви и не обратила на него особенного внимания, но запомнила его лицо, необыкновенно серьезное и важное, такое, словно он один понимал всю торжественность богослужения, в котором он безмолвно принимал участие, так, как будто его присутствие в церкви было не менее необходимо, чем присутствие священника, — и она сразу узнала его, когда через несколько дней после этого он пришел к ее отцу с визитом. Это был первый человек ее круга, — как сказала бы ее мать, — который был старше ее только на десять лет. Он приносил ей цветы, иногда они ездили в театр, иногда на автомобиле Жака в загородный ресторан. Это продолжалось несколько месяцев и за всё это время Жак не позволил себе ни одного слова и ни одного движения, которые могли бы быть поняты, как выражение его чувств к Анне. Она краснела каждый раз, когда ее рука касалась его руки, но Жак, казалось,

этого не замечал или не хотел замечать. Он много говорил о христианском долге, о том, чем человечество обязано церкви, о том, что назначение человека на земле — для тех, кто не живет в заблуждении и химерах, для тех, кто знает, что жизненный путь начертан божественным промыслом, — это семья и выполнение христианских обязанностей. Она едва слушала его, ей казалось, что если она станет его женой, то в их душевной и физической близости исчезнут все теории, всё, что в конце концов несущественно и останется только единственное, неповторимое чувство, которого она ждала уже несколько лет со всё возрастающим волнением. Когда Жак сделал ей предложение, сказав, что перед этим он уже говорил с ее отцом, который отнесся к нему благожелательно, за что Жак ему благодарен, — Анна слушала его, глядя на него в упор своими глубокими глазами и ожидая той минуты, когда он решится ее поцеловать — и вот теперь, он спрашивает себя, может ли он, имеет ли он право рассчитывать на то, что Анна, в свою очередь...

— Но разве вы не заметили, — нетерпеливо сказал она, — что я давно вас люблю?

Самыми печальными днями и неделями в жизни Анны были дни и недели ее медового месяца и свадебного путешествия по Италии. Оставаясь одна, в комнате гостиницы, она плакала иногда часами, потому что все ожидания были жестоко обмануты. То, что происходило не имело ничего общего с тем, что она себе представляла и чего она хотела. Физическая близость с Жаком вызывала у нее раздражение и оставляла ее неудовлетворенной — и когда Жак ей как-то еще раз сказал, что долг каждого мужчины и долг каждой женщины, это иметь очаг и семью, она посмотрела на него с гневным выражением в глазах и ответила, — Боже мой, нельзя ли в конце концов немного меньше думать о долге и немного больше о чувстве, о любви. — Но сознание исполненного долга, Анна, — что может дать бóльшее удовлетворение? Подумайте об этом. — Нужно, по крайней мере, чтобы это исполнение долга хотя бы доставляло вам удовольствие, чорт возьми! — Анна, как вы можете так говорить? Я вас не узнаю. — Вы ничего не

понимаете, Жак, — сказала она, — и я думаю, что вы, к сожалению, неизлечимы.

Но это раздражение и эта неудовлетворенность, еще не были самым печальным в тот период жизни Анны. Самым печальным было другое. Она очень скоро поняла, что в жизни Жака она занимает далеко не главное место. Она понимала так же, что это объяснялось не ее недостатками или тем, что чувство Жака к ней не такое, каким оно могло бы быть, если бы на ее месте была бы другая женщина: Жак вообще был меньше всего создан для любви и когда Анна, без его ведома, отправилась однажды к известному врачу, чтобы спросить у него совета — как сделать свою супружескую жизнь несколько более терпимой, он задал ей много вопросов, на которые она отвечала, краснея, и после этого он ей объяснил, что, по его мнению, она не может расчитывать со стороны ее мужа на то, чего так требует ее природа. — Я не говорю даже о чисто физических недостатках вашего мужа, — сказал доктор, — но насколько я понимаю, из того, что вы мне сказали, следует сделать один бесспорный вывод: отношение к вам вашего мужа определяется в равной степени и его, так сказать, несовершенством анатомического порядка и всей его психологией, его душевной структурой. Еще через некоторое время, когда Анна лежала в своей комнате с сильной головной болью, Жак вошел к ней, очень забеспокоился и сказал, что он остался бы дома, если бы сегодня вечером, именно сегодня вечером, ему не предстоял ужин, на котором он должен встретить одного депутата парламента, влияние которого в дальнейшем может оказаться чрезвычайно важным, в какой-то степени даже решающим в том деле... — Оставьте меня в покое, — сказала Анна — и можете идти куда хотите. Это был первый месяц ее беременности.

Жак не мог не понимать, насколько неудачен был его брак и не только потому, что между ним и его женой не было ничего общего. Но он считал, что брак вообще нерасторжим и надо сделать всё, чтобы объяснить Анне, насколько ее представление о любви, одновременно чувственное и возвышенное, насколько оно ошибочно и не соответствует тому, ка-

ким оно должно быть. Но когда он однажды заговорил с ней об этом, глядя через свои очки, — он был очень близорук, — на ее подурневшее лицо — шел седьмой месяц беременности, — она сказала ему с явной враждебностью в голосе — только ради Бога, не говорите мне о долге, о христианстве или о теологических трактатах, подумайте о том, что иногда это просто неуместно: если вы лежите с женщиной в постели и заняты в это время соображениями о христианском долге, то глупее и непристойнее этого ничего быть не может, вы плохой проповедник и никуда негодный муж. Но даже это не вывело из себя Жака, который вздохнул и сказал: — Анна, вы рано или поздно поймете, насколько прав я и насколько неправы вы. — Вероятно, — резко ответила она, — когда я перестану быть женщиной.

Вскоре после этого у нее были преждевременные роды. Ребенок родился мертвым, Анна долго была больна и когда всё это кончилось и она почувствовала, что здоровье вновь возвращается к ней, она поняла, что никакая сила в мире не заставит ее теперь изменить свое отношение к Жаку. Это было чувство и враждебности, и презрения и жалости к нему. Он, казалось, ничего этого не замечал и продолжал быть таким же, как и раньше, внимательным, неизменно вежливым и всегда готовым дать Анне самые пространные объяснения, которые никогда ей не были нужны.

За то время, которое Анна прожила со своим мужем, у нее было несколько любовников, но каждый раз, через очень короткое время, это кончалось разрывом, слезами и припадком глубокой печали. Сначала Анна думала, что какой-то ее собственный недостаток, душевный и физический одновременно, лишает ее возможности испытать то чувство ослепительного, всеобъемлющего счастья, которого она ждала долгие годы, еще с того времени, когда девочкой, смутно о нем мечтала. Потом она пришла к убеждению, что случайное определение ее понимания любви Жаком, не отдававшим быть может себе отчета в значении своих слов, но сказавшим, что это понимание слишком чувственное и слишком возвышенное, — было совершенно правильно и что всё ее предрасполагало имен-

но к такой любви: ее темперамент, ее романтические представления, ее готовность отдать всё тому, кто испытает по отношению к ней чувство, которое будет таким же, как то, которое способна испытать она. Но она не встретила ничего похожего на это, — особенно в том, что для нее было важнее всего, — неудержимое движение к ней чьей то души, не знающее никаких препятствий. Потом она почти потеряла надежду, что это может когда-нибудь произойти и решила, что надо найти в себе силы примириться с этим и искать смысл своего существования в чем-то другом, а не в нелепой и детской, в конце концов, романтике, ценность которой так упорно отрицал ее отец. Это совпало по времени с тяжелой болезнью отца и диагноз этой болезни не оставлял никаких надежд на выздоровление: у него был рак легких. Через месяц он умер. Это был единственный человек в жизни Анны, к которому у нее было постоянное теплое чувство и который тоже ее искренно любил, несмотря на свои теории, признававшие только всё ту же злополучную функциональную ценность эмоционального мира. В день его смерти, глядя на его мертвое, неподвижное лицо и не удерживая слез, Анна почувствовала, что теперь она осталась совершенно одна.

Это было за год до начала войны и весь этот год Анна провела в состоянии глубокой душевной подавленности. Она перестала заботиться о своей внешности, отказывалась сопровождать Жака куда бы то ни было, не выходила по целым дням из своей комнаты и долгими часами лежала без движения, глядя в белый, невыразительный потолок. Жак старался ей помочь и вывести ее из этого состояния, но она не разговаривала с ним и единственные слова, которые она произносила, были всегда одни и те же — оставьте меня в покое. Она говорила это даже без раздражения, которое он так хорошо знал — и он дорого дал бы за то, чтобы к ней вернулась возможность раздражаться. Он оставил ее в этом состоянии, когда была объявлена война и уехал в армию. Потянулись долгие месяцы, когда она оставалась одна в своей парижской квартире, и не отвечала ни на письма, ни на приглашения, ни на телефонные звонки. Потом наступил наконец июль тысяча де-

вятьсот сорокового года. Германская армия приближалась к Парижу, над городом стоял черный дым. И тогда, однажды утром Анна вышла из дому с одним чемоданом, вывела из гаража автомобиль Жака и решила ехать к себе, в Прованс, где давно уже стоял пустым дом ее родителей и только в небольшом флигеле, в саду, жил попрежнему сторож Максим, молчаливый и суровый старик, которого всюду сопровождал его огромный черный дог, такой же мрачный, как и его хозяин. Но она не доехала до Прованса...

Она услышала, как в двери щелкнул ключ. Потом Пьер появился на пороге комнаты. Поднявшись с кресла, с неудержимой, широкой улыбкой, открывавшей ее ровные белые зубы, она сказала — Пьер никогда потом не мог забыть этого выражения ее голоса:

— Я рада вас видеть Пьер.

* * *

Каждый раз, когда Анна оставалась одна, она думала о множестве вопросов, встававших перед ней, которые нужно было разрешить. Самый трудный из них был тот, на который она до сих пор не ответила Пьеру: — Мари, вы знаете, кто вы такая? Как именно надо было сказать ему, что раньше ее звали Анной Дюмон, что у нее было известное положение, квартира в Париже, дом в Провансе, муж и знакомые, но что при всех обстоятельствах в тот мир, который перестал существовать — в день этой бомбардировки летом сорокового года, — она не могла вернуться, потому что и ее душа и ее сознание были против этого? — Это возвращение было невозможно, об этом не могло быть даже речи. Ее вероятно давно считали погибшей — неизвестно как и неизвестно где; во всяком случае в течение долгих лет никто о ней ничего не знал. Может быть это было к лучшему? Потому что, — она ясно отдавала себе в этом отчет — той Анны Дюмон, которая пропала без вести летом сорокового года, больше не было и именно этот июньский день надо было считать датой ее смерти, о которой она не жалела. Она еще раз подумала о том, что предшествовало этому. За всё время своей жизни, с тех пор как она помнила себя, был только один человек, к которому

она была искренно привязана и которого она любила, —ее отец. Но его давно нет в живых. Ей было теперь двадцать девять лет. Из них последние пять лет были годами того непонятного и смертельного небытия, про которое теперь она зна-ла всё, вплоть до тех подробностей, о которых ничего не говорил Пьер, но о которых она догадывалась. А теперь нужно было жить, —но как? Теоретически всё было просто: сказать Пьеру, кто она такая, сказать, что она бесконечно благо-дарна ему за то, что он для нее сделал, —то-есть вернул ее к жизни, —узнать, где Жак и уехать на свою парижскую квар-тиру. Этого она сделать не могла, —она даже улыбнулась, думая об этом. Теоретически было ясно и другое: теперь она была здорова, ей больше не угрожала никакая опасность, и все эти дни она чувствовала, как к ней возвращаются силы, значит,
— теоретически — Пьеру незачем было заботиться о ней и значит, — теоретически, — ее пребывание здесь потеряло свой смысл. Она еще раз обошла все комнаты, глядя новыми глазами на то, что ее окружало — портреты отца и матери Пьера, несколько репродукций, буфет, столы, стулья, кресла, дива-

ны, — всё это содержалось в необыкновенной чистоте. Пьер каждый день, до ухода на службу, убирал всю квартиру. Это было похоже на меблированные комнаты и резко отличалось и от ее собственной парижской квартиры и от ее дома в Провансе. Она посмотрела на книжные полки — энциклопеди-ческий словарь в шести томах, изданный в начале столетия, классики, несколько новых романов, Шекспир, Толстой, Сервантес, Достоевский во французском переводе, Платон, Овидий, Плутарх, монографии о Рембрандте, Ван Гоге, Ботичелли, Руссо, учебники — алгебры, истории французской литературы, те самые, по которым она училась. Теоретически ...

Она остановилась и прислушалась. Она всегда ощущала, неизвестно как, животным и безошибочным чувством, приближение Пьера. Через минуту он вошел в квартиру и это прерва-ло ее мысли. И когда она увидела его, она поняла с отчетли-востью, не допускавшей сомнений, что слово «теоретически», которое она повторяла столько раз, не имело и не могло иметь никакого смысла.

* * *

Она часто думала о том, что если бы на месте Пьера был какой-то другой человек, все трудные вопросы могли бы быть разрешены и их разрешение было бы тем более необходимо, потому что фальшивое и странное положение, в котором она была, становилось просто невыносимо. Но ей никогда и ни с кем не было так легко, как с Пьером. Его постоянное присутствие ничем и никогда не стесняло ее и она не могла себе представить, что Пьер вдруг ушел бы из ее жизни. Ей казалось, что Пьер был непохож ни на кого из тех людей, которых она знала. То, что она ощущала в его присутствии, это его неизменную доброжелательность и его немую готовность поддержать ее во всем, — то, чего она никогда не испытывала раньше и что ей казалось самым ценным, что может быть. Она понимала, что потерять это было бы для нее непоправимым несчастьем и потому она всё не решалась сказать Пьеру, что она знает теперь свою прошлую жизнь. Он больше не спрашивал ее об этом — и ей иногда казалось, что она понимает, почему.

Однажды, после ужина, она сказала ему:

— Пьер, вы знаете что? Вы может-быть правы, может-быть действительно меня зовут Мари.

Он быстро взглянул на нее. В ее улыбающихся глазах он заметил теплый перелив выражения, которого он раньше не видел. Она села глубже в кресло. Пьер смотрел на ее туго натянутые чулки и черные туфли — и вдруг вспомнил летний день, дождь и ее босые ноги, увязавшие в глине.

— Вы знаете, — продолжала она, — я много думала все эти дни и многое вспомнила. Но я боюсь, что я не сумею вам рассказать это так, как было бы нужно. И я решила, что может-быть будет лучше, если я постараюсь всё это написать. Что вы скажете об этом?

— По-моему, это прекрасная идея, — сказал он. — Я буду с интересом ждать, когда вы это кончите и обещаю вам быть внимательным читателем.

(Окончание следует)

Гайто Газданов

СОН

Поэма

Святые воинства стоят —
Из пламени и серебра.
Мне, чувства светлые велят —
Стоять на стороже добра.
Мой серый конь ровняет бег: Среди
коней, мечей, щитов.
Знамена, словно первый снег,
Гонимых бурей облаков.
Знамена, крылья, звон копыт
Над снегом грив, огонь мечей
В пространстве конница летит —
Любовь и страсть души моей.
Пространство — жадно душу пьет.
Навстречу нам — во весь опор:
В доспехах свищет и поет
Пустынный ветер и простор.
Я поднял щит и за щитом

Свет солнца на земле погас,
Сверкнула молния и гром Просторы
мирные потряс.
В испуге блеющих овец
Пастух арапником стегнул.
Слепящей молнии резец
Над головой его сверкнул —
И он упал... Росла гроза
Последний приближался час
Озер зловещие глаза
Всё чаще отражали нас.
Но видеть я не мог себя:
В косом изломанном огне.
О страшном времени трубя
Труба запела в вышине:

«Что Божье око видит
то слышит душа человеческая».

II

Но слабость бранную небес —
Познала за страной страна.
И небесам в противовес,
Земная грянула война.
И тысячи железных птиц —
Затмили хаос высоты.
И отблеск атомных зарниц
Мерцал на воинствах святых:
За взрывом взрыв, за взрывом взрыв
Был грозным светом отражен:
В доспехах ратных, в буре грив
На снежном пламене знамен.
А на земле, людская кровь,
Смешалась с маслом из машин —
И силой атомных паров:
Над пеплом трещин и руин
Вертелись камни, корабли,
Заводы, площади, мосты
И черный дым, и прах земли,
Людские трупы и кресты —
Летели в высь... И смерч достиг,
Вертя свой мертвый маскарад
Небесных сил — и там воздвиг —
У райских врат — кромешный ад.
И сам Архангел Михаил
Пред ужасом земной войны
Святую рать остановил
Ненужный меч вложил в ножны.

III

Подков ритмическая сталь
Не подходила к мостовой.
Бетоном заслонилась даль —
И город вырос предо мной.
Толпа людей, река машин,

Моторный грохот, свист и звон
Огни реклам, тоска витрин
Здавили нас со всех сторон.
Гробов недавние жильцы:
Газетчик, карлик и урод
Коня схватили под уздцы ...
Столпился сумрачно народ.
И начал, сразу, на коня —
Мясник широкий нож точить. На
землю сбросили меня.
На шею сели палачи,
Во избежание греха,
Я был оружия лишен.
А за убийство пастуха,
На людной площади казнен.

А. Величковский

КНИГА О ЖИЗНИ

ВОСЕМЬ ГЛАВ О ДЕТСТВЕ

I. ОТЕЦ

Мой отец был слишком прост, чтобы лгать. Поэтому он и не хотел, не мог писать о своей жизни, как я ни просил его. Этот рассказ был бы ужасен. Он не умел лгать, не умел сказать правду. Такие — самые несчастные люди.

Как бы то ни было — не осталось от него ни автобиографии, ни вещественных следов его пребывания на земле, в виде предметов домашнего обихода, книг, писем (хотя я очень хорошо помню его острый до колючести почерк неврастеника-мизантропа, почерк агрессивный и насыщенный обидой). Он был врач, Борис Ильич, «по внутренним», — родился в Новогрудке, гимназию кончил в Могилеве, а медицину изучал в Дерпте. Помню еще его парадный, подклеенный по сгибам диплом 1889 года — «Мы, Александр Третий» — но не осталось ни диплома, ни инструментов, ни вывески, где черным по белой эмали, я читал с детства его — мою — фамилию, без часов приема, ибо по несчастным обстоятельствам своей жизни он принимал в любое время дня и ночи, будучи захолустным, местечковым врачом в глубокой провинции — на все руки мастер. Он и младенцев принимал, и зубы рвал, и так пролечил всю свою долгую жизнь до преклонных 80 лет, не любя ни своей профессии, ни своих пациентов, которых рассматривал исключительно как источник заработка.

Он начал отставать от жизни рано, в противоречии и бессильном возмущении всем, что происходило вокруг него, и чего он не постигал. Он мучил себя и других, хотя и нельзя сказать, что он долго бывал людям в тягость: его конфликты и схватки с окружающими обычно кончались тем, что, про-

работав на одном месте год или два, он переезжал на другое. Он был вечный странник, неприкаянная душа, пока болезни, инвалидность, старость не приковали его к одному городу, — тому, где я родился, а он умер, — каторжной цепью, глухое бряцанье которой я еще слышу в мои бессонные ночи.

То, чего отец не открыл о себе, запечатано навеки. Эта жизнь навсегда останется темной, нераскрытой в последних глубинах и потому — по его собственной вине — и не согретой человеческим участием. Останется? И обращая рефлектор памяти к истокам далекого детства, я, в котором еще тлеет отцовская жизнь, как фитилек в глухой ночи, — я, разумеется, не могу много сделать для него. Мне кажется, он кладет руку на эту страницу, руку со вздувшимися жилами и рыжими крапинками, и смотрит на меня с укором и страхом. Как он стар, Боже мой! Как страшно причинить ему посмертную боль! Но мы связаны словом и мыслью, и еще больше, — кровной, телесной связью.

Отец завещал мне три основных переживания: стыд, презрение и жалость. Через все три стадии прошло мое отношение к нему. И каждая из них была больше чем чувством или определенным душевным состоянием, — была как туманность, колеблющаяся и растекающаяся во все стороны, как источник сразу под — и надземный, меняющий очертания и берега, со многими примесями, разветвлениями, добавлениями.

Сперва пришел стыд. Я очень рано начал стыдиться за отца и из-за отца. Причиной тому были его скандалы, — дикие скандалы, которые он имел обыкновение устраивать регулярно дома. В бешенстве отец доходил до жуткого исступления. Тогда лицо его наливалось кровью и походило на страшную маску, он бесновался и кричал, и этот крик привлекал под окна нашего дома в глухой провинции, где мы жили, соседей и любопытных. Прохожие останавливались, сбегались дети. Нельзя было ни предупредить, ни избежать этих припадков, они происходили по любому поводу. Впервые из уст отца я услышал матерщину и грязные ругательства по адресу моей матери, причем присутствие посторонних не только не останавливало его, а еще больше подзадоривало. И до полного

исступления доводила его мраморная неподвижность матери, которая сидела бледная, не отзываясь ни словом, в то время как дети — я и моя младшая сестренка — как деревца в песчаную бурю, клонились и замирали от ужаса. Это был ужас пред искаженным лицом, пред нагим безобразием той сцены, и страх, что отец сию минуту ударит мать (но этого никогда не случилось) или сломает, разобьет, уничтожит всё, что попадется под руку, — но прежде всего и длительнее всего был пронзительный стыд пред чужими, которые собирались под окнами, для которых этот «скандал» (огненное слово моего детства) был развлечением и поводом для глумления. Обычно минут пятнадцать продолжался припадок ярости, пока отец совершенно не выбивался из сил, как после припадка падучей,— но когда он успокаивался, я всё еще трепетал от стыда и не знал как смотреть в глаза соседям, когда выйду на улицу. Чудовищные слова, смысла которых я не понимал, вонзались в меня, ранили и жгли: «... твою мать!» кричал отец и «шкура барабанная!», это последнее ругательство по адресу матери со всеми интонациями от гневного крика до иронически-вкрадчивого выпевания, — и стыд рос, ломал и кромсал меня.

Я не могу сказать, что я жалел мать, хотя естественно, с пяти лет, я был на ее стороне: она была жертвой, она безропотно выносила то, что мне казалось немыслимым надругательством. Человеком позорившим семью был отец. Позже я научился видеть и ее «без вины виноватость», беспомощность и неумение обойти, неумение совладать с болезненной неврастенией человека, с которым свела ее судьба. Но первым потрясающим переживанием в моей жизни был именно стыд. Стыд за самое близкое существо неизбежно обращается внутрь, на самого себя. И так родилась робость, которой с детства было отравлено всё мое внутреннее существование.

Юношей я читал у одного из философов, что способность стыда есть драгоценное отличие человека от животного и доказательство его моральной одаренности. Я познал стыд, как форму мучительного страха, стыд в его социальной функции, как страх за то интимное, что будучи открыто, возбуждает смех и глумление окружающих. Страх пред людьми вырастает

в страх Божий. «Бога ты не боишься» — упрек в высшем бесстыдстве. Преодоление стыда всегда в какой-то мере освобождает человека от страха перед жизнью, но элемент страха неустраним в ней. Стыдишься за то, что ты такой и люди такие, — и боишься их и своего бесчеловечия.

С годами я всё более чуждался отца. Я не боялся его. Он был из тех несчастных семейных деспотов, которые отравляют существование своим близким, но прежде всего самим себе. Вероятно, ему случалось меня ударить, но память сохранила не это, а другие минуты — нежности, ласковых смешных прозвищ. Он звал меня «зайчик», и по еврейски — «хэзэле», а потом, разводя руками, — когда стала сказываться ненормальная моя застенчивость — «идиотинькой».

Я помню последний вечер перед одним из его частых отъездов из дому. Он опять потерял службу, — предстоит отъезд на новое место, в неизвестность, куда он вызовет нас с матерью, когда осмотрится и снимет квартиру. Мы, как корабль, снимаемся с якоря. Семья на время едет в Пинск — к бабушке с материнской стороны — переждать. На утро мы разъедемся в разные стороны. Уже упакованы чемоданы, связаны узлы, а огромный кованый сундук с железными скрепами на выпуклой массивной крышке отправлен багажем за день раньше. В комнатах разорение, сорваны занавеси, навален мусор от укладки, — волнение и жуть расставания, и сердце замирает в ожидании перемены. Детей уложили спать раньше обыкновенного, но им не спится. И вот, в темноте отец входит, садится ко мне на постель. Он вздыхает, шепчет, ложится рядом со мной, прижимает крепко мое детское тело, и мы оба замираем, лежим долго-долго без движения. В эту минуту я чувствую, как ему больно покинуть семью и дом, и его сиротливое чувство бесприютности передается мне.

Так же отчетливо запомнился мне другой момент — наитие, которое долго не оставляло меня. Мне было тогда лет девять. Вдруг мне представилось, что все мои мысли и всё скрытое содержание моей отдельной жизни — не сразу, но через некоторое время пройдут через сознание отца, передадутся ему и станут ему известны. Я ничего не могу скрыть от

него — вообразилось мне; лежа в постели, в темноте, я еще могу быть сам с собой, но как дневной свет, входя в комнату, делает видимыми очертания вещей, так через некоторое время всё, что во мне — станет ему видимо и доступно, на то он мой папа. Наша жизнь таинственно связана, и эта связь остается и тогда, когда я о ней не думаю. Он — отец, власть. И против этой власти я, «зайчик», уже настороже. Недоверие и легкая готовность к обиде зародились во мне, — неразлучные спутники стыда.

Я часто бунтовал против отца. В возрасте девяти-десяти лет, в убогом местечке убогой Ломжинской губернии, на самой окраине, откуда расходились шоссейные дороги, бунт выражался в том, что я убегал из дому, как зверек, полный злости и желания наказать тех, кто меня любил, и значит, не мог не встревожиться моим бегством. При этом я страдал и жалел себя очень, как жертву несправедливости, и ждал, чтобы отец понял, чтобы он почувствовал, каково терять сына по собственной вине, и чтоб он раскаялся.

Пробежав километра два в отчаянии и бесслезном ожесточении, я садился на откосе дороги и ждал. Я был полон решимости не возвращаться домой, — пока за мной не придут. Пусть меня ищут, пусть терзаются неизвестностью! Проходил час-два — и в сумерках на дороге появлялась фигура отца. Он шел, прямой и строгий, торопливо помахивая палкой с белым костяным набалдашником. Я видел его издалека, но не бежал, а ждал, чтобы он подошел и взял меня за руку. Молчаливо, без слов и упреков, мы возвращались. Мое примиренное сердце трепетало и ждало ласки. Мать улыбалась мне, и позже, уже лежа в постели, я был рад, что всё счастливо кончилось.

Но раз случилось, что отец забыл притворить дверь из детской в кабинет. Был вечер, лампа под зеленым стекляным абажуром горела на его столе, и отец, думая, что я уже сплю, объяснял какому-то посетителю: «нельзя допустить, чтобы дети засыпали в раздраженном состоянии; надо ребенка успокоить...».

И я вдруг понял: «Меня обманули! Мягкий голос отца и ласковые слова матери, — всё это было нарочно, по расчету,

потому что нельзя допускать, чтобы я заснул обиженным! Меня обошли, а я дал себя обмануть!»

Память обиды, которую я испытал в это мгновение, когда я подслушал, как за моей спиной обо мне говорил отец, как о дурачке, которого надо успокоить, чтобы он спокойно спал, осталась во мне на всю жизнь. В эту минуту окрепло недоверие к тону взрослых. Надо остерегаться! Меня буквально оледенил контраст сердечного голоса, каким отец говорил со мной, и усмешка, с какой он бросил хладнокровное замечание — «нельзя давать детям засыпать обиженными». Так это, значит, было притворство!

Отец женился сорока лет, и на моей памяти не был молодым, полным энтузиазма и веры в жизнь, каким был, без сомнения, в свои гимназические и студенческие годы. Молодым врачом он работал на берегах Волги, в Нижегородской губернии, во время холерной эпидемии 1891 года. Не сразу овладела им жестокая горечь человека, обманутого жизнью. Он охотно острил, и в молодости печатал свои остроты в юмористических журналах того времени, в «Будильнике», в «Стрекозе». И в первое десятилетие своего брака он еще пел по утрам! Я помню его небольшой тенор и куплеты, которым вторила мать, сочувственно и ободрительно откликаясь на слова:

«У моей жены три су,
У меня всего четыре,
Чтобы жить с хозяйством в мире,
Что нам делать на семь су?»

«Семь су! семь су!» подтягивали мы хором... но один раз я увидел, как отец плакал, один в большой зале — или большой казалась она моим детским глазам — тогда он получил известие о смерти своей матери, моей бабушки, которой я никогда не видел, ибо родители отца развелись рано, и он был нелюбимым сыном своей матери. Она жила в Ковне — это всё, что я знаю о ней. Зала — вернее зальце нашей квартиры, служившее приемной врача, — была заставлена мебелью резного черного дерева, которой было наверно лет сто. Испуганный, я следил за зрелищем слез отца, и понял вдруг — мне было лет семь — что у него была мать, как у меня. Отец плакал и молился вполь-

голоса, произнося по памяти непонятные слова и читая из молитвенника, ходил из угла в угол, глядя красными от слез глазами в потолок, присаживался и вставал. В то утро, вероятно, он вновь пережил свое детство, вспомнил и то, что давно, казалось, было забыто, и о чем никогда не рассказывал нам — кроме того, что мать не любила его. Она не взлюбила его с тех пор, как он несчастливо упал в раннем детстве и расплющил себе нос.

Этот широкий и смятый нос нами, детьми, никогда не воспринимался как физический недостаток... мы к нему привыкли и не могли бы себе представить отца иначе, но для него самого он рано, вероятно еще в школе, стал причиной душевного ранения. Природа отметила его этим знаком, и напрасно он старался устранить его. Какая-то операция с впрыскиванием парафина не удалась, стало еще хуже. Он вечно был настороже, раздраженный, и в старости, когда школьники показывали на него пальцами на улице, или ему казалось, что дети дразнят его, он приходил в неистовый гнев, подымал палку и гнался за ними. А как жестоки должны были быть с ним женщины и как должно быть мучительно он переживал свои неудачи с ними... Об этой стороне его жизни я могу только догадываться по тому, каким женоненавистником он был, как непримиримо отзывался о женщинах вообще. Люди были против него, — и он, врач и целитель по профессии, — отвечал им враждебностью и циническим пренебрежением.

«Деньги — деньги — деньги!» этот припев сопровождал его всю жизнь, но ни зарабатывать, ни составить состояние он не умел, и неизменно терял накопленные крохи. Теперь, издалека, я не то что вижу, а умозаключаю его крайнюю наивность, неумелость, непрактичность в обращении с деньгами — одну из черт его общей неприспособленности к жизни. Он всегда считал, подсчитывал, тщательно записывал в книжечку каждую заработанную копейку и каждый мельчайший расход; в конце месяца выводил итог, тратил скупо, всегда «откладывал». Откладывание было его страстью до конца жизни, смыслом его работы, которая как на крюк была повешена на контрольную цифру сбережений. Собрав некоторую сумму, отец терял ее

самым нелепым образом, как Сизиф, докативший камень до вершины горы. В первый раз он доверил несколько тысяч рублей под проценты человеку, который вскоре обанкротился. Погиб капитал, погибли и проценты. Во второй раз он послал свои процентные бумаги через банк в тогдашний Петроград для обмена на облигации «с новыми купонами» — но это был февраль 17 года, разразилась революция и гражданская война, и он никогда больше не увидел своих «выигрышных займов» и облигаций. В третий раз, уже будучи очень стар, на пенсии, он умудрился собрать целых 3000 польских «злотых» — и накануне второй мировой войны сделал великолепный жест: подарил их своему малолетнему внуку, приехавшему навестить деда из далекой Палестины. Внук был слишком мал, чтобы оценить этот жест, и не помнил о нем, когда вырос, — а через год вспыхнула война, и старик на окраине Польши оказался отрезанным от детей, от сообщения с миром и без средств к жизни, когда оборвалась выплата его «эмеритуры». Он умер 8 февраля 1941 года, и судьба на этот раз была милостива к нему: умер за 5 месяцев до окупации немцами города Пинска, где он прожил последние 20 лет своей жизни. Умер естественной смертью — не в гетто и не с голоду, и похоронен был на старом пинском кладбище, в двух шагах от своей квартиры, а не в массовом гробу, во рву, наполненном трупами, как бедная спутница его жизни, моя мать.

Он умер, как жил, — не понимая, что делается на свете, подавленный, оглушенный событиями, безвольно поддаваясь их течению. Вечно проклинающий, озлобленный, обиженный и не прощающий людям воображаемых и действительных обид, он никогда не был мятежником, бунтарем, революционером против уклада жизни. Идейные течения его времени, социализм, сионизм, прошли мимо него. Он не читал книг и рано прекратил выписывать газету. Нас было двое, — я и сестренка, на три года моложе меня, — и мы росли в атмосфере духовной скудости, лишенной всякого стиля и того интеллектуального фермента, который сообщается детям еще прежде, чем детский ум в состоянии отдать себе отчет в окружающей сложности. Мы росли без религиозного воспитания и без того, что могло бы

его заменить: идеи, главенствующей над жизнью. Дом был сугубо мещанский, убогий, — бедное, временное жилище провинциального врача, — и только много позже я начал открывать также и в нем отдаленное эхо, — проблески какой-то чудесной, иной жизни, как цветные искры в изломах и трещинах серого камня-булыжника.

Не было во мне благодарности за то, что мы жили в тепле и сытости за счет отцовского труда. Это казалось естественным и не могло быть иначе. Мы четверо — отец, мать и двое детей — составляли одно целое. Но задолго до того, как плачевно распалась семья под натиском войны, революции, разорения, — начался внутренний распад семьи. Стыд за отца превратился в суд над ним, — и я вынес уничтожающий приговор. Я стал презирать его.

В моих глазах он стал в те отроческие годы, когда намечается какая-то тропа в дремучей чаще жизни, — воплощением всего отрицательного и теснящего, от чего надо уйти. С тех пор, как я прочел «Ионыча» Чехова и «Мелкого беса» Сологуба, — он стал для меня Обывателем — с большой буквы. Я презирал обывателя, филистера, умственное и нравственное ничтожество, человека, оскорблявшего меня всем строем своей жизни. С этого началась моя взрослая жизнь, — с протеста против затхлого тупика, в котором я себя увидел.

Отчуждение от отца нарастало по мере того, как я уходил в свой внутренний мир, где отцу не было места. Он проглядел меня не по рассеянности, а по какой-то несоизмеримости с тем, что во мне происходило, неспособности войти в жизнь своего ребенка и стать ему товарищем. Он отталкивал меня каждым своим жестом. И каким для меня было потрясением, когда я узнал, понял из разговора, который вели отец и мать, не обращая внимания на мое присутствие, что отец, недавно назначенный во врачебную комиссию по приему новобранцев, берет взятки за освобождение. Отец перешептывался с матерью, хрустели бумажки, а во мне рядом происходило смятение, перестановка понятий, росла недетская брезгливость. Мне было тринадцать лет. Вдруг, лежа в постели, в боковой детской, которую я делил с сестренкой в нашей четырехкомнатной

квартире, я услышал поздним вечером из приотворенной двери фразу, которую отец уронил, не думая, что в этот поздний час я еще не сплю. Он сказал мирно и звучно, как самую обыкновенную вещь, о каком-то знакомом:

— Ну, это порядочный....

И тут я услышал слово, которого не произносили в моем присутствии, и которое от грязной матершины отличалось тем, что было употреблено в обычном преспокойном разговоре. Он вбил это слово, как гвоздь, в мое сонное полуспящее сознание, и я замер. Я перестал шевелиться, как жук, над которым нависла чья-то угрожающая рука. Я испугался того, что отец **так** разговаривает с матерью, от этой интимности в самом мужицком варианте.

Обыватель! — это слово в гимназические годы стало для меня бранным обозначением всего ненавистного. И первый мой акт самозащиты выразился в том, что я написал, будучи в пятом или шестом классе реального училища, яростный обвинительный акт: «Что такое обыватель» — мой первый эссэ, прекрасным четким почерком, в тетрадке на листах в клетку, с отграфленными красной линией полями. Акуратно я писал, не выходя за поля, держал свои слова в порядке, но это был боевой порядок, расчет за всё, убийственная характеристика того, что представляет собой «обыватель», тупой, но агрессивный и беспощадный ко всему чего он не понимает. Эта тетрадка попалась отцу, и он, конечно, понял с кого был списан и против кого направлен этот язвительный портрет. Он молча вернул мне тетрадь через неделю, в течение которой я искал потерю по всем углам... и не сказал ни слова... но я помню это подчеркнуто хладнокровное, гладко выбритое лицо и взгляд в сторону серых глаз, рано налившихся кровью, — глаз моего отца, которые позже, в старости, уже почти ничего не видели.

И один раз я поднял руку на него. Мне было тогда 16-17 лет. За обеденным столом в тесной комнатушке двухкомнатной квартиры в Екатеринославе он начал один из своих неудержимых, неистовых, припадочных скандалов. Он обрушился на мать с затейливо-грязной, непристойной бранью, но на этот раз кроме моей младшей сестры, за столом сидела еще гостья —

восьмилетняя девочка, чистенькая, с ангельским личиком, в нарядном платьице, дочка соседей, которая оторопела и присмирела, но ее внимательные глаза не отрывались от лица отца. Ее присутствие не только не остановило отца, но точно вдохновляло его. Как будто он понял, что именно благодаря ее присутствию слова, которые он изрыгал, будут в стократ мучительнее для нас. И вдруг — в одну секунду — безобразный смысл этой сцены пронизал меня, как если бы тут происходило какое-то публичное растление ребенка, и я перестал владеть собой. Мать схватила меня за руку но отец увидел этот жест... И сразу наступило безмолвие за столом. Отец смотрел на меня — на лице его была боль и удивление, испуг и ирония. Но он опомнился. Я вышел из-за стола в кухню, и мать прибежав за мной, отобрала топор из моей руки — «успокойся, успокойся!» Я перекрыл своим исступлением бушевание отца, хотя не сказал ни слова. И этот бунт отец мне запомнил на всю жизнь, ибо умел помнить обиды, неотразимые обиды преследовавшей его судьбы. С течением лет множились эти обиды, и когда мать и взрослые дети оставили его, старик, брошенный всеми, пережил жуткие годы.

Он был болен. Ухо, нос и глаза мучили его беспрерывно. Промывание носа с утра совершалось с помощью глубокого впрыскивания и вскрика «кукушка!» Он стал плохо слышать. К шуму в ушах прибавилась катаракта на глазу. Он стал нетвердо держаться на ногах. Мне случалось поддерживать его, вести под руку, когда я сравнялся с ним ростом. Но жалобы его и стоны, — в особенности, когда под шестьдесят он стал высказывать пламенное желание поскорее умереть (а перед ним еще были двадцать лет жизни) — вызывали во мне только досаду и враждебность. Мне казалось, что очень легко умереть, если действительно, а не на словах только, хочешь положить конец своей жизни, — и я презирал его и за это пустословие. Я был жесток к нему и не понимал, кому и зачем нужна такая жизнь.

Но в конце-концов гнев против него миновал, а осталось — с годами, когда накопился собственный опыт — только недоумение перед жизнью вообще, перед гнетущей бессмыс-

лицей и безобразием, которые сильнее нас и опутывают нас липкой паутиной, а потом жесткой сетью, из которой не вырваться. По мере того, как он становился всё беспомощнее, всё зависимее от посторонней помощи, росла жалость и желание хоть чем-нибудь, хоть мелочью, вниманием к его капризам и слабостям, возместить, искупить горечь его жизни.

Сначала в этом отношении было какое-то снисхождение, сознание своего превосходства. Ведь я читал книги, которых он не был в состоянии понять (раз, в старшем классе реального училища, увидев в моих руках «Так говорил Заратустра», спросил недоверчиво «ты это понимаешь?»), я господствовал над ним здоровьем, удачей, умом. Только с годами — и очень-очень поздно — жалость к отцу стала жалостью к доле человека — каждого человека. Он таял на глазах и из года в год слабел, он боролся как утопающий со старческой немощью, становился всё тише, уже не буянил, угасал как свеча, уходил в обступавшую его ночь. И навещая издалека — два раза в году — бедное его жилище, отражавшее его физический упадок, я смиренно целовал его руку и до конца жизни говорил ему «вы», как был научен с детства.

Я уже говорил, что судьба была к нему милостива — не в жизни, а в смерти, позволив ему умереть за пять месяцев до чудовищного гитлеровского избиения, не позорной, а «нормальной» смертью. Последнее, что дошло до меня издалека — была за месяц до смерти переданная матерью просьба: «папа просит написать ему что-нибудь утешительное». Но ко времени, когда эта просьба пришла, он уже не жил, — и это воззвание об утешении, голос скорби и одиночества, — остались без ответа.

Время сглаживает и выравнивает различия, и теперь мне ясно, что все люди одинаково заслуживают жалости, и я ничем не лучше своего отца пред судом совести и пред вечностью. И если когда-то, ребенком, я воображал, что мои мысли, чувства, скрытые желания таинственным образом, но неизбежно, открываются ему и в какой-то положенный срок перестают быть моим достоянием и входят непоправимо в его жизнь (что

было только первичной формой религиозной потребности предстояния Высшему началу), — то в позднейший период моей жизни это отношение обратилось в свою противоположность. Его взрослая, мятущаяся, полная боли и мучительных разочарований жизнь стала проплывать через мою и повторяться в ней так, что я стал узнавать его в себе, со смирением и смятением. И если было во мне то особенное, чего не знал и не узнал отец, — то кто поручится, что оно не было мне завещано теми дедами и прадедами, память о которых прошла бесследно, но жизнь их возродилась во мне. Ибо наша жизнь не начинается в нас и не проходит с нами; она лишь меняет свою временную физическую оболочку тела, как вода, протекающая через трубы, — и мы, глядя пред собою, не знаем, **чьими** глазами глядим, **кто** с нами глядит, и радуясь, не знаем, чье счастье ожило в нас, и страдая, не догадываемся, кто в нас страдает снова и снова. И даже в эту минуту, когда я опускаю глаза и подпираю рукой лоб, — кто знает, не повторяю ли я жест одного из моих прадедов так точно, что он узнал бы себя во мне, как в зеркале, — и как эхо звучат во мне тысячелетия прожитых надежд, страстей, волнений, чтобы ожить на миг и уйти туда, где прошлое слито с будущим.

2. МАТЬ

Мифический период жизни матери — ее юность и девичество, когда звали ее Олей, Оленькой, — скрыт от меня. Она была младшей в семье, у нее было четыре брата, отца своего она не знала, он умер вскоре после ее рождения. Я никогда не мог представить ее себе ребенком, девочкой, подростком, гимназисткой. Школа не оставила на ней видимого следа. Неизвестно, чему и сколько ее учили. В моем представлении мать запечатлена простенькой еврейской барышней конца прошлого столетия, из глубокой но теплой, насыщенной теплом, еврейской провинции, какой был ее и мой город Пинск. В этом городе она родилась в 1873 году, и ей было 27 лет (а ему 40), когда выпала ей эта удача — выйти за человека «с высшим образованием», «с дипломом», за врача. Мать — коренная пинчанка, и благодаря ей этот город с многовековой еврейской

традицией (от которой ничего уже не осталось, кроме воспоминания) — моя колыбель.

Город Пинск ушел на дно истории, как легендарный град Китеж. Вот улица на окраине, ветхая калитка, незнакомый запущенный двор и сад, заросший лопухами. Солнце играет на старой истлевшей скамье. Я здесь оказался случайно — гость с седеющими висками — и как странно! старые обитатели дома, которых я в первый раз вижу, знают меня отлично, знают, кто я и чей. — «В этом саду», говорят они мне приветливо, «часто бывала ваша мать, еще девушкой». Неужели, в этом самом саду? Старые люди, коренные пинские старожилы, смотрят на меня особенным знающим взглядом, сдержанным и отдаленно дружеским, где отражено как в потускневшем от времени зеркале то, чего я сам уже не помню и не знаю, что было до моего рождения в этом древнем городе, когда моя мать была молода, и сад был молод, и деревянные дома еще не обветшали.

С 14-15 века стали селиться евреи в Великом Княжестве Литовском. Откуда шел их наплыв, ясно из фамилии моей матери: она была рожденная Гальперин. Это имя производят исторически от «Гейльброн» — города в Германии, откуда Клейстова «Кетхен фон Гейльброн». Итак, была моя мать — «Ольга фон Гейльброн», хоть никогда не бывала в Вюртемберге.

В 1896 году сирень и жасмин цвели во всех пинских дворах, а девушка Ольга уехала, вслед за тремя старшими братьями, в Америку. Понесла ее волна массовой еврейской эмиграции. Сотни тысяч тронулись тогда за океан из перенаселенных городов и местечек «черты оседлости». Слово «шифскарта» звучало как зов трубы на походе.

Двое братьев осели в Нью-Йорке, третий поселился в глухой мексиканской деревушке Сант-Андрес; четыре года прожила моя мать в Чикаго. Что же она там делала? Семейное предание гласит, что она «работала на фабрике галстуков» и «изучала ретушировку», что связано, очевидно, с фотографическим ателье, — но разве можно заполнить этим це-

лых четыре года? И почему вернулась в конце 1899 года в Пинск? И как засватал ее доктор Борис Ильич Марголин, и долго ли она колебалась, прежде чем выйти замуж по трезвому расчету, без всякой романтики, в надежде на солидное, прочное, обеспеченное житье? Надежды не оправдались, и семейная жизнь оказалась несчастьем не по силам простодушной Оленьке. Но осталась, в память тех американских лет — когда в душных портняжных и иных мастерских каменных джунглей Ист-Сайда и Чикаго перерабатывалось человеческое месиво в то, что теперь называется «амэрикэн джюри», — сантиментальная и грустная песенка, которую напевала еще в первые годы замужества мать:

...Арбайтен, арбайтен,
Арбайтен муз мэн дох...

И еще остались, в память тех лет, два массивных альбома фотографий.

Семейные альбомы той поры! Прочно стояла тогда Российская Империя от Привислянского края до сопок Маньчжурии, не ожидая близкого конца; ее семейные альбомы были рассчитаны на вечность. У нас их было два — один в коричневом, другой в матово-красном, тяжком переплете, с украшениями, скрепленном застежками, с золотым обрезом толстенных страниц. Фотографии были наклеены на твердый картон и назывались «карточки»; на оборотной стороне они были снабжены фирмой фотографа, соответствующим текстом и гирляндой медалей, заслуженных артистом своего дела. «Фотография Ренделя против Римско-Католического Костела в гор. Пинске» — какой же пинчанин, родившийся на переломе века, не помнит этой фамилии? Рендель родил Вайнтрауба, а Вайнтрауб — Каца: три поколения пинских фотографов, потом это искусство стало доступно всем и каждому, и последний Кац уехал в Палестину. Но в те времена каждая «карточка» была еще событием и вставлялась бережно в прорезы из тонкой бумаги в толщу картонной страницы.

Альбомы были первыми книгами моего детства. Это была летопись рода, семейная хроника, торжественная вереница об-

разов. Их полагалось знать, и мать давала каждой фотографии свой комментарий. Объясняла, что вот этот господин в сюртуке с важным лицом был «дядя Оруш», а эта дама — «тетя Берта». И по сей день я помню их всех: и тетю Берту с двойным подбородком, величественную как императрица, и бабушку Сару — в чепце и парике, с умным и нервным лицом еврейской патрицианки (такой потом рисовалась мне знаменитая Глюкель фон-Гаммельн, автор мемуаров 18 века, памятника быта патриархальной еврейской семьи), — и также другую бабушку, мать отца с каменным и чужим старушечьим лицом, которую так и не довелось мне видеть, как и прочих неизвестных родных в стоячих воротничках, подпиравших шею, с усами и бородами, с остановившимся взглядом ничего не выражающих глаз. Фотографии эти что-то значили для матери, а для меня были только картинками в альбоме, не возбуждавшими никакого любопытства.

Куда девалась, как пропала эта семейная хроника? Альбомы прочно лежали на своем месте. Возможно, они еще сохраняются где-нибудь вместе с прочими реликвиями той поры «до потопа», поглотившего весь город моей матери и весь ее мир. Где-нибудь в белорусской хате под Пинском, полной еврейских памяток, плюшевых скатертей и субботних подсвечников, еще сохранились они, — только без ненужных, выброшенных «карточек», место которых заняли герои отечественной войны, удалые партизаны, их невесты, жены в платочках и белобрысые крестьянские дети, Мити и Васи в картузах. Среди новых фотографий, кто знает, уцелели одна-две прежних, — на память о семьях и быте, исчезнувших несколько преждевременно, раньше положенного им — тоже впрочем не слишком долгого — срока.

Сохраняется у меня одна фотография, размером 16 на 10: изображены на ней четыре молодых девушки, во цвете лет, с еще полудетскими лицами. Одна, слева, сидит на венском стуле за столиком, опершись локтем на раскрытую книгу и подперев щеку, в излюбленной позе тогдашних фото; и моя мать стоит, положив руку ей на плечо и обнявшись с третьей подругой; та, в свою очередь, уронила руку на плечо четвертой,

а четвертая, симетрично к первой, сидя на венском стуле, наклонившись слегка, уронила руки на колени. Фотография молочно-кофейного цвета, конца 90-х годов прошлого столетия. Подруги причесаны разно: челка у одной, у другой гладкие волосы над открытым лбом, у третьей шиньон и брошка на груди, а у той, которая будет моей матерью — волосы затейливо разделены надвое. И все затянуты в корсеты и туго перетянуты в талии, и у всех четырех — милый, наивный вид пинских барышень, которым мечтается Киев, как чеховским сестрам — Москва. Разно распорядится ими судьба — одна кончит свои дни в Аргентине, другая в Пензе, а эта — во рву, полном трупов, в ночь избиения 28 октября 1942 года. Но еще долго до этого — целая жизнь.

От тех девичьих лет, проведенных моей матерью в Америке, остались книги, непонятно-волшебные и таинственно-дразнящие: стояли на этажерке Байрон и Тениссон в золотообрезанных переплетах на неизвестном языке, и старые иллюстрированные журналы, все картинки которых я знал на память: на белых, плотных и глянцевитых листах пальмы и дамы в туалетах, дворцы и странные птицы; всё повторялось непонятное слово «билдинг»; я знал уже латинский алфавит, но мне так и не пришло в голову, что можно спросить значение этого слова (вероятно потому что всё-всё-всё кругом было непонятно, и совершенно естественно было не понимать происходящего). Я запомнил на одной картинке: — пароход уходит в вечерний закат, весь сияя огнями, торжественно и красиво, а на переднем плане был человек, упавший в море, он тонул, а пароход уходил всё дальше. Вот какая Америка, от нее сжимается сердце! А мать садилась к роялю и играла что умела — «Молитву девы» Бодаржевской — или говорила мне «Юленька» голосом домашним и теплым, как пухóвый платок, и смотрела на меня карими выпуклыми глазами.

Весь смысл ее жизни был в детях, она гордилась ими, и мы, я и сестренка, были довольно привязаны к ней. Однако, никакого «Эдипова комплекса» я за собой не знаю. Не было тяготения к матери даже в периоды обостренной враждебно-

сти к отцу. Мы, дети, не боялись ее и жили под ее опекой, как под чем-то, что само собой подразумевалось, но не уважали нисколько — когда вошли в разум достаточно, чтобы понимать разницу между «достойным» и «недостойным» уважения. Отец обвинял мать, что она восстановила против него детей, но в этом не было с ее стороны никакой нужды: он сам был грозой дома и постоянной угрозой домашнему миру. Он преуспел в том, что мы потеряли уважение к матери. В возрасте, когда дети начинают судить родителей, я не мог простить ей, что она позволила себя так унизить и позорить, — и не только не умела остановить отца, но — в моем детском понятии — сама провоцировала семейные сцены, ненужно противореча отцу, когда надо было промолчать, уклониться и уйти. И при первой возможности я сам ушел из родительского дома, без малейшего сожаления, без мысли о том, какую боль причиняю матери. Я не испытывал ничего, кроме облегчения. Ничто не удерживало меня, душевный контакт был прерван задолго до того, как я оставил родительский дом. Я создал себе другой мир и жил за миллион километров, на другой планете, куда ни отец, ни мать не имели доступа.

Много лет спустя тот факт, что где-то в мире существовали отец и мать, стал для меня источником обновленного сыновнего чувства. К тому времени они оба были беспомощными стариками, и заботясь о них, я подтверждал свою зрелость, взрослость и силу. Опека над ними была не только исполнением пятой заповеди, но и окончательным преодолением памяти отравленного детства.

Наша семья распалась в 1923 году, когда я уехал учиться в Берлин, сестра вышла замуж и уехала еще дальше — в Мексику, забрав с собой мать. Отец один остался в Пинске и пережил в одиночестве страшные годы нужды и болезней, — восемь лет разлуки. Предполагалось, что отец позже, когда в Америке «наладится жизнь», поедет за матерью... но вышло иначе. В 1931 году мать вернулась к отцу, чтобы разделить его последние годы.

Закончился фантастический период ее жизни в глуши

южной Мексики, в тропическом лесу, среди гор и плантаций, среди говорящих по-испански «индиос». Оттуда в Нью-Йорк, где ожили воспоминания ее молодости, и где, спустя тридцать лет встречали ее с неизменившейся сердечностью постаревшие племянники и племянницы... Несколько дней, как во сне... и в третий, последний раз в своей жизни она пересекла Атлантик вторым классом пышного парохода. Это был кульминационный пункт ее жизни. В Пинске ждал ее одряхлевший, но всё еще неукротимый и трудный в сожительстве старик, полуглухой, полуслепой, раздражительный и своенравный. Дважды в год я наезжал к ним в Пинск — на два-три дня. Несмотря на то, что отец получал от польской кассы врачебной взаимопомощи достаточную пенсию, необходимо было поддерживать мать отдельной суммой ежемесячно, чтобы избавить ее от материальной зависимости от отца.

Странный и совершенный контраст представляла собой эта пара: отец — клубок нервов, мать — невозмутимая в своей простоте, никакой душевной тревогой нетронутая женщина, без вопросов о смысле жизни и без страха смерти. Это последнее драгоценное свойство помогло ей в последний год ее жизни, когда в пинском гетто, после смерти отца, она осталась одна-одинёшенька, без средств к жизни и без помощи извне. Из уст женщины, чудесно уцелевшей после уничтожения пинского гетто немцами, я слышал рассказ о жизни моей матери в гетто. Там разделила старая женщина со всеми осужденными на смерть муку медленного угасания в голоде и холоде, когда стояла ее постель в коридоре чужого дома. И там возвысилась она до героической твердости и спокойствия пред лицом смерти. Она была счастлива — если можно назвать это счастьем — тем, что ее дети и внуки были вне опасности — далеко за морем. Немногие матери в том смертном тупике без исхода могли похвалиться таким счастьем. Она была спокойна. Она исполнила назначение матери—передать драгоценный клад жизни своим детям и внукам, — она вплела свою жизнь в неразрывную цепь поколений, где каждое звено необходимо, и где непонятно для нее, но достоверно, что ее бедная, трудная жизнь была нужна и служила какой-то цели.

3. ПИНСК

...Помню, помню вид полесский —
Только спели буфера,
Как дымились перелески
Влагой сизого утра.
Помню, лютики пестрели
На откосах полотна.
На заре дремали ели
У вагонного окна.
А потом я видел много
Желтых лилий водяных —
Это было у порога
Милых мест моих родных.
Там над озером туманным
И поныне тишина.
Спит на отмели песчанной
Бездыханная волна.
Не дрожит за болтом ставень
В тихом домике твоем.
Свет погас. Засов заставлен.
Сторож дремлет под окном.

В мои студенческие годы таким я видел Пинск издалека. Но в этом стихотворении нет еще самого Пинска — есть только память возвращения, приближения к нему. Поезд Варшава — Брест — Пинск, расстояние 400 километров. Поезд отходит в полночь. После ночи в полупустом, а потом и вовсе пустом купэ — встает рассвет над страной моего детства, и сердцу зябко, всё отходит, всё бледнеет пред этим возвращением, пред этой потерянностью заброшенных белорусских просторов, глухих и заглохших, щемяще-бедных, и тихих, как только могут быть тихи на рассвете безлюдные мокрые луга и деревянные домишки, где люди спят за закрытыми ставнями. Пинск, где я родился — город начала века и начала жизни. Теплый город, которого больше нет, как нет и домика, где я рожден, и людей, из года в год, столетиями, создававших заколдованный замкнутый мир еврейской жизни, как крепость в тройной

ограде — географической дали, исторического отчуждения и культурной изоляции.

Пинск — всегда был «далеко». Где-то был императорский Петербург, польская Варшава, Цюрих и Льеж с их университетами, куда стремилась еврейская молодежь из черты оседлости, был Данциг, куда шел сплав леса по сонной Пине, Бугу и Висле. Пинск — инкубатор, откуда разлетались птенцы и куда возвращались они иногда — гостями к истоку дней. Но настоящий Пинск — был тот, который не стремился прочь и не возвращался и всегда был на месте.

Он и теперь на месте, хотя и не придется мне больше его увидеть. Я знаю — «там над озером туманным и поныне тишина». Но это уже не Пинск моего детства. Нет в нем больше евреев, им нечего больше там делать. Этот Пинск мне чужой. Мой город был на 90% еврейский — только за «переездом» железной дороги, на окраинах, выбегавших в поля, жили рабочие железнодорожных мастерских, белоруссы с фамилиями Шпудейко, Корытько, Епишко, а в самом городе чиновники всех родов, величественный полицмейстер Захаров, потом Купцов, величественный директор реального училища д. с. с. Органов, примесь поляков. Позже, под польской властью, с 1920 года, процент еврейского населения снизился до 70%, настроили много каменных домов в центре города, Большую-Киевскую улицу переименовали в улицу Косьцюшки. Улицу моего рождения переименовали из Плевской в улицу Огиньского. Возможно ли, что «Плевская» была названа именем Плеве, царского министра, убитого террористами, вдохновителя Кишиневского погрома?

Столица Пинских болот (которые, кстати, начинались где-то в 80 км от города) была глубочайшей провинцией, уездным городом Минской губернии до рокового 1915 года, когда немцы окупировали Пинск и впервые провели там электричество. Позже, в польский период, помещалось в белом доме над Пиной «староство», — а сам «воеводский» город Бжесьць, он же Брест-Литовск, лежал 240 км на запад на пути в Варшаву. За Пинском продолжалась жел. дорога на Лунинец, Микашевичи, Лахву... и обрывалась на советской границе.

В преданиях времен маячил Пинск — столица Пинско-Туровского княжества, родина дреговичей или древлян, людей болотных и лесных... С начала 16 века евреи селятся в Пинске, под охраной королевских привилегий. Охранные польские грамоты не спасают их в 17 веке от жестоких погромов. Карл 12-й проводит в Пинске несколько недель в 1706 году. Громили проходящие войска, вольница всех национальностей, свои мещане... но с местным крестьянским населением евреи жили без обиды. При слове Полесье встают в памяти леса, поля и болота, озера и речные разливы, туман над водой, осока, штабели дров, крепкий мужицкий запах смолы, березки, затоны, рыбные сети, курные хаты с соломенными крышами и кроткий белорус в зипуне с красным кушаком и в лаптях с онучами — в «душегубке», выдолбленном челне из цельного ствола дерева, отпихивающийся шестом вдоль берега. Это Полесье, это музыка Полесья, в которую вплетается полифония веков.

Музыкой веков в моем городе были монументальные храмы — средневековый католический костел конца 15 века, окруженный каменной стеной с колокольней-компаниллой в стороне, и униатский собор 18 века — две белые громады, в резком контрасте с жалкими деревянными домишками и торговыми рядами рынка, куда съезжались на торг крестьянские возы. Эти громады были свидетелями былых безвозвратных времен, гордой польской культуры, от которой к моему времени остались только поместья польской шляхты в повете: «Альбрехтово» Скирмунтов, «Песочное» графини Платер и малые усадьбы, где тлела-догорала традиция католической Жечи-Посполитэй. Здесь над Пиной жил в 18 веке славный польский историк Нарушевич... здесь канонизировали убиенного отрока Андрея Боболю, жертву ритуального убийства... но всё это прошло мимо моего детства — история прошла мимо, хотя история надвигалась на Пинск со всех сторон. История вершилась в веках, костелы и церкви были ее памятниками, кладбища ее приглушенным голосом, и так же как сонно текли реки, Струмень впадал в Пину, Пина в Ясельду, Ясельда в Припять и Припять текла в зеленых берегах, — так же сонно текло время, чудесное особое время моего детства вне исто-

рии. И ныне я вспоминаю этот доисторический период, как вспоминают сон, сквозь завесу влажных и сырых рассветов, с их встающим солнцем.

Солнце обещало горячее тепло дня, — это солнце, над погостом древлян и частоколом городища удельного князька вставшее не иначе, чем над городом моей матери солнце жизни, а не солнце истории. Мне не приходило в голову спрашивать, почему Плевская улица называлась Плевской, что происходит за белой каменной стеной чужого костела, — эта была та же природа, частью которой был я. Она влекла и пугала, привлекала и страшила огромностью. Еще не обозначилась разница между городом и лесом, дорогой и улицей, людьми и картинками в непонятных книгах, между явью и сном. Совершенно естественно представлялись знакомые с самого пробуждения жизни костел и круглой громадой нависший над рынком монастырь, и зеленоглавая на Соборной улице православная церковь с надписью узорной вязью на фронтоне «Дом Мой дом молитвы наречется» (с урезанным, однако, концом этого стиха пророка Исайи — «для всех народов») — непременной принадлежностью еврейского города, декоративным фоном, в гармоническом согласии с ним, как Пина с желтыми лилиями в воде и облаками в небе.

Среди церковных зданий, вековых и строгих стражей возносившихся над морем деревянных домов, в самом центре Пинска стояла Большая Синагога. Без башен и куполов, она импонировала величиной, — сущий бастион, истинная крепость, кряжистая с мощными стенами, как строили в 17-18 веке, когда в таких синагогах отсиживались от наездов целые общины. Большая Синагога с ее пристройками-притворами, дворами, величественным храмовым залом, где звучали детские хоры и окутанный талесом «хазан», пел и плакал пред Святым Кивотом, — была сердцем Пинска. Ее больше нет, — немцы срыли ее до основания в годы великого избиения. Во-веки не будет она отстроена, как не восстанут миллионы убитых и вся та эпоха. Всё же почетнее кажется конец старой Синагоги, чем позор ее сестры в Бресте, которая уцелела, чтобы быть пре-

вращенной в кинематограф или «клуб безбожников» в городе, где больше нет евреев.

В моей памяти еще стоит древняя синагога, как исполинский белокаменный куб. В осенней слякоти сидят под стеной ее укутанные торговки с корзинами, закрытыми полотенцами. В корзинах — початки золотистой горячей кукурузы. Запах ее, сладкий и влажный, как запах котла, в котором варится и клокочет белье, с детства вошел в мои ноздри и на всю жизнь остался — пинским запахом, близким слепым переулкам, покосившимся стенам и окошкам с двойными рамами и, зимой, с цветными стаканчиками в вате. Это запах добротный и свойский, как запах печеного хлеба из пекарен, на вывеске которых намалеван витой калач, — глянцевитая еврейская «хала» — и несколькими шагами дальше три медные тарелочки на проволоке обозначают парикмахера.

Память о Пинске начинается с оглушительного, звонкого, взрывного **банг!** — это хлопает звучно и гулко отпущенная детской рукой калитка на тугой пружине. Калитка у новых двустворчатых ворот на Плевской улице. С усилием я открываю калитку, оттягиваю пружину, и калитка, пропустив меня во двор, захлопывается — **банг!** — с треском на всю улицу. Я слышу этот звук — отнюдь не «воспроизведенный» или скопированный, а именно тот самый, сохраняемый памятью во всей его тогдашности. Через эту калитку я вхожу в мое прошлое, которого нет, как нет и калитки, как, впрочем, нет и меня в ту минуту когда кто-то прочтет эти строки, в отдаленном будущем, обреченном на то, чтобы тоже стать чьим-то прошлым. Всё прошло, проходит, пройдет, — и непостижимым для нас образом остается, пребывает в плане мирового бытия. Часть этого «остается», она и составляет мой рассказ.

Итак я вхожу во двор дома Каганов: большой дом и большой двор, заросший травой, на котором не один, а три малых садика и домик в глубине, где я родился. Домик, где я родился, выходил окнами на «Ровец», — так называлась эта уличка на идиш, — и были в нем две крошечные квартирки, каждая с сенцами, кухней и двумя комнатками. В сенях стояла

бочка с водой, а в кухне — была печь, стол, покрытый клеенкой, полки с посудой, убранные бумагой с бахромой. Деревянные полы пахли свеже-вымытым деревом, и еще стоял в воздухе тот сложный запах еврейской провинции времен дедовских, который складывается из аромата фаршированной рыбы, изюма и табаку, запах душный и сладкий, с примесью нафталина и непроветренных комнат. Двери были с порогами, стены в цветных обоях, низкие потолки с поперечными балками. Белые вышитые занавески «с птицами» на окнах, и зеленая плюшевая скатерть на столе в первой комнате. А во второй стояла кровать, на которой я родился. Это сообщение не произвело на меня никакого впечатления, не пробудило воображения. Рождение и его обстоятельства не интересовали меня, но я запомнил всё-таки, что родился в 9 часов вечера в предпоследний день праздника Кущей, в 1900 году.

В этом домике жила моя бабушка, Сара Гальперин, умершая в 1907 году. Я не помню ее при жизни, помню большую фотографию — худощавое в глубоких морщинах лицо старушки в парике, разделенном посредине, в гофрированной кофте. Воспоминание о бабушке заслонено воспоминанием о тех лакомствах и традиционных «ханукальных» деньгах, которые мы, дети, получали на праздник. Лакомства были — орехи в меду, и «боксер» — рожки — коричневые глянцевитые стручки, которые очаровывали меня своей волшебной непохожестью на обыкновенные фрукты и особенным звуком разламывания, когда появлялась из-под лакированной корочки их медово-золотистая сердцевина. В еврейской провинции эти привозные издалека «боксер» были символом далекой страны Израиля, о чем я, впрочем, не имел никакого понятия.

Бабушка Сара Гальперин была общепризнанной умницей. Рано похоронив мужа, имя которого ношу я и все мои старшие кузены, она единовластно управляла семьей. Предание гласит, что все дома́ по одной стороне Плевской принадлежали ей — когда-то! И белое здание в два этажа с мезонином, где помещался Азовско-Донской банк, и дом, где проживал доктор Бокшицкий, и уютная деревянная синагоженка, которая называлась «Мохе'с Шулхен» и как-то связана была с памятью

патрицианского рода бабушки. Но к началу века процветание рода Гальпериных кончилось. И бабушка доживала свой век в маленьком домике во дворе, а «большой дом», выходивший фасадом на Плевскую, был продан помощнику присяжного поверенного Моисею Кагану.

Этот двор и дома на нем имели одно свойство: они уменьшались, сжимались, ветшали и чахли по мере того, как я рос. В начале двор казался огромным, а дом Каганов — барской резиденцией, замком полным чудес. Время произвело в нем страшное опустошение. В Пинске деревянные постройки, простояв три поколения, начинали врастать в землю. Окно комнаты, где я родился, со временем сравнялось с деревянными мостками Ровецкой улицы, так что, придя в возраст, мне надо было наклониться, чтобы проходя заглянуть в него. Деревянная крыша подалась, почернела и покрылась заплатами из белых гонт. Летом первой мировой войны исчез большой сарай в глубине двора, прелесть которого составляла именно его ветхость, полный пыли и тени в летний зной, где сохли дрова и сложены были доски, всякие ящики, старое железо. На месте его вывели каменный амбар, заперли на ключ и отдали кому-то в аренду. Еще много позже — в 30-ые годы — исчез и домик моего рождения, и в один из моих приездов я нашел на его месте стены нового каменного дома, чужие и совершенно равнодушные к моему прошлому. Только клён, старый, разлапистый клён у забора всё стоял попрежнему, осеняя артезианский колодец, где качали воду металическим насосом через закругленную на помосте дугой трубу. Там всегда кругом была лужа, качать воду было приятно, а появление струи, не сразу, а через долгую минуту, ожидалось с нетерпением. Туда однажды принесла прислуга топить крысу в мышеловке. Не сразу захлебнулась крыса под струей, и ребенок убежал в ужасе от безобразного зрелища. Зато приятно было играть в крокет, который расставляли под клёном подальше, где стояла деревянная скамья. Но крокет и удалая лапта принадлежали более позднему, школьному времени. Пинск ранних детских лет весь был заключен в границах двора между «малым» и «большим» домом.

Этот «большой» дом, строенный просторно, по старинке, на каменном фундаменте, с верандой, с которой входили в темную прихожую, а с другой стороны вели ступеньки в палисадник с клумбами и кустами, отгороженный от двора, был сам по себе целым миром. Под окном малой боковой комнаты, куда входили из прихожей, росла вишня, — а в дальнем конце двора — мощный столетний дуб; он, вероятно, и сейчас еще стоит на том же месте. Клён, вишня и дуб, каждое из этих деревьев были привычными товарищами детства, всё было облажено, исследовано со всех сторон; а за пределами двора на Плевской горели кораллы рябин, за оградой таинственного Реального училища, и еще дальше на Соборной, — каштаны дразнили своей несъедобностью. В мае цвел во дворах над Пиной жасмин, и упоительно пахла белая «персидская» и лиловая сирень, особенно обрызганная весенним теплым дождем. Но все запахи и краски, с их неисчерпаемым множеством, которому еще суждено было в будущем разрастаться и распускаться без конца — отступали пред сказочным, гипнотическим очарованием дома Каганов. Это был «наш бывший дом», по словам матери, и рояль, стоявший в гостиной, был тоже «наш бывший рояль». Это еще более приближало к нам и дом с его интерьерами, и его обитателей. С семьей Каганов наша семья была связана дружбой более чем соседской, продолжавшейся и у родителей и у детей. Дом Каганов в моих глазах был первый «настоящий» дом, без сравнения с нашим бродячим жильем, каждый год или два менявшимся по прихоти судьбы и отцовского нрава. На двор его мы возвращались периодически — мать, я и сестренка. Мы не чувствовали себя в нем «гостями», знали его во всех углах и закоулках, всей силой детской пытливости и восприимчивости.

Небо и земля, деревья и цветы были природой, тем что не возбуждало удивления и не поражало, будучи привычной, прирожденной средой. Я имел счастье или удачу — родиться не в каменном лабиринте большого города, в насквозь искусственном мире асфальта, электричества, стекла и стали. Мои громы в полесской глуши не были громами техники, звезды моего детства светили на небе, а не на экране. И первое мое

посвящение в тот мир, где было суждено мне провести жизнь — мир созданной человеком «культуры» — я получил именно в доме Каганов. Он был полон диковинок. Дом провинциального адвоката, который даже не имел права в царские времена так называться и должен был удовлетвориться званием «помощника присяжного поверенного», был обставлен так, как в начале века обставлялись квартиры достаточного мещанства. Это значит, что в гостиной среди мягких кресел, покрытых белыми чехлами, красовался в углу гипсовый бюст Аполлона Бельведерского. Много лет до «открытия» Пушкина с его «мраморными циркулями и лирами» (в великолепном мраке чужого сада) я — маленький мальчик, которого водили сниматься к фотографу в бархатных штанишках с огромным кружевным жабо, стоял в оцепенении пред этим белым чудом. С клавишей рояля срывалась рулада, — над роялем висела картина, изображавшая замок в Гогенлоэ или Фридрихсгайне, — ступени лестницы, парк, колоннаду, за которой таились невидимые существа, наверное непохожие на жителей Пинска, и звуки рояля лились каскадом, преломляясь в пыльно-золотом луче, падавшем сквозь занавес. Через полутемную столовую и прихожую дети прокрадывались в кабинет; там на большом письменном столе стояли друг против друга два китайских болванчика: если тронуть их головы, они приходили в движение и долго кивали друг другу. Лежало граненое аквамариновое яйцо. В его бесчисленных отшлифованных гранях загорались и гасли искры, и эти переливы обвораживали больше, чем игра красок полуденного неба. Всё было необычно: и нож с рукояткой из слоновой кости для разрезания бумаги, который суживался к концу и был золотого блеска; и хрустальный шар, внутри которого плавали водоросли в воде и уточка из целуллоида; и под тяжелым пресс-папье акуратно-сложенные листы бумаги. Окна кабинета выходили одной стороной на улицу, другой на веранду, где мы играли в кегли в те праздничные дни, когда она не была запружена мужиками, съезжавшимися из окрестных деревень к «аблакату».

Еще не пришло для нас время книг. Мы обследовали дом с тыльной стороны. Там открывалась дверь на лестницу — на

чердак. Тут дух захватывало от темных поворотов, оказывались непонятные двери, за ними загадочные помещения. Кто-то жил там некоторое время, потом исчезал. Под двускатной крышей чердака, среди удушливой пыли, надо было осторожно пробираться среди старой отставленной мебели и натянутых веревок, на которых сушилось белье. На крайнем конце было круглое оконце с разбитым грязным стеклом. С огромной высоты открывался нам вид на Пинск — он был неузнаваем в переплете крыш, выраставших одна над другой. Взойти наверх значило временно исчезнуть — мы выпадали из обычной жизни, остро ощущая это выпадение. Схорониться на чердаке одному — было первым предвкушением одиночества, неизбежного в жизни. Потом начинался осторожный спуск во двор — не без опасения: дорога возвращения в привычный мир, который — кто знает? — мог ведь и не оказаться на своем прежнем месте.

4 ПОЕЗДА

— «Счастливая, невозвратимая пора детства» (Гончаров). — «Я ненавижу свое детство» (Жан Поль Сартр). Мы неизбежно окрашиваем детские годы во все цвета своих взрослых переживаний, раздумий, очарований, разочарований. «О моя юность! о моя утраченная свежесть!» Но чтобы возненавидеть свое детство, надо возненавидеть себя самого. Нельзя ненавидеть детство, оно есть жизнь в самом ее истоке. И оно так же неустранимо из нашего взрослого бытия, как память времени, которое мы несем в себе до последнего часа. Я никогда не перестал быть им — трехлетним и пятилетним и всехлетним ребенком; я не пережил и не изжил моего детства, не вышел из отрочества и не разучился юности. Как бы мог я иначе писать о них?

А что детство — «счастливое» — это часто дописка взрослого человека задним числом. Так ему представляется, но это весьма относительное счастье. Я не был счастлив своим детством. И едва только я отдал себе в нем отчет, как мне уже хотелось вырасти из него, чтобы поскорее испытать долю взрослого человека. Кому хочется — быть ребенком? Счастья

и несчастья было потом довольно в жизни. Но с чего начинается детство?

Я не помню того первого приключения, о котором рассказывала мать: ночь наедине с трупом. Как это случилось? У меня была няня. Няня была старая, опытная, властная. Она запретила молодой матери входить ночью к младенцу и запиралась на ключ в детской. В одно утро не могли достучаться в детскую: никто не отвечал. Когда взломали дверь, нашли няню мертвой. Она лежала поперек своей постели, как накануне вечером застигла ее смерть. Она не успела уложить меня, и я копошился рядом, играл ее волосами, лепетал что-то... Мне не было еще года. Явно, что, странная неподвижность няни меня не смущала.

И еще одна няня была у меня, несколькими годами позже: без лица и имени, вне пространства и времени, один голос. Вечер. Меня укладывают в кровать. Кровать под окном. В комнате мягкий полусвет, полусумрак, тени в углах, — а душевная напряженность, настороженность и внутренняя тишина — такие же как у взрослого: в этом отношении дети не отличаются от взрослых. Я слушаю. За окном — ночная бесконечная даль, я чувствую ее. Из этой дали доносится звук. Равномерный и тонко-звенящий, далекий-далекий. — «Няня, что это шумит?» — «Где шумит?» — спрашивает няня, которая ничего не слышит. — «А там, за окном». — «Это гуси кричат», отвечает няня не задумываясь, очень уверенно.

— «Гуси...» но этот звук никак не похож на гусиный гогот, и ребенок повторяет с недоумением — «гуси», стараясь освоить этот протяжный отголосок, идущий из дали, как гусиный крик, без недоверия, но эти гуси должны быть особенные, сказочные, какие-то другие гуси... Монотонный и елеслышный гул или гуд доносится из ночной дали, — это просто звон в ушах. Звон усыпительный и таинственный, как ласковый зов идет из недр ночи: голос просыпающейся крови, стучащей в виски. Таким больше я не слышал его... но много лет спустя нянины «гуси» отозвались в строчках Блока, с их напевом сродни тому первому биению крови в жилах. Здесь камертон раннего детства — настроивший душу, музыкальная

основа, гул и звон, стесненное сердце, наплыв и отлив крови, мелодическое звучание, — неразгаданное, далекое: — «гуси летят» говорит успокоительно няня — «гуси летят в вышине».

Но то не гуси летели в ночном небе, — это я сам рос и вытягивался в вышину, летел, подымаясь над землей. Это было то первое десятилетие в жизни человека, когда совершается самое чудесное, — когда он растет, сам не постигая, что с ним происходит; когда этот рост, — подъем жизни, подобный полёту, — за один год меняет внешне и раскрывает изнутри больше, чем потом десятилетия взрослой жизни. Тогда именно совершается самое удивительное, что доступно человеку в нем и вокруг него — удивительное, настоящее, огромное откровение мира.

На склоне лет я не выхожу из первых слов Библии: «в начале Бог создал небо и землю». Это единственное откровение которое было мне дано, и я не испытывал нужды в другом — втором откровении, кроме того, которое так чудесно было мне дано в детстве. Излишним и богохульным кажется мне домогаться второго откровения, когда и первое едва-едва лишь приоткрывается человеку. Я был открыт для него всем сердцем, всеми чувствами, а потом и помышлениями, когда пришел срок; всеми грехами и пороками, всем добром и злом моей жизни; всеми порывами моего безбожного и Божьего, богоданного детства.

Движение и рост. Нельзя их уловить словом, как сетью нельзя уловить течение реки. Можно выловить сетью отдельные моменты, водоросли, водяные цветы, с которых еще каплет влага, живую добычу рыбака. Добычу можно разложить по главам-корзинам, по годам и по местностям. Но имена и цифры — не жизнь, они лишь **запись** познания, шифр, код.

Названия малых местечек, где началась и протекала моя жизнь:

Столин — под Пинском.
Костополь на Волыни.
Варкляны — где-то ближе к Витебску.

— Костюковичи — Климовичского уезда, Могилевской губернии.

— Литовская Меречь над Неманом — близко от Вильны.

— Соколы, местечко Ломжинской губернии, в 40 км от Белостока.

Этим исчерпано всё первое десятилетие. Чтоб рассказать о нем, довольно десяти минут и не хватит десяти лет. Слова обладают двойным свойством: зеркальности и разложения. Простое в переживании они дробят на тысячу осколков. Будем пользоваться ими осторожно и в меру.

Столин под Пинском был захолустным еврейским местечком, знаменитым своей династией хассидских цадиков-праведников. К «столинскому ребе» на поклон съезжались последователи со всех концов черты оседлости. Но веяние святости не коснулось меня. И забрасывая сеть вглубь прошлого, я вижу только улицу — в непролазной черной грязи; как на гравюре застыла в памяти эта грязь и бедные домишки с одной стороны улицы. Издалека я вижу крыльцо и ступеньки нашего дома. Там внутри просторная горница; не комната, как в городской квартире, а именно провинциальная еврейская «горница», куда, поднявшись по ступенькам крыльца, входили пациенты — приемная местечкового врача, похожая на горницу заезжего двора. Там, в этой горнице, я очень просил в одно утро «длугое мясо»: «другим мясом» называлась ветчина, кусок нежно-розового цвета, пахучий, запретный продукт, который держали в секрете, чтобы не оскорбить чувств кошерных клиентов отца. Я сразу полюбил это «другое мясо». Оно было очень вкусно. Но вместе с гастрономическим вошло незаметно и другое, дерзновенное ощущение преодоления табу, которое обязывало других, но не нас: зародыш будущего вольнодумства.

В Столине, где мне было около трех лет, произошло важное событие. В одно утро это событие невидимо проникает весь дом: рождение сестры. Несмотря на то, что я не вижу ее и не слышу ее, в воздухе разлита серьезность присутствия нового члена семьи. Мне об этом сказали. Это дошло до моего сознания не в форме отчетливой мысли, а как доходит дуно-

вение струи воздуха: кто-то или что-то возникло в доме, с чем надо считаться. Удивление. Вопросительный знак. Потом, не сразу, а постепенно: примирение с моим новым положением «старшего брата».

И еще одно воспоминание связано со Столином — очень отчетливое и ясное. Если назвать эти образы или сцены, которые в силу их скрытого и непонятного (а иногда понятного) нам значения выступают из мрака забытого прошлого, точно освещенные особенным лучом, — **просветами** в самую глубину подсознательного, подводного бытия души, — то это будет один из самых первых просветов:

Я вижу себя с кучкой ребят моего возраста под крыльцом нашего дома. Я их предводитель, и в неистовом увлечении мы делаем нечто важное и необходимое, а именно закапываем под стеной дома, под водосточным желобом, белую целлулоидную трубку: дешевую игрушку, какие покупают малым детям. Она, как видно, свое оттрубила. Мы закапываем ее молча и усердно. Зачем? Я не знаю. Почему из всех столинских трудов и дней именно это одно осталось в памяти с такой патетической яркостью. Не знаю...

Движение и рост. И от места к месту — вокзалы и поезда. Открывается огромный,ошеломительный,обвораживающий мир, стремительный в смене новых впечатлений. Мое детство несется в поезде. Мы с матерью и сестренкой, реже с отцом, всегда на пути в неизвестность. Она прекрасна и увлекательна. Очарование начинается уже с вокзала, куда привозит гремящая по камням бричка. Носильщик подхватывает вещи.

Суматоха и радостная жуть вокзального ожидания. Выход на перрон заперт, занимаем позицию в ожидании сигнала к посадке, потом начинается паника: где же наш носильщик номер такой-то, отчего не идет? Вот он, наконец, в переднике и с бляхой на широкой груди, с успокоительной улыбкой, ремнем стягивает чемоданы, два через плечо, два в руках, один подмышкой, идет впереди, а мы за ним, мать с картонкой, саквояжем и детьми, — на перроне столпотворение, издали несется-нарастает гул приближения поезда, и сердце замирает, мурашки проходят по спине. Шипя и гремя влетает чер-

ное чудовище, за ним вагоны, красные, синие, коричневые. В последнюю минуту мать не может найти билета, куда-то задевалась багажная квитанция, а носильщик, добрый гений, разложив вещи на сетке, стоит и не сразу уходит, получив полтинник — «маловато, барыня». Третий звонок, свисток кондуктора, и паровоз отвечает гудком. Медленно приходят в движение колеса, вокзал и платформа с народом плывут мимо, и немедленно я прилипаю носом к окну, от которого не оторвут меня часами.

Но не сразу попадешь в поезд. Незабвенны навеки вечерние и ночные бдения в буфете первого и второго класса пинского и других вокзалов. Великолепие залы подавляет. Российские вокзалы начала века были величественны. В третьем классе, конечно, всё попроще, деревянные скамьи, картузы, бабы с узлами. Зато в перво-втором классе ресторан сиял нарядно накрытыми столами, цветами в кадках, бутылками вин. Звенела посуда, на буфетной стойке возносился красавец серебряный самовар и дивно пахли пирожные. У высоких окон стояли фикусы и пальмы с глянцевитыми листьями. Всё это было не совсем реально и «только на время», и мы, присмирев, жались к матери. Вокруг нас люди шумели, входили, выходили, и вдруг являлся на пороге швейцар и возглашал: «Поезд на Жмеринку — Фастов, первый звонок...» Возбуждение поднималось в зале, но это еще не был наш поезд.

В Брест-Литовске был самый великолепный вокзал не только моего детства, но и всего «Западного Края» царской России. Этот узловой пункт нам часто приходилось проезжать в разных направлениях. Монументальное здание Брестского вокзала было разрушено в первую мировую войну, отстроено много скромнее но всё еще довольно внушительно, поляками в 20-ые годы, и снова подверглось разрушению во вторую мировую войну. Я наблюдал все эти превращения, но первое впечатление осталось неизгладимым. Императорский Брест был праздничным гигантом, пламенел огнями и блеском, еще невиданным в жизни. Молочный газовый свет струился в вечерней дымке, изысканно-прекрасны были дамы, офицеры гвардейской выправки гуляли по перрону, волоча сабли в

сверкающих ножнах. На всё это я реагировал восторгом, держась за платье матери, — но то, что поразило больше всего, — пышная цветочная декорация перрона: под окнами станционного здания расселись торговки с корзинами цветов на продажу. Не «розы Пестума», а розы Бреста ослепили меня и заставили сладко сжаться сердце предчувствием неведомых красот мира. А сам огромный зал ожидания с его высоким потолком из квадратов темного дерева с украшениями казался проезжающему из одного захолустья в другое ребенку — каким-то хрустальным дворцом из сказки. Я покидал Брест с сожалением, и много лет спустя, уже в польские времена, высаживаясь в Бресте, всё оглядывался ища розы... их не было.

Я вижу себя в томительные часы ожидания. Мы в «дамской комнате» ночью. Это «пересадка», волнующая как большое приключение. Мы потеряны с матерью в ночном мире, где-то между небом и землей, ни тут, ни там, в ожидании сигнала, который вызволит нас. Время застыло в углу станционного деревянного дивана с высокой спинкой, — а против нас за столом сидит молодая дама и читает в желтом мертвенном свете лампочки. И я терпеливо жду, когда она перевернет страницу. А она всё читает, нескончаемо и непонятно долго, и я никак не могу дождаться движения ее руки, переворачивающей страницу. Я не понимаю. Я зачарован этой странностью, и не понимаю, что она заснула над книгой.

Всё потонуло в памяти — откуда ехали и куда, что было раньше и потом, а этот один просвет в тусклом ночном освещении, где-то на пересадочном вокзале, на всю жизнь стоит пред глазами. И всё сидит эта молодая женщина над недочитанной страницей...

Всё непонятно, удивительно, всё загадочно кругом. И в то же время я чувствую себя виноватым в том, что не понимаю происходящего, и знаю, что никто мне не поможет. Взрослые объясняют и учат, указывают и ведут за руку... но взрослые не знают моих затруднений, и я не в состоянии дать понять им в чем дело. Вот мы сидим, в ожидальне Виленского вокзала. Это уже много позже, мне лет семь... Там два ожидальных зала выходят в общий вестибюль, а оттуда два выхода ведут

один против другого на платформы по обе стороны станционного здания. Одна против другой — две ожидальни, и один против другого два выхода на два перрона. Я не могу усидеть: выбегаю на перрон, где столько интересного, маневрируют паровозы, везут на тачках багаж... потом возвращаюсь и о ужас! нет в ожидальне мамы, и сама ожидальня изменилась, она не та, что раньше. Я мечусь в поисках. Пропала ожидальня, она была по правой руке, и я твердо знаю, где моя правая рука, но по возвращении с перрона, — ее нет по правой руке! Опрометью я бегу в ожидальню напротив, — и вот она, мама, всё на месте. Это загадочно,—ожидальни играют со мной в прятки: только выйдешь на перрон, и всё переместилось: что раньше было по правой руке, теперь убежало налево. — «Что ты, глупенький, — говорит мама — чего ты встревожился?» — Но этого я ей не втолкую — смена правого и левого мое личное дело, надо только зорко смотреть и не теряться сразу.

Но вокзальные приключения, — только вступление к тому совершенно захватывающему и главному, что начинается, когда поезд трогается, лязгают буфера, станционные постройки с водокачкой остаются позади, отрывистые толчки дают знать о смене колеи, и вот уже мы вышли на главный путь. Он открыт пред нами. Мигнул зеленый семафор, и всё быстрее-быстрее уходим в просторы. Развернулась неоглядная ширь. Трепещет маленькое сердце, пока приладится к этому зрелищу, которое навсегда остается направляющим, данным и заданным, в нем всё заключено, все вопросы и завязка драмы жизни, весь грандиозный фон ее. Оно тебя превосходит и притягивает — ведь это и есть тот самый мир, в который ты врожден. Внимательно и неотрывно смотрят глаза — часами. А тем временем мать, расположившись и устроившись распаковывает кульки с провизией. Обязательно должны быть там котлеты, крутые яйца и курятина в промасленной бумаге, и непременно, едва сядешь, появляется дорожный аппетит, неизменный спутник нервного возбуждения малых путешественников. Сопровождаемый помощником, идет контролер в обход по поезду, уже с другого конца вагона слышен его голос «предъявите билеты»; он в мундире, со всеми регалиями вла-

сти, щипцами и сумкой, и пока не пройдет, чуть-чуть жутко и в то же время вызывающе-озорно: «он тебе ничего сделать не может, у тебя билет в порядке», — а как было бы страшно оказаться в такую минуту без билета! Купэ наше — третьего класса, это мы на вокзале только сидели в зале первого-второго класса, а ездим скромно-экономно третьим. Быстро знакомятся пассажиры, — под вечер кондуктор, проходя, зажигает свечу в фонаре, висящем на стене, и вагон гудит уютным общим разговором, а тебя отправили спать на верхнюю полку. Но ты не спишь, заглядываешь, свесив голову в окно. За ним ночь, и дальние огни, и тени, и искры летят золотой россыпью от паровоза, и перебор колес, перестук и лязг, звон и дрожь стекла в окне, — постепенно усыпляют. Но вдруг — просыпаешься от наставшей тишины. Мы стоим. Какая-то ночная станция в поле, пар шипит, чьи-то хриплые голоса перекликаются за окном, чей-то ручной фонарик колеблется во мраке... долгое молчание, потом издалека доносится свисток, и вагон вздрагивает. Снова опускаешь голову на саквояж или плед в ремнях.

От станции Лапы до станции Клинцы и от Вильны до Гомеля открывались мне днем равнинные просторы белорусских и западных окраин России. И еще названия ничего не значили для меня, тонувшего в окоемах за вагонным стеклом, а уже начиналось волшебное наваждение географических пространств. Не яркий и не роскошный был тот мир: ни гор, ни мо́ря, ни водопадов, ни сусальных расписных ландшафтов, никаких диковинок южной природы. Горы и море я увидел впервые 20 лет спустя, уже будучи взрослым, и принял их тогда с тем же детским чувством полноты жизни, как исполнение давнишнего обещания. Я весь уходил в созерцание. Я был тем, что видел. Тянулись лесные пущи, белые березы и сосновые леса провожали поезд, туманы стояли на мокрых лугах и низинах, в полях пропадали дороги, облака плыли в небе, изредка избы деревень, сторожка, баба в платке с флажком в руке. Линии телеграфных проводов от столба к столбу с белыми фарфоровыми чашечками то подымались, то опускались за окном.

Если так долго глядеть, станет грустно и скучно от одно-

образия, но отвернуться надолго нельзя: уже приковала к себе эта панорама в постоянном движении и смене форм и красок, и кажется, если отвернуться, потеряешь то, что может появиться каждую минуту за ближайшим косогором, за краем горизонта. Здесь берет начало то, что на всю жизнь станет отличием и достоянием души, заляжет в нее, как прочное основание: внутренний пейзаж души соответствует облику внешнего мира, — в нем лирическое созерцание и уединенность. Ибо первая встреча с миром — «тэт-а-тэт». Нет посредников, нет товарищей, стойшь один, приплюснув нос к окну, и что видишь — для себя видишь и по-своему.

А поезд идет, грохочет по мостам, минует станции, встречные поезда и товарные составы. И вот что удивительно: всё уплывает назад, как на полотенце, которое кто-то тянет в сторону... а на горизонте очертания не бегут в том же направлении, а провожают поезд, скользя вровень с ним. И сделав это открытие, я стараюсь уловить ту границу в зрительном поле, где движение предметов назад переходит в их движение вперед. Это мне не удается. Но эта игра занимает меня.

Внимание это опасная игра. Созерцание перешло в анализ. Маленький пассажир хочет подсмотреть больше того, что видят его глаза. А предметы ускользают. Поезд идет, время идет, каждую минуту приходит что-то новое.

Где-то за Белостоком осталась у меня в памяти станция Черемха: белое двухэтажное здание вокзала. С ним случилось так, что оно приснилось мне, как видение, как лебединый замок, и я думал, что это всего лишь мой сон. Как вдруг, года через два, мы снова проезжали станцию Черемха, и я увидел мой сон — наяву. На этот раз я уже не забыл станцию Черемха, и запомнил на всю жизнь ее название. Я научился не доверять снам, которые часто подымают со дна подсознания давно забытое и выдают реальность за воображение. С тех пор я видел много снов, только не всегда приходил мой поезд на станцию Черемха, где сон становится реальностью.

(Окончание следует)

Юлий Марголин

НИАГАРА

Лакированным отрядом
Мчат они по автострадам.
Пролетают, как в угаре,
К Ниагаре, к Ниагаре!

Бравый парень за рулем
Восседает королем.
Он король--молодожен!
Он как пушка заряжен!
И сидит у парня справа
Расфуфыренная пава.

Ниагара, Ниагара,
Над речным резервуаром,
Упираясь в берега,
Блещет вольтова дуга.
Ослепительно, бурливо
Со скалистого обрыва,
Точно с ткацкого станка,
Льются белые шелка...

Ниагара, грохот твой
У меня над головой,
Надо мной твой звездный ливень
Непрерывен, неизбывен.
Над веками, над людьми
Ты шумела и шуми,
Ниагара, так и стой
Подвенечною фатой!
Пусть шипит твоя волна
Добела расщеплена.

Ниагара, Ниагара,
Обдаешь ты белым паром,
Ты вздымаешь горы брызг,
Над тобою чаек визг,

И малютка-пароходик
Под стеной твоей проходит,
Под летящею стеной,
Леденящей, навесной.

Ниагара, Ниагара,
Никому ты не налгала,
Твой пленительный обвал
Грохотать не уставал.

Отчего ж такая кара,
Ниагара, Ниагара?
Над тобою непрестанно
Вырастают рестораны,
Твой могучий водоем
Отдан хищникам внаем,
И пристал как банный лист,
Облепил тебя турист,

Он толпится у перил,
Он очки в тебя вперил,
Он садится в вертолет,
Сверху он в тебя плюет,
Там, где воды мчатся вскачь
Сколько выстроено дачь!
Там где вечность шумно льет
Он свои коктейли пьет,
Дышит пьяным перегаром,
Ниагара, Ниагара!
Помнишь ты, как ирокез
По твоим порогам лез?
Сжаты водами в тиски,
Мчались в бочках смельчаки,
В твой поток кидаясь ярый,
Ниагара, Ниагара!
Пред толпою хорохорясь,
Над тобой канатоходец

Балансировал с шестом
И чернел вверху крестом.

А совсем внизу у спада,
Где вода толпиться рада,
Прямо в каменные щели
Гидростанции засели.
Рев бушующих турбин
Слился с грохотом глубин.
Ниагара, сотрясай
Гидростанций корпуса!

Ниагара, оправдай
Все на свете провода!
Чтобы славу разносила
О тебе электросила,
Что ты трудишься на благо,
Что у нас ты работяга,
Что ты мощь земного шара,
Ниагара, Ниагара!

Иван Елагин

ОПРАВДАНИЕ ЧЕРНОВИКОВ*

Сартр и Альбер Камю.

Эти два имени постоянно называются рядом, — вероятно потому, что когда-то их связывали общие темы, были они друзьями, затем резко и шумно разошлись и это их расхождение вызвало долгие споры. Это одна из тех литературных «пар», о которых само собой возникает вопрос: кто же из них больше, выше? Вопрос бессмыслен, все с этим согласны, но отвыкнуть от него трудно. Пушкин и Лермонтов, Толстой и Достоевский, Корнель и Расин... примеры классические, а есть и множество других, более мелких.

Вспомнил я Камю однако не для сравнения с Сартром, а потому, что им, его личностью, его писаниями отчетливо оттеняется то, что есть в Сартре особого. Сартр и Камю связаны, но и резко разделены: были разделены еще до ссоры. Два мира, друг другу противостоящих, два «мироощущения», чуть ли не две эпохи, — причем эпоха, которую предвещает Сартр еще не совсем ясна и он сам как будто еще отвергает предназначенное ему во времени и в развитии культуры место.

Не думаю, чтобы по размеру своего дарования Камю был подлинно великим писателем. Но это писатель, у которого ум, совесть и сердце еще находятся в естественном и нерасторжимом согласии, можно было бы даже сказать — в сотрудничестве. Это — человек, в том смысле, в каком слово это действительно «звучит гордо», и в каком можно его отнести к великим писателям прошлого. У него в рабочем кабинете висело только два портрета: Толстой и Достоевский, — и кстати, уместно вспомнить, что когда один из его советских посетителей стал ему жаловаться на недостаток внимания к России со стороны западной интеллигенции, Камю вместо ответа молча обернулся и указал ему на эти портреты.

Сартр необыкновенно умен. Ум, «острый галльский смысл»

---

* См. кн. 76 «Н. Ж.»

по Блоку, обнаруживается не только в его теоретических рассуждениях, но и в каждой написанной им фразе: в умении найти незаменимое, хотя порой и неожиданное слово, в безошибочной расстановке слов, в точности, в исчерпывающей меткости малейшего эпитета. При чтении требуется усилие, чтобы уловить и оценить не стилистическое мастерство в обычном значении этого понятия, вовсе нет, а именно ум, сквозящий в этой суховатой, обманчивой стилистической простоте. Какого бы современного французского писателя после Сартра ни взять, — даже из самых прославленных, — всё кажется вялой словесной канителью.

Но ум находится у Сартра в положении самодержавного, неограниченного монарха. Он всем управляет и раздела власти не признает. При читательской рассеянности может — и даже должно — возникнуть впечатление противоположное: в самом деле, нет сейчас писателя, который настойчиво твердил бы о морали и моральных вопросах. Сартр во всеуслышание заявляет, что нельзя заниматься сочинением романов и стихов, когда миллионы людей голодают и бедствуют, Сартр ратует за социальную и расовую справедливость, за равенство, за прекращение войн, за уничтожение последних остатков колониализма, и не случайно Мориак в одном из своих «Блок-нотов» назвал его «Толстым в миниатюре». Сравнение однако явно насмешливо. Не говоря уж о Толстом, трудно найти пример подобного отсутствия эмоциональной заразительности, подобной выхолощенности прекрасных призывов и порывов, подобного торжества «литературы» при ожесточенном отрицании ее. Всё от ума, всё под диктовку ума — и оттого всё как будто впустую! Защита угнетенных внушена исключительно ненавистью к угнетателям: ни одного слова, в котором чувствовалась бы жалость к жертвам и боль за них. Симон де Бовуар, друг и подголосок Сартра, писала в «Силе вещей», что «Камю отстаивал ценности буржуазные, в то время, как Сартр верит в правду социализма». Вздор, который стыдно читать, — если только не подводить под понятие буржуазности всё, что до сих пор называлось человечностью.

Надо всё же без колебаний и с некоторой горечью признать, что Сартр гораздо значительнее, чем Камю, как явление, как голос из будущего. Сартр — это именно явление. Зловещие утопии, нарисованные Орвеллом, Хэксли или у нас За-

мятиным в «Мы» всегда представлялись мне домыслами из разряда «он пугает, а мне не страшно». Есть в этих книгах что-то торопливое, плохо проверенное, да и чисто литературный их уровень не Бог весть как высок: оттого и мало было к ним доверия. Но как знать? Может быть что-то в них и угадано? От книг Сартра, написанных скорей в опровержение орвелло-замятинских фантасмагорий, чем в их поддержку, веет тем же ветерком ледяной справедливости, ледяного и неумолимого равенства. Ни одной оплошности в нравственно-социальных расчетах, ни одной уступки человеческим слабостям и мечтаниям. И человек задыхается. Сартр как будто первый пришелец из неведомого «оттуда», первый несомненно большой писатель с каким-то «кибернетическим» привкусом в творчестве, давший возможность почувствовать то, что может быть ждет людей в далеком или близком будущем. Он не пугает, но читателю страшновато.

* * *

Теперь постоянно приходится читать и слышать, что реализм выдохся. И это верно. Не говоря уж о реализме «социалистическом», почти все книги вышедшие за последние десятилетия и написанные «под Толстого», «под Бальзака», «под Диккенса», не вызывают малейшего сомнения насчет того: а не превратились ли былые открытия в мелко-общедоступные, механизированные приемы? Почти все такие книги внутренне ничтожны. Это в сущности вагонное чтение, с подлинным творчеством имеющее мало общего. Их читают, чтобы «убить время», ни для чего другого.

Но если бы люди острее чувствовали неисчерпаемую таинственность повседневности, реализм мог бы продержаться еще века и века. Изменилась бы манера, но сущность осталась бы той же. Глупые теперешние романы, где всё «совсем, как в жизни», глупы потому, что жизнь в них и не ночевала. Повседневность фантастичнее всякой фантастики, сказочнее любой сказки, экзотичнее — если в нее вглядеться — самой изысканной экзотики. Достаточно раскрыть окно, выйти на улицу, сказать два слова с первым встречным, — и при этом, конечно, заставить себя вдруг очнуться от привычного житейского забытья, — чтобы почувствовать, до чего непонятно наше существование даже и в примелькавшейся оболочке своей. Что это всё, вокруг нас? Что это такое? Где мы? Откуда? Есть

какое-то малодушие в бегстве новых художников от непостижимости ощутимой, ближайшей, зримой, реальной, во всевозможные сны и выдумки. От реализма к «сюрреализму», хотя бы в самых обольстительных и усовершенствованных его формах.

* * *

Алданов однажды сказал в присутствии Бунина:

— Великая русская литература кончилась на «Хаджи-Мурате»...

Бунин покачал головой, поворчал: «Что-то, Марк Александрович, стали вы чересчур строги! Были и после Толстого неплохие писатели!» — но мне показалось, что ворчит он скорее так, для виду, чтобы не сразу сдаться, а на деле с Алдановым согласен.

«Русская литература кончилась на Хаджи-Мурате». Да, но было всё-таки смутное, горестное, растерянное послесловие к великой русской литературе — Блок. Сказать с уверенностью, что Блок был талантливее всех других писателей нашего века нельзя. Но дело не столько в таланте, сколько в том, что поэзия Блока изнутри оживлена дыханием судьбы, присутствием судьбы. «Он весь дитя добра и света...»

У Бунина, у Горького нет судьбы. Одно очень хорошо, другое пожалуй слабее, но за словами ничего не происходит. Нечему гибнуть, нечему торжествовать.

* * *

Есть величина таланта и есть качество таланта: понятия далеко не совпадающие, по существу даже совсем разнородные. Мне никогда прежде не приходило это в голову, а когда внезапно пришло, — не помню, над какой книгой, — многое в литературном прошлом и настоящем сделалось яснее. Привычная, традиционная табель о рангах оказалась нарушена, но лишь потому, что обнаружилась условность или ошибочность мерила, на котором она была основана.

Есть писатели бесспорно очень даровитые и всё-таки ничтожные. Читаешь и думаешь: зачем я это читаю? Блестяще? Да, блестяще. Остроумно? Да, чрезвычайно остроумно. Но и при блеске, и при остроумии, и при стилистической виртуозности, это всё-таки плохой писатель. Плохой, т. е. как бы не питательный. Бумага, чернила. Нет воды и хлеба, без которых нельзя жить.

Кстати, о вопросе «зачем?»

Если писатель, как бы вдохновенен он ни казался, ни разу не остановился над своей рукописью, и неожиданно смущенный неустранимыми мыслями о суетности своего дела и об искажении первоначального видения, не спросил себя «зачем я пишу?», «какой смысл в том, что я пишу?», если он ни разу не был этим вопросом взволнован и озадачен, то едва ли это писатель подлинный, по призванию, пришедший с чем-то своим, до него неведомым. Пожалуй плох именно тот писатель, который «творит» с неизменным удовольствием, с непрерывным удовлетворением, — как бодро хлопнув себя по ляжкам, в разговоре с больным, отступавшим перед всяческими «зачем?» Тургеневым, сказал Боборыкин («А я наоборот, пишу много и хорошо!» Слышал удивительный рассказ этот от Мережковского).

* * *

Некоторая переменчивость оценок, мнений и суждений не есть результат общей их неустойчивости и еще менее «каприза», как нередко утверждают: для одних она непонятна, для других неизбежна.

И те, для кого она неизбежна, в ответ на упреки только разводят руками: как же может быть иначе? Разве иные великие, даже бессмертные произведения не написаны в форме диалогов? И разве не от того их авторы выбрали именно эту форму, что видели возражения, которые сами себе могли бы сделать и не считали нужным их скрывать? В «Федоне», например, два центральных возражения Сократу глубже и значительнее всех его дальнейших цифровых выкладок, которые если что и доказывают, то лишь то, что разум в еще младенческом вдохновении своем, еще сам себе и своей силе изумляясь, возвел логику в верховное, непререкаемое божество.

Но оставим эти высоты, спустимся к нашим родным равнинам. Разве Герцен не двоится, не колеблется, не противоречит порой самому себе, в то время, как Чернышевский неизменно долбит одно и то же, не удостаивая ни во что чуждое ему вдуматься? И разве не оттого это так, что Герцен бесконечно проницательнее, даровитее Чернышевского и видит в каждом явлении многое, чего тот и не подозревает? Я вовсе не хочу сказать, что все колеблющиеся, все кому случается высказывать об одном и том же явлении противоречи-

вые суждения, — в частности, в литературной критике, — непременно умны и талантливы. Конечно, нет. Колеблющихся тупиц на свете хоть пруд пруди. Но заранее требовать на протяжении всей жизни строгого единства оценок тоже нельзя. Хорошо сказал Толстой: «Я не воробей, чтоб всегда чирикать то же самое».

Помимо того: в литературе, в искусстве, во всем, что объединено общим словом «культура», речь в конце концов идет как бы о возведении некого общего храма. Возникает чувство ответственности: не ошибиться бы в расчетах. Действительно ли нужно то-то, не окажется ли никчемным и даже вредным другое? Годы, годы сомнений, поисков, отступлений, самопроверок, на весь тот срок, который каждому из нас отпущен! А тут выскакивает какой-нибудь шалун и бойко всех расталкивает: позвольте, я в два счета приделаю здесь балкончик с резьбой, что это вы в самом деле — то работаете без устали, то разбиваете только что сделанное и часами стоите в оцепенении!

* * *

Не помню, решился ли кто-нибудь, — при всесветной, и что же тут толковать, вполне оправданной славе Достоевского, при сложившемся на Западе, в особенности на Западе, убеждении, что уж если кто глубок и прозорлив, то именно он, при его ореоле, при необычайной его власти над новыми, по новому встревоженными умами, — не помню, сказал ли кто-нибудь наконец, что «Легенда о Великом Инквизиторе» — произведение опрометчивое и легкомысленное. Воспоминаю только восторги: «величайшее создание Достоевского», утверждает Мочульский, «залитые немеркнущим светом страницы», по Розанову, и так далее.

Не касаюсь оценок чисто литературных, эстетических, хотя даже и с этой точки зрения никак не могу согласиться, что декламационно-риторическая, театрально-эфектная «Легенда» представляет собой у Достоевского некую вершину. Нет, вершины у него другие. Но существенно не это.

Такие слова, как «опрометчивость», «легкомыслие», будучи отнесены к писателю, который признан гордостью России, могут вызвать возмущение и даже наверно вызовут его. Возмущение однако было бы основательно лишь в том случае, если бы против Достоевского, как мишень, как предмет его

сарказмов, не стояло нечто, что всё-таки гораздо больше и его, и всех его книг вместе взятых: христианская Церковь. Удивительно, что наши благочестивые авторы не обратили на это достаточного внимания! Правда, оклеветана в «Легенде» церковь католическая, а не православная. Но дело это меняет мало, скорей даже ухудшает позицию Достоевского, ибо тут дает себя знать славянофильство, типично славянофильская смесь притворного смирения с ничуть не притворным патриотическим самоупоением и заносчивостью. В этом повинен даже мудрец-Тютчев, обозвавший римского первосвященника «ватиканским далай-ламой».[1] Будто бы в православии, в православном быту евангельская проповедь сохранилась во всей своей первоначальной сияющей чистоте, будто нам, русским, и упрекнуть себя не в чем, будто не все мы одинаково грешны одним и тем же. Не надо бы ведь забывать, что обличитель Рима, ревностный церковник Достоевский называл себя единомышленником Победоносцева и по собственным своим словам восторженно следил за его «драгоценной деятельностью».

Основное утверждение «Легенды» верно и просто, как дважды два четыре: Церковь от Евангелия отступила и в течение веков не нашла в себе сил устоять перед соблазном житейских и государственных компромиссов. Этого отрицать нельзя, с этим всякий беспристрастный человек согласиться должен, тяжело ли ему это или нет. Но Достоевский в своем воинствующем анти-католицизме делает чудовищный скачек вперед: «Мы не с Тобой, мы с Ним», говорит у него Христу старик кардинал, «мы с Ним», т. е. мы с Дьяволом, — и здесь сразу напрашивается столько возражений, исторических, идейных, моральных, что не знаешь с чего и начать. Памятник опрометчивости, — хочется мне повторить, непревзойденный образец полемического ослепления и клеветы! «Мы не с Тобой, мы с Ним». Достаточно взглянуть на взвивающиеся к небу стрельчатые готические соборы, чтобы уловить в них ответ сошедшему с ума кардиналу.

[1] Тютчеву же принадлежит удивительное объяснение гибели французской армии в 1812 году. Наполеон, «воитель дивный», не предвидел по его мнению «лишь одного»: того, что противником его будет не Барклай де Толли, не Кутузов, а сам Христос. А стихотворение это — «Проезжая через Ковно» — само по себе необыкновенно хорошо: один из тютчевских шедевров.

Есть маленькая, исключительно содержательная книжка, вышедшая много лет после появления «Легенды», но касающаяся затронутых в ней тем — «Евангелие и Церковь» Альфреда Луази. По причуде судьбы именно за нее Луази, бывший священник, ученнейший церковный историк, основатель целой школы, оказался отлучен от Церкви по обвинению в «модернизме». Между тем едва ли было когда-нибудь написано что-нибудь более страстное и проницательное в защиту и оправдание Церкви, как исторической необходимости, как установления, без которого христианство оказалось бы исторически неосуществимо. Луази спорит не с Достоевским, — он его не называет, — а с Адольфом Гарнаком, автором знаменитой «Сущности христианства», протестантом и значит, противником Рима. Отчасти спорит он и с Ренаном, повидимому допускавшим, как и Гарнак, что евангельское учение расчитано было на тысячелетия, что оно могло сквозь тысячелетия пройти и в них полностью уцелеть, и в связи с этим решившимся сказать, что «история Церкви есть история измены», т. е. умышленно сделанного отступнического выбора. Измена? — будто спрашивает Луази. Измена? Но ведь не будь этой измены, не осталось бы ровно ничего, всё исчезло бы; всё оказалось бы безвозвратно забыто, — приблизительно так же, скажу я от себя, как это происходит в рассказе Анатоля Франса о состарившемся Пилате, только и способном промямлить в ответ на расспросы друзей: «не знаю, право ничего не помню».

Читая послания Апостолов, — не столько Ап. Павла, сколько другие, — убеждаешься ведь чуть ли не на каждой странице, что первые последователи Христа ждали конца мира и чудесного свершения того, что было им обещано со дня на день, с минуты на минуту. А свершение откладывалось, оттягивалось, непостижимо опаздывало, и пришлось жить, устраиваться, ограничиваться, свыкаться, мечтать, надеяться, каяться, молиться — и по мере сил хранить остатки света. «Мы не с Тобой, мы с Ним»: нет, остается только верить, что проживи Достоевский дольше, он сам пришел бы в ужас от этого безумного навета и вообще посоветовал бы своим неумеренным поклонникам поменьше «Легендой» восхищаться.

* * *

Ницше сказал о хоре пилигримов в «Тангейзере», что это «самая католическая музыка в мире». Вот бы Достоевско-

му в нее вслушаться, расслышать в ней то, что уловил Ницше: упорство, волю, передаваемое из поколения в поколение согласие на подвиг, готовность нести Крест, отсутствие отречения и предательства...

Впрочем Достоевский отозвался о Вагнере по своему: «прескучнейшая немецкая каналья».

* * *

Еще о Достоевском и его наследии.

Конечно, мир менее плоск, чем представляли себе это самоуверенные «передовые» люди в прошлом столетии, последыши Белинского. Конечно, мир загадочен, и сколь бы ни были ошеломительны новейшие научные открытия, «царство науки знает предел». Окажись это иначе, загадочность предстала бы еще бесконечно большей: как, значит есть только то, что мы видим, только то, что мы понимаем, только то, что на крайность можно было бы уложить в математические формулы? Ничего другого? Ведь это было бы в миллионы миллионов раз невероятнее и необъяснимее, чем любая нарочитая непонятность! Тайны существуют, не могут не существовать. Но нам то, — да и то мало кому, — видна лишь узкая-узкая щель и почти ничего за ней. Что-то как-будто брезжит, что-то светится, но может-быть это всего только мираж... А он широко распахнул воображаемые ворота, в которые и бросились вслед за ним бесчисленные ученые и полу-ученые коментаторы, и принялись они вкривь и вкось рассуждать о том, о чем возможны только слабые, смутные догадки.

Достоевский — великий, огромный писатель. Но многое, что им в критической литературе вдохновлено, многое, что о нем написано, до крайности тягостно.

У Карла Ясперса в его «Философской вере» сказано: — «Человек неудовлетворен самим собой. В нем живет что-то несоизмеримое с его повседневным существованием, с его званиями и его духовным миром».

Это почти дословно то же, что говорит Толстой о князе Андрее, которому хочется плакать, когда он слушает, как поет Наташа: несколько удивительных строк, достойных того, чтобы поставить их эпиграфом ко всей русской литературе. Эпиграфом и предостережением: не идите дальше, не выду-

мывайте ничего другого, потому что будут это именно только выдумки, только пустые домыслы. Больше о самих себе мы ничего не знаем и никогда не узнаем.

Ну, а как же с интуицией, которую иные русские философы даже «обосновали», как же с иными гениальными метафизическими построениями, по праву составившими за две тысячи лет гордость и славу человечества? Когда-то за воскресным чайным столом в Кламаре, у Бердяева, рассуждавшего с одним из гостей о том, чего Бог требует от человека, и авторитетно, очевидно с полным знанием дела, растолковывавшего непонятливому посетителю, в чем эти божественные требования состоят, я вполголоса спросил хозяина: «откуда вы всё это знаете?» Бердяев обернулся, рассмеялся и ответил шуткой какой-то: «вопрос, мол, ребяческий, глупый». Приблизительно то же произошло у меня однажды и со Степуном. Каюсь, может-быть вопрос в самом деле глупый. Действительно, не было бы некоторых величайших, вдохновеннейших философских систем, если бы невозможность ответа была бы принята за правило и преграду. Потеряны были бы великие богатства.

Но каюсь и в том, что эта невозможность ответа представляется мне всё же бесконечно значительной, не менее полной смысла и духовного веса, чем любая метафизическая система. Кстати, тот же Ясперс, человек религиозный, в той же книге полностью признает, что доказывать существование Бога можно было только до Канта, а теперь заниматься этим способны только мыслители мало добросовестные (к которым он с оговоркой причисляет Гегеля). Вот именно! И не только доказывать существование Бога, а и логически рассуждать обо всем, что нашему разуму недоступно (Лосский упрекает ненавистный ему пантеизм именно в том, что тот «не логичен». Как будто логика в этих догадках может иметь решающее значение, как будто заранее известно, что всё беспредельное бытие логике нашей подчинено!) Уверенности нет, уверенности ни в чем быть не может, а «интуитивные» соображения и построения... что же, доступ к ним широко открыт всякому. Плохо однако то, что сколько бы их ни было, как бы стройны и убедительны они временами ни казались, все они расходятся. Единство недостижимо, его никогда не было и не будет. Каждый предлагает свое, личное, произвольное, ни

для кого другого не обязательное и большей частью противоположное всему предложенному прежде.

И поневоле остаешься с князем Андреем и с одним только блаженно-мучительным сознанием невозможности самим собой удовлетвориться, чувствуя, что в этом-то и таится «бессмертья может-быть залог».

* * *

Михайловского когда-то просили дать статью о свободе печати. Он ее написал, но потом признался, что писал с трудом, — труднее, чем другие свои статьи. Всю жизнь думая о свободе печати, ища всё новых доводов в ее защиту, он забыл основные доводы. Пришлось вспоминать, возвращаться к истокам.

Человек, который всю жизнь думал о поэзии, — в частности, о поэзии русской, во многом расходящейся с западной, — находится приблизительно в том же положении. Может-быть он плохо думал, путаясь, сбиваясь, противореча сам себе, а главное — принимая свои спорные, личные пристрастия за непреложные истины. Может-быть. Но если думал он о поэзии всю жизнь, ему хочется «подвести итоги», спросить себя, что же такое в конце концов поэзия, в чем ее сущность, в чем ее смысл и пожалуй даже в чем ее оправдание. Да, в чем ее оправдание, — в ответ тем, кто балуется стишками, пребывая притом в непоколебимой уверенности, что всякий стихотворец — существо избранное, отмеченное Богом и что поиски рифм и придумывание образов представляют собой занятие высшего порядка.

В чем сущность поэзии и в чем ее смысл? Чем настойчивее и упорнее об этом думаешь, тем неотвратимее втягиваешься в области почти метафизические.

Если бы в чем-нибудь метафизическом быть уверенным, ответ был бы ясен. По крайнему моему разумению он заключался бы в том, чтобы служить единственно-важному человеческому делу: одухотворению бытия, тому торжеству духа, которое может-быть и свершится в далеких грядущих веках... Но сослагательное «бы» при раздумии мало-по-малу теряет значение, перестает быть препятствием. Даже если бы всё оказалось иллюзией, даже если ты со своим мнимым «одухотворением» всего только разобьешь голову о стену, другой

ставки у нас нет. Да и риска в ставке нет: как в «пари» Паскаля, выиграть можно, проигрывать нечего. Поэты, «надо дело делать». Но как его делать? Как?

Конечно, не рассудочно-дидактически, с постоянной назойливой памятью о цели: рассудочность всё засушила бы и убила. Нет, иначе. Не думая о «воздействии» на читателя, о «впечатлении», которое будет произведено. Отказываясь от всего, от чего отказаться можно, оставшись лишь с тем, без чего нельзя было бы и дышать. Отбрасывая все словесные украшения, обдавая их серной кислотой. Не боясь одиночества, ища в одиночестве — как бы сквозь себя — связи с миром и будущим, веря, что в одиночестве эта связь окажется вернее и прочнее, чем в рассеянном житейском общении. Будто бросая бутылку в море: кто-нибудь найдет, кто-нибудь поймет, кто-нибудь продолжит. Зная, что если есть солнце, то не к чему развешивать разноцветные электрические гирляндочки... Трудно всё это связно объяснить, не только другим, но и самому себе. Оттого вероятно и вспоминается мне Михайловский.

Формула «делать дело» обманчиво совпадает с требованиями, предъявляемыми к поэзии в Москве, хотя внутренне ничего общего с ними и не имеет: нельзя же смешивать дело с делишками и многовековую, молчаливую духовную работу, ощупью, приправленную бесчисленными западнями и внезапными пробуждениями в тупике, нельзя же отожествлять даже слабое подобие ее с одами внушенными очередной партийной резолюцией и прочим. Не стоит об этом и говорить: лошади едят сено и овес.

Надо дело делать, — и к великой чести Блока следует сказать, что он чувствовал это глубже какого-либо другого нового русского поэта. Чем был бы без него русский модернизм, этот столь теперь восхваляемый «серебряный век», похожий на пир во время чумы? «Век» был вызывающе беспечен и беспечность свою с гордостью противопоставлял наследию столетия предыдущего. «Век» бессовестно играл в тайны, многозначительно давая понять, что узнал что-то важнейшее, открыл что-то вещее, — и многие из нас, из тогдашнего декаденствовавшего стада, из тогдашней желторотой литературной молодежи, откликались, ловились на удочку и с дрожью раскрывали «Весы» или даже поздний, уже чуть-чуть салонный

«Аполлон», надеясь вот-вот прозреть, приобщиться, удостоиться посвящения.[2]

Блок по природной честности своей не допускал обмана, верил не только Соловьеву, но и тем, кто на фальшиво-глубокомысленной интерпретации соловьевских трех видений бойко делал литературную карьеру. А когда догадался, что был одурачен, сделался навсегда угрюм и печален, вплоть до революции, которая его не оживила, нет, а только гальванизировала. Не в этом ли ключ к «Двенадцати»: обида, счет за духовное шулерство, поиски хоть какого-нибудь выхода и избавления? Блока возвышает не столько самый талант, сколько требовательная и настороженная серьезность этого таланта, отталкивание от комедиантства, слух к ошибкам и горечь от сознания их, в частности своих личных, к которым перед смертью причислил он «Двенадцать», как ошибку тягчайшую. Блок знал, что поэзия должна быть делом, но как никто другой чувствовал пропасть, отделяющую «должна быть» от «становится, стала». Он запутался, погиб, но погиб в столкновении с силами, которые навсегда в русской литературе облагородили его облик. Даже стоя на этом берегу, он обращен был к берегу иному и весь озарен был его далеким сиянием.

* * *

Настоящая поэзия возникает над жизнью, всё в себя вобрав, всё претворив, а не в стороне от жизни, всего избегнув, всего испугавшись. «После» жизни, а не «до» нее.

«Краска стыда на лице Фета» (как у Ницше: «краска стыда на лице Платона»). Впрочем, не Фета подлинного, не Афанасия Афанасиевича, которого надо бы еще прочесть и перечесть по новому, а Фета нарицательного, того, который возвеличен был современниками в пику Некрасову, т. е. Фета,

[2] Думаю всё же, по далеким, дорогим воспоминаниям, что «что-то» загадочное, не поддающееся определению, «какой-то отблеск какого-то света», тогда действительно мелькнул в сознаниях. Но сколько было лживой шумихи, бесподобно описанной Андреем Белым, сколько было подделок, подлаживаний! Уже здесь, в Париже, у меня был об этом любопытнейший разговор с Зинаидой Николаевной Гиппиус, «бабушкой русского декаденства», разговор, о котором стоило бы когда-нибудь рассказать. Она отрицала то, что до сих пор представляется мне несомненным, настойчиво повторяя: «нет, не было ничего!». — Но едва ли была она права.

как олицетворения «поэтической поэзии», со всеми позднейшими Фофановыми и Бальмонтами.

«Я зову мечтателей, вас я не зову», Бальмонт. И не зовите, не трудитесь: всё равно не пойдем!

* * *

Один из молодых французских критиков, сын известного романиста, да и сам романист, один из тех преуспевающих литераторов, которые всё понимают, за всем следят, всё новое принципиально одобряют, обо всем высказывают самые утонченные, самые что ни на есть смелые мысли, суждения, — критик этот недавно писал:

«Мы теперь поняли, что поэзия тоже («тоже»: очевидно, как и наука? **Г. А.**) — дает нам знание».

Я прочел и, усмехнувшись, вспомнил то, что сказал о поэзии Боссюэ: «La plus jolie de toutes les bagatelles» — «Самый хорошенький из всех пустячков». Конечно, Боссюэ не совсем прав, или только в девяти случаях из десяти прав. Человек это был бесспорно гениальный, по мнению Поля Валери даже первый французский писатель, стилистически первый, никем не превзойденный. Но жил он в одну из тех повторяющихся в истории эпох, когда распространяется чувство, что всё окончательно достроено и упорядочено, что остается только в мелочах усовершенствовать достигнутое и нечего больше искать. Помимо того, истина по его убеждению была давно известна, она была полностью в католичестве, и с великой страстью и нетерпимостью истину эту отстаивая, он не мог отнестись к поэзии иначе, чем как к шалости. Вскоре однако мир стал давать трещины, всё было мало-по-малу подвергнуто пересмотру, — замечательная книга Поля Азара «Кризис европейского сознания 1680-1715», неужели не переведена она на наш язык? — и взгляд на поэзию не мог остаться прежним.

Но вернусь к утверждению молодого французского критика. Во-первых, как всегда в подобных обстоятельствах, надо бы спросить: кто это «мы»? А во-вторых, неужели можно положа руку на сердце отрицать, что если поэзия и обогащает человека чем-то смутно похожим на знание, то лишь в редкостно-редчайших случаях, раз или два в столетие, посреди бесчисленного количества «пустячков», всех видов, школ и направлений. Да и открывает это знание лишь то, что над нами есть «нечто», без имени, без образа, без ответа. У нас в Рос-

сии может быть единственный такой случай — Лермонтов: темное, изсиня-черное, таинственное небо над его стихами. Метафизичность Лермонтова сильнее, она у него вернее, чем у других наших поэтов, — в особенности у поэтов новых, вероятно потому, что в новые времена возникла почти повальная болтливость. Болтливость, именно болтливость преимущественно отличает «серебряный» век от «золотого»: один с трудом и сомнением прорвавшийся у «золотых» намек «серебряные» с пьяным упоением принялись разжижать и многословно развивать, ничуть не делая однако мнимое знание полнее или отчетливее. Блок, дитя «страшных лет России», питомец окружавшей его среды, по сравнению с Лермонтовым (и конечно, с Пушкиным) болтлив, а о Пастернаке и говорить нечего: недержание догадок, призрачных мыслей, снов, предчувствий, густо приправленное метафорами, очевидно за отсутствием других подпорок. Разумеется, немедленно нашлись и критики, «литературоведы», готовые в каждом случайно подвернувшемся эпитете обнаружить глубокий смысл и, как когда-то Луначарский, поблескивая роговыми очками, авторитетно и солидно разъясняющие доверчивым аудиториям, в чем этот смысл состоит.

(Пишу и думаю: зачем? зачем пытаешься ты навести свою аскетическую одурь на тех, кому весело и занятно сочинять стихи похожие на пирожки с кремом? А в особенности на тех, кто там, в России, в молодой своей модернистической резвости, отталкиваясь от внедряемых начальством прописей, ищут «ярких, блестящих образов», «необычайно острых ритмов» и прочего? На тех, например, кто — как недавно было сообщено в газете — «плачут слезами благодарности», внимая блестящей дребедени Вознесенского? Во-первых, всё равно не наведешь. Во-вторых, если даже в правоте своей ты уверен, то неужели так же уверен, что истина должна всегда восторжествовать? Что правоте по самой природе ее обеспечено признание? Что рано или поздно жизнь ей подчиняется? Скорей наоборот, и очень многое в истории, от самого великого до самого малого, в этом убеждает. «Пора смириться, сэр».

Молодые наши модернисты учились главным образом у Пастернака. При всем, что было в нем шаткого и как бы ветренного (в том смысле, в каком можно бы это сказать об Андрее Белом, но нельзя сказать о Блоке), Пастернак был, конеч-

но, подлинным и большим поэтом. В этом не было бы сомнений, даже не напиши он ничего, кроме пяти-шести таких стихотворений, как «Никого не будет в доме...» Но у Пастернака почти никогда не бывает преодолена выделка. Нет одухотворяющей небрежности. Словесная ткань чуть-чуть слишком «шикарна», чуть-чуть «воняет литературой», по выражению Тургенева. Изделие из очень хорошего магазина, сработанное очень искусным мастером, но это именно изделие, перед которым, как перед роскошной витриной, изнемогая и потея от вожделения, стоят зеваки-прохожие. Вместе с тем было в Пастернаке что-то «телячье-восторженное», слишком откровенно-лирическое, слишком демонстративно-вдохновенное, вроде как у Ленского с его кудрями черными до плеч. Ахматова сказала о нем, что «он одарен каким-то вечным детством», — и это постоянно приводится, как дань восхищения. Но комплимент двусмыслен. Ни к одному из других больших русских поэтов отнести его было бы невозможно).

* * *

Нельзя быть поэтом, не помня о смерти. Не может быть поэзии без ее отдаленного присутствия. Это, конечно, не значит, что слово «смерть» должно в стихах постоянно мелькать. Не значит и того, что стихи должны быть мрачны, унылы, «морбидны». Но это значит, что они должны быть во внутреннем ладу со строками Платона о связи творчества и смерти, — строками, которые настолько поразили и даже околдовали Льва Шестова, что он без конца их цитировал и на них ссылался. Правда, по Платону смерть — источник и побуждение философии.[3] Но поэзии — тем более. Если бы не было смерти, к чему поэзия, о чем поэзия? Так, для забавы, для мимолетной услады. Но и только.

Пушкин, удивительные в твердости и мужественности тона строки его: «И от судеб защиты нет», «И пусть у гробового входа ... »: будто в подтверждение того, что помнит, о чем всег-

[3] Платон, как всем известно, был врагом поэтов и обрек их на изгнание из своего идеального общества. Но не произошло ли тут недоразумения? Не сузил ли он понятие поэзии до условного, хотя и са-мого распространенного о ней представления? Если бы ему возразили, что он, величайший поэт древности, осуждает самого себя, каков был бы его ответ? Пример недоразумения, — как у нас осуждение Шекс-пира Толстым.

да помнить надо, в поучение неисправимым поэтическим весельчакам, готовым счесть его своим союзником. В одной мало замеченной, но умной книге о Пушкине, вышедшей лет тридцать тому назад где-то в Белграде или Софии, — «Пушкин и музыка» Серапина, — есть определение тональности пушкинской поэзии: «трагический мажор». Как верно! Одно из редких и как бы творческих замечаний о Пушкине, — если не считать, конечно, полезных, кропотливых, интересных, но всё-таки мелко-интересных, второстепенно-интересных изысканий по вопросу о том, какая пушкинская строка по ошибке включена в такое-то стихотворение или с кем Пушкин в Москве, после свидания с царем, пил чай.

Во всем великом, что людьми было создано, смерть видимо или невидимо присутствует. Не всегда тема, но зато всегда фон, как и в нашем существовании. То, без чего искуснейшее повествование, размышление или стихотворение неизбежно остаются плоскими. То, что оттеняет каждое слово. Нестерпимая бездарность казенной советской литературы, при явном обилии дарований, коренится именно в том, что смерть в ней забыта. Будто не стоит о ней и думать. Бессмертие, товарищи в коллективе, в общей работе, в возведении нового общественного строя! Ни вызова, ни отчаяния, ни преодоления, ни света впереди, ни хотя бы мрака впереди, ничего из вечного человеческого достояния. Таблица умножения в отмену будто бы никчемных логарифмов.

* * *

Перечитывая, припоминая стихи, чужие или свои, думая над ними: — знаешь, что искажает поэзию и уводит от нее, но не знаешь, что к ней ведет: знаешь, в чем измена, но не знаешь, в чем верность.

«А если грязь и низость — только мука
По где-то там сияющей красе?»

* * *

Отчего застрелился Маяковский? Ответы даны были разные и вероятно в каждом из них есть доля правды. Люди редко кончают с собой по одной причине: одна причина может-быть и была главной, но сплелась с другими, и все вместе они привели к самоубийству.

Мало вероятия, чтобы мое представление о будто бы «главной» причине смерти Маяковского оказалось правильным.

Очень мало надежды на это. Но как хотелось бы, чтобы это было так!

Маяковский мог бы покончить с собой от сознания, что свой огромный поэтический дар он не то что растратил, нет, а погубил в корне. Оттого, что будучи по природе избранником, он предпочел стать отступником. Оттого, что заключил союз с тайно-враждебными себе силами. Имею я в виду не большевизм, к которому он поступил на службу: объяснение упадка его творчества, дававшееся Пастернаком. Нет, дело не в этом, вовсе не только в этом. Маяковский с первых своих юношеских стихов принял нелепую, ребячески-наивную позу: громыхать, ругаться, поносить всё без разбора. Мир подгнил, мир порочен, корыстен, темен, убог? Это не новость. Поэты, как ни в чем ни бывало, пишут о ручейках и цветочках? Поощрять их не следует. Но есть другая поэзия, другой ее образ и перед ним площадная демагогия ничуть не лучше цветочков. Пожалуй даже хуже, потому что претенциознее и заносчивее, оставаясь столь же уныло-банальной. Перевоспитать читателей? Ну, допустим, перевоспитает (что отчасти Маяковскому удалось), допустим, читатели начнут восхищаться посрамлением цветочков,— а что дальше? Допустим, будет «сублимировано» хамоватое панибратство с землей и небом, как в «100.000.000», — а что дальше? Нет, не могу понять, как Маяковского, — с которым мне один только раз довелось беседовать о поэзии, ночью, в «Привале Комедиантов», — не могу понять, как его до конца жизни не стошнило от собственных его од, сатир и филиппик.

Пастернак упрекает Маяковского в уподоблении какому-то футуристическому Демьяну Бедному, но делает исключение для последней его вещи — «Во весь голос»: она по его мнению гениальна. Да, она могла бы оказаться замечательна. Трагическое, почти некрасовское дыхание, ритмическая раскачка, какой-то набат в интонации: всё это могло бы быть неотразимо. Но плоский, хвастливый, нищенский текст невыносимо противоречит ритму. Дыхание рвется к небу, а текст упирается в низко нависший потолок и под этой грошевой известкой отлично себя чувствует. На двух-аршинный взлет он ведь всего только и был расчитан! А слова, т. е. дословное содержание текста, в поэзии всё-таки значение имеют, поскольку она не «проста, как мычание». Приходится угадывать то, чего в сти-

хотворении нет, с унынием перечитывая то, что в нем есть...

Как возвеличена была бы память о Маяковском в русской поэзии, если бы верным оказалось предположение, что он ошибку свою понял и не в силах был с ней примириться! До крайности мало вероятия, что это было так. А всё-таки «тьмы низких истин нам дороже...»

* * *

В коммунизме загадочно то, что он до сих пор для тысяч и тысяч людей сохраняет свою притягательную силу. Даже после всех его российских матаморфоз.

А между тем многие, многие из этих людей твердо знают, что если бы в любой из теперешних буржуазно-либеральных стран произошел переворот, то житься им в ближайшем будущем, на их веку, стало бы гораздо хуже, чем жилось прежде, — как бы мало прежняя жизнь их ни удовлетворяла, сколько бы ни накопилось в их сердцах обиды, зависти и мстительности. «Les lendemains qui chantent», по слащаво-картинному выражению Вайяна-Кутюрье, т. е. царство справедливости и равенства, может быть когда-нибудь и наступит. Если и в высшей степени сомнительно, что это царство принесло бы человечеству счастье, то всё же мечта о нем понятна. Исторически такая мечта обоснована, счет предъявлен за долгое, долгое прошлое, так или иначе платить по нему приходится... Но в ближайшем-то будущем, после переворота, возникнет гнет, насилие, жизнь без отдушин, полицейщина, ограничения, всё хорошо знакомое, всё повидимому неизбежное. Одно-два-три поколения окажутся принесены в жертву этому «певучему будущему», за исключением юркого меньшинства, во время прильнувшего к новым властителям. Остальным будет наверно хуже. Каждому отдельному человеку будет наверно хуже, чем было. И всё-таки эти остальные, эти отдельные люди сочувствуют, помогают, стараются, стремятся, борятся, будто жертвуя собой для проблематического обещанного рая. Что это, действительно жертва, внушаемая каким-то действительно существующим, многомиллионным, темным «я», которое пренебрегает единичными лишениями и страданиями? Или это просто слепота, наивность, иллюзия?

«Лес рубят — щепки летят»: самая бесчеловечная из всех пословиц.

(Продолжение следует)

Георгий Адамович

СТИХИ О БРЕТАНИ

Kerhamb bredér ag mar don
Lésamb er jibl hag er goumon

1

Приморские деревни
Над камнем и водой.
И веет ветер древний
А свиду молодой.
Очаг. Мерцает пламень
Застывшие года.
И допотопный камень
И вечная вода.

2

Сижу в таверне «Золотого льва»
На самом берегу у океана
Здесь проходила королева Анна,
И внятны мне ее слова,
Исполненные нежности, печали
Разлуки с этим краем.
И в порту
Вдруг распустилась парусами лодка.
Но лодки нет. Есть дымчатая водка,
Хмель в голове. Огонь во рту.

3

Здесь песни заунывные, глухие,
Здесь вечный траур, — черный цвет,
Здесь только Анны и Марии,
Других имен у женщин нет.

Николай Туроверов

*

От пораженья — к пораженью,
От униженья — к униженью,
Из тупика — в другой тупик...
И так от самого рожденья:
«До тошноты, до отвращенья»,
До боли перешедшей в тик.
До боли ставшей монополией.
До белены.
Чего ж вам более?

*

Всё знаю точно и мучительно
(О, если бы я мог не знать!)
Что Марья Павловна с учителем
Пойдут сегодня танцевать,

Что в ядерно-ракетной толочи
Всё разлетится кувырком,
Что «ослепительные сволочи»
Вершат вселенским... кабаком

Я знаю всё, как картотека
В электроническом мозгу:
«Ночь, улица, фонарь, аптека,
Живи еще хоть четверть века...»

Нет, Хватит! Баста!
Не могу!

К. Померанцев

ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЛЬВА ЛУНЦА*

Эта последняя статья Льва Лунца написана им незадолго до смерти. Когда Лев Лунц — прозаик, драматург и теоретик литературной группы «Серапионовы братья» — решил выехать для лечения за границу, он советовался с Максимом Горьким. «Горький прислал мне нежнейшее и длиннейшее письмо», писал Лунц родителям: «он едет в Испанию и зовет меня; обещает устроить» (22-IX-22). Как сотрудник Петроградского университета, Лунц получил командировку в Испанию для изучения испанской литературы. 1-го июня 1923 г. он поехал в Берлин, потом в Гамбург, где жили его родители. Но его здоровье, надорванное жизнью в ужасных условиях в Петрограде в годы революции, неуклонно ухудшалось. В июле ему пришлось лечь в санаторию около Гамбурга, и там он провел последние 10 месяцев своей жизни. Скончался он 9 мая 1924 г. от эмболии мозга. Ему было 23 года.

Печатаемая ниже статья о Серепионовых братьях — первое произведение, написанное Лунцем заграницей. Начал он ее в июне 1923 г., за несколько дней перед тем, как поехал в санаторию. В то время он писал Нине Берберовой, что хотел послать ей статью, но болезнь мешала писать. (Н. Берберова, «Из Петербургских Воспоминаний», Опыты, кн. 1-ая, стр. 173). Возможно, что он продолжал работать над ней и в санатории, но статья осталась незаконченной.

Для Лунца было характерно первым делом думать о Серапионах. Своей дружбой с этими «братьями» — И. Груздев, М. Зощенко, Вс. Иванов, В. Каверин, Н. Никитин, Е. Полонская, М. Слонимский, Н. Тихонов и К. Федин — он глубоко дорожил. Как он писал Горькому, он не соглашался со многими из них, считал даже немногих из них писателями, но они представляли собой «необходимое условие» его работы. (22-IX-22, Архив Горького, Москва).

Гари Керн

* Эта статья Л. Лунца любезно предоставлена нам из его архива его сестрой Е. Н. Горнштейн, живущей в Лондоне. Над этим архивом работал американский студент Гари Керн, который пишет диссертацию о творчестве Лунца. Г. Керн дал к этой статье примечания и краткое вступление. РЕД.

О «родственниках» писать нельзя. Неэтично. Но я всё-таки напишу.

Ведь всякая статья, так или иначе, субъективна, каким бы холодным беспристрастием не драпировалась. А я ни на какую объективность не претендую. Напротив, предупреждаю: буду пристрастен. Так разрешите мне откровенно, по-семейному, посплетничать о родных братьях.

Мы еще не успели ничего напечатать, только-только родились, как нас уже сделали знаменитыми писателями. К величайшему нашему удовольствию. А потом, с такой же быстротой похоронили и отпели. Опять же: к величайшему нашему удовольствию. Это в российском порядке вещей: читать писателя не читают, а хвалить и ругать страсть как любят. Теперь можно работать спокойно. Мы и работаем.

Никаких «Серапионовых братьев», как школы, никогда не было. Общее у всех нас не манера письма, а отношение к написанному, признание любого произведения, лишь бы органично оно было, ненависть ко всякой общественно-политической нетерпимости. Мы спорим друг с другом, как писатели, но не как общественники. Мы признаем и Синклера и Киплинга, коммуниста и империалиста, потому что они хорошие писатели.

Литературно мы делимся на три «фракции». «Западники» (Каверин и я) считают, что современная русская литература неудобочитаема, скучна. Что московская господствующая линия (Пильняк, Лидин, Малышкин, Буданцев) — полное разложение и гибель прозы. Западники смотрят на Запад. У Запада учатся.

«Восточники» (Иванов, Никитин, Федин): — все в порядке. Писать надо, как пишут все. Ни у кого учиться не надо. Сами всякого научим.

И наконец, «центр» (Слонимский, Зощенко): — теперешняя проза не годится. Учиться надо, но у старой русской традиции, забытой: Пушкин, Гоголь, Лермонтов.

Западники говорят: всё хорошо, и психология, и язык, и быт, но нет фабулы, нет организующего начала современной прозы. Раньше всего, надо учиться интриге, а потом заботиться о другом.

Восточники: фабула — чепуха. Главное — язык, психология. Строить произведения не нужно. Как напишется, так и напишется, дубинушка вывезет.

Центр: и нашим, и вашим. И язык, и фабула. Всё сразу.

Восточники примыкают к московской школе, к Пильняку. Западники любят Гофмана, Купера, Дикенса, Гюго. Из русских только Замятина последнего периода (роман «Мы»).[1]

Я — западник. И судить буду, как западник. Пристрастно.

* * *

Лучше всех нас пишет Федин. Самый «восточный», самый консервативный. Его традиция — истинно русская, благородная традиция Толстого-Чехова-Бунина. Он боится модного, нынче псевдо-народного языка, синтаксических выкрутас и манер. Он пишет простым, честным языком, забытым и презираемым. Простой язык самый трудный сейчас. Но он — лучший. Чистейший. Федин — осколок настоящей прекрасной русской литературы. И пусть он формально примыкает к московскому «Кругу», — делать ему там нечего.[2] Он сам не знает, как далек он от этой кучки «общественников», уродующих русский язык, русскую прозу.

Федин пишет медленнее всех. Меньше всех «халтурит» и суетится. Но каждая его вещь — шаг вперед. Когда он вступал в «Серапионы» он писал хуже других, теперь на 10 голов выше нас. Потому что его не сбивают с пути московская слава, московская критика, московские гонорары.

А меня радует вот что. Федин писал лирические рассказы, безфабульные, с «настроением». Было очень мило и очень скучно. Но вот уже почти год, как он пишет **роман.** Он собирается писать его еще два года. Этот роман — настоящий.[3]

Федин понял, что есть великого в русской традиции. Понял, что не только истории надо учиться у Достоевского, и не только тонкой психологии у Толстого. Что раньше всего, надо усвоить замечательную **организованность** русского романа, точную композицию, подчинение всех элементов поступательному движению фабулы. И Федин начал громадный роман с

[1] Роман «Мы» был запрещен в России Главлитом. Позднее он был напечатан за рубежом.

[2] «Круг» — издательство, организовалось в 1922 г., в составе А. Аросева, Ник. Асеева, А. Воронского, Вс. Иванова, Вас. Казина, Б. Пильняка и К. Федина.

[3] «Этот роман — настоящий» — речь идет о романе «Города и годы», отрывки которого Лунц прочел. Роман вышел в ноябре 1924 г.

сложнейшей интригой, с путанейшими сюжетными узлами. Роман построенный на идее, роман в котором каждый тип хорош, не только потому, что он жизнен, но и потому, что он носитель сюжетной тайны, интригующей и движущей. Роман обнимает 10 лет, современный, но чуждый московской общественной злободневности, спокойный и честный. Я не знаю, как доведет его Федин до конца, но знаю, что он не будет похож на так называемые «романы» Буданцева или Пильняка. Это роман в подлинном смысле этого слова, цельный и стройный, невиданный в русской литературе за последние двадцать лет.

* * *

Хуже всех пишет Всеволод Иванов.

Я снова повторяю: я говорю от своего имени, верней от имени своего вкуса. И вот утверждаю: Иванов плохой писатель.

За два года, что я знаю его, он испортился окончательно. Написал хорошо, мощно, с богатейшим словарем и великолепным аппаратом образов. И они-то: словарь, образы — погубили.

Иванов — чудесный образчик русской корявой некультурности, русской тупой ненависти к всякой культуре. Писания Иванова в литературном смысле безграмотны.

Первые его рассказы — «Глухие маки», «Лога», «Синий зверюшка» — я любил и люблю до сих пор. Пересказать их невозможно — логически это бессмыслица. Они увлекают своей стихийностью. Но такие рассказы хороши раз, два, три — потом стихийность приедается, ее надо вводить в рамки, работать над ней, организовывать. А этого Иванов не захотел сделать.

Пытался. «Дитё» — лучший его рассказ, большой шаг вперед. Но единственный шаг. Иванов предпочел пойти по линии наименьшего сопротивления.

Запахи, цвета, ветры, образы, пейзажи, разговоры — отличные, жирные. Конечно, сало вещь хорошая, но класть его надо в меру. Пересаленный пирог несъедобен. Рассказы Иванова пересаленные пироги. За языком пропадает движение, всё смешивается в одно жирное месиво слегка приправленное общественностью.

А вот официальная критика считает, что Иванов сюжетный писатель, «творец партизанской эпопеи». У писателя-де не-

обыкновенное богатство драматических положений и столкновений.

Я считаю эти мнения насмешкой над Ивановым. Бессвязней и безграмотней его фабулы придумать нельзя. Вот схема любого его романа. Сибирская деревня при белых. Разбой, порнография, разговоры о Боге и о Ленине. Все женщины изнасилованы, все красные убиты, все запахи и цвета перечислены — больше делать нечего. Как кончить рассказ? — Иванов не знает. И он пускает красных, которые убивают всех героев. Красные приходят не потому, что это подготовлено. Deus ex machina. Просто и удобно. Красные-белые, белые-красные, а, если посложней, так красные-белые-красные. Вот и вся схема. Никакой изобретательности.

Лев Лунц

ОСЕНЬ

Всё, всё перемешай:
и красный блеск Дамаска
с зеленым цветом ириса,
и Аттики
коричневую тень
с сияньем белым
золота,
и пурпур горестный
с мерцаньем
камня лунного,
и ржу этрусскую
с холодной
синевою бури.

Всё, всё перемешай
и помни:
в красках — радость,
в линии — боль.

ЛИТАНИЯ

Разлука — пролетает желтая птица
разлука — вдалеке высятся горы
разлука — тьма непроглядна
разлука — близятся грозы
разлука — пустыня, пустыня
разлука — рана не заживает

но не плачь: у тебя за спиною крылья.

Алексис Раннит

Перевод Георгия Адамовича

ИЗ АМЕРИКАНСКИХ ПОЭТОВ

*

Стройная наяда из камня —
Я губы твои целовал
И холодно стало мне.
Проснись! От снов я устал
О лебеде серебряном,
Что улетел на юг, страшась наяд.
Дремать, волшебница, не время нам;
И воздух заморозили твои уста,
И, замерзая, умирает сад,
Страшась наяд.

Роберт Хиллиер

*

Я осень никогда не понимал:
Всё ранней осенью светлей, блаженней,
Как будто мать земля пошла на бал,
И ей рукой махнуть на наставленья.
Рулады птиц по-новому остры,
И ленты в волосах кустов пунцовы.
Поет листва; воздушные шары
Танцуют на ветвях, желты, багровы.

Зиму-старуху обманули; всё ж
Она придет, тряся клюкой, прикрикнет
На шалунов; от ведьмы не уйдешь,
И до весны никто из них не пикнет.
Но мне не по себе — нагрянет снег
И спрячет всё любимое навек.

Джон В. А. Уивер

ПУТЕШЕСТВИЕ

День полон гулом голосов,
Вокзал от нас не близко;
Но шум мне слышен поездов,
Колес, свистков и визга.

А ночью сны и тишина,
И поезда сонливы;
Но в небе их зола красна,
Храпят локомотивы.

Согрето сердце теплотой,
Друзьями мир мой полон;
Но в поезд я вскочу любой,
Куды бы ни пошел он.

Эдна Сент-Винсент Миллэй

ПОЭТ ИЗ ЧИКАГО

Я приветствовал ничтожество,
Я его увидел в зеркале,
Он улыбнулся — я ответил улыбкой.
Он сморщил кожу на лбу,
Нахмурившись, — я также,
Я повторял все его движенья.
«Алло, я вас знаю», сказал и соврал.
О, эта личность в зеркале!
Враль, глупец, мечтатель, бобыль,
Воин, актер, пьяница,
пьющий пыль —
Ему останется
Со мной спуститься по темной лестнице:
Никто не заметит,
Больше нет никого на свете.
Он взял
Меня под руку;
Я всё растерял —
Но с ним рука-об-руку.

Карл Сандбург

DANSE RUSSE

Когда жена моя спит
И ребенок и Катлин
Тоже спят,
Под белоогненным диском
Солнца,
В туманах шелковистых
Над блещущими деревьями,
Я, голый чудак,
В комнате, выходящей на север,
Пляшу перед зеркалом,
Размахивая
Рубахою
Летучей
Вкруг головы
И напевая: «Мне это впрок —
Я одинок, со дня рожденья одинок —
Так лучше!»
Я любуюсь своим фасадом,
Лицом, руками, мышцами;
Повернувшись, любуюсь задом.
На фоне спущенных желтых гардин
Я один,
Но кто не скажет в это мгновенье:
«Вот в домашнем кругу счастливый гений!»

Вильям Карлос Вильямс

Перевел Владимир Дукельский

СТИХИ ИЗ ТЮРЬМЫ

Эти стихи написаны русской женщиной Ю. М. де Бособр в советских тюрьмах сталинского времени и в концлагере в начале 30-х годов. Муж арестованной был расстрелян, ребенок ее умер от голода. Сейчас Ю. М. де Бособр живет в Англии. Во время войны она выпустила нашумевшую книгу «The Woman who could not die». РЕД.

*

Я бродяга
и бродяжничаю смело.
Отмечая всё что скучно, надоело.
Свой сама себе творя завет
Прохожу
по горьким
шпалам
лет.

1933

ПЕРЕД ВЫХОДОМ ИЗ КОНЦЛАГЕРЯ

Выплеснулась полыхами красок,
Вызвучалась роем новых слов,
Расшвыряла ворох чуждых масок,
Вновь включилась в радость прежних снов.

Я бродяга. Мне не надо дома.
Голод, как-то странно, мне к лицу.
Я приемлю всё: шпану Содома,
Лесбос, кражу и плевок Отцу.

Только пусть рубцы от ран столиких
Набухают в нежный цветень слов.
Пусть в зрачках от голода раскрытых
Полыхает буйство ранних снов.

Я богата. Излучая свет,
Золотые нити слов пряду я.
В сытых стан, куда не забреду я,
Шлю голодный, красочный привет.

Там, где сытно, тупо и бесцветно,
Веки вспухли и приглушен слух,
Всплески скорби тухнут безответно,
Жизни жуть — жужжанье скучных мух.

Октябрь, 1933

*

Настала годовщина горьких дней,
На дне души больней сочится рана,
Набата мерный гул звучит родней
Нежнейших слов. Молчи.
Для слова — рано.

Москва, 1934 *Юлия де Бособр*

ПИСЬМА М. А. АЛДАНОВА К И. А. И В. Н. БУНИНЫМ*

3. НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

Много в письмах деловых сообщений относительно переводов на иностранные языки, сведений об эмигрантских газетах, издательствах и т. д., наиболее интересны совместные фильмовые планы Бунина и Алданова. В начале тридцатых годов возобновляется и переписка относительно возможности получения Буниным Нобелевской премии.

Осенью 1926 года впервые опять встречается упоминание о Нобелевской премии (19. 9. 26): — «...Думаю, что у русских писателей, т. е. у Вас, Мережковского и — увы — у Горького, есть очень серьезные шансы получить Нобелевскую премию. С каждым годом шведам всё труднее бойкотировать русскую литературу. Но это всё-таки лотерея. ...»

После этого нет упоминаний о Нобелевской премии вплоть до зимы 1930 года. Бунин, видимо, просил Алданова написать о нем Томасу Манну. Марк Александрович отвечает (28. 12. 30): — «...ведь я Вам давно писал и говорил, что у Вас и у Мережковского очень большие шансы на Ноб. Премию. Собственно это становится математической необходимостью, — разве только опять выскочит Горький. Но премию русскому должны дать. Я очень охотно напишу Манну и даже составил было текст письма, но, каюсь, у меня серьезные сомнения. Брат Томаса Манна, Генрих Манн, тоже знаменитый писатель и назывался в числе кандидатов... если у Т. Манна есть свой близкий кандидат, благоразумно ли сообщать о серьезном сопернике?... Как же быть? По-моему, естественнее всего попытать почву у славистов. Французских славистов всех знает Кульман. Хотите ли Вы, чтобы я с ним поговорил? Слависту независимо от его национальности, естественно предложить кандидатуру русского писателя... И, наконец, думаю (хоть не

* См. кн. 80 «Н. Ж.»

уверен), что и Милюков сам имеет формальное право предложить кандидата. Не сомневаюсь, что он охотно Вас предложит, если имеет право. Без Вашего одобрения я однако ни одного из этих шагов не сделаю, — это ведь очень ответственно. Напишите мне тотчас, дорогой Иван Алексеевич, что сделать и чего не делать. ...»

Бунин, видимо, всё же попросил, чтобы Алданов написал Томасу Манну, т. к. в письме от 2 января 1931 Марк Александрович пишет:

«...Сейчас же, получив Ваше письмо, начал работу. 1) Написал Манну... 2) Повидал Б. Мирского, — он обещал сделать всё от него зависящее. Мы перебрали всех славистов... Худо то, что точно никто не знает, кто именно может представлять кандидатов: всякий ли профессор литературы или только университетские, ординарные, определенных кафедр. Кроме того Мирский обещал сделать другое: он хорошо знаком с дочерью Бьернсона, к-ая будто бы имеет огромное влияние в Скандин. литер. кругах... Милюков только что вернулся из Праги, я его еще не видел. ...»

В письме от 10 января 1931 года Алданов сообщает, что получил ответ от Т. Манна, который, видимо, был приложен к письму.

«...Как видите, он чрезвычайно любезен, но несколько уклончив. Пишет о том, что не уверен, имеет ли право представить не-немецкого кандидата, и запросит об этом, — **как уже он писал Шестову,** который тоже просил его представить Вас. Чрезвычайно Вас хвалит, особенно «Г. из С. Франциско», но — тут очевидно одна из важных загвоздок еще Шмелев. Хотя он и не имеет в своем активе такого произведения, как «Г. из С. Франциско», но (перевожу точно): «я могу только сказать, что мне чрезвычайно трудно произвести выбор между обоими и что я от всего сердца желал бы премии также Шмелеву, у которого обстоятельства (вероятно денежные, М. Л.[16]) еще неблагоприятнее, чем у Бунина». — По совести думаю, что Манн, вероятно, уже обещал Шмелеву похлопотать за него. Но, может быть, я и ошибаюсь... Обращаю еще Ваше внимание на его слова о «Жизни Арсеньева». Если у Вас есть возможность... издать эту книгу поскорее на одном из трех глав-

[16] М. Ландау — так подписаны почти все письма Алданова.

ных языков, сделайте это, не слишком торгуясь, — повидимому это имеет большое значение, — знакомство с последней книгой. ...»

Следующее письмо (16. 1. 31) тоже посвящено вопросу о Нобелевской премии: — «...Только что получил... письмо Мирского. Дама эта дочь Бьернсона и, говорят, имеет огромное влияние... О шагах Милюкова Вы, конечно, всё знаете от Полякова-Литовцева. Павел Николаевич всё сделал с очень большой готовностью... Будет хорошо, если Вы напишете Мирскому... — он много по этому делу работает и это надо ценить в виду его «радикально-демократического разреза»... Вы, конечно, тоже радикал-демократ, но другого оттенка. ...»

В письме Вере Николаевне от 20 января 1931 года Алданов пишет, что получил материалы (вероятно, относительно переведенных на иностранные языки книг Бунина) и передал их Мирскому, «...получив заверение, что дочь Бьернсона **завтра же всё** пошлет в Скандинавию. ...»

Вере Николаевне Алданов советовал поддерживать в муже мысль, что получение Нобелевской премии проблематично, чтобы не было слишком большого разочарования (25. 4. 31): — «...Я считаю, что шансы Ив. Ал. на премию Нобеля огромные, но Вам советовал бы поддерживать мысль, что всё это очень проблематично: я и то боюсь, что, если, не дай Господи, премию И. А. не получит, то удар будет для него очень тяжелый: внутренно он всё-таки не мог не считаться с мыслью о получении премии. ...»

16.5.31 Алданов извещает Веру Николаевну об отказе Т. Манна выставить кандидатуру Ивана Алексеевича: — «...Во вторник я обедал в Пен Клубе с Том. Манном и долго с ним разговаривал, в частности о кандидатуре Ив. Ал. Должен с сожалением Вам сообщить, что он мне сказал следующее: ему с разных сторон писали русские писатели, просили его выставить Ив. Ал. в качестве кандидата на Ноб. премию, и он считает необходимым прямо ответить, что он этого сделать не может: есть серьезная немецкая кандидатура и он, немец, считает себя обязанным подать голос за немца... Бог даст, обойдется и без Манна. ...»

Больше года упоминаний о премии в письмах нет. Только 6 сентября 1932 года Алданов пишет Вере Николаевне:

«...Осоргин[17] мне сказал, что к нему по делу заходил какой-то влиятельный шведский критик и в разговоре сообщил, что Иван Алексеевич имеет серьезные шансы на получение Нобелевской премии. Дай-то Бог, — я убежден, что они должны дать премию русскому писателю — скандал растет с каждым днем. Но исходить, конечно, нужно из худшего. ...»

Наконец, в октябре 1932, после того, как была опубликована Гавасовская телеграмма, Алданов пишет (9. 10. 32): — «...довольны ли Вы Гавасовской телеграммой о Нобелевской премии?[18] Я был ей очень рад. Шансы Ваши очень велики и в этом году, — Вы один из 6 или 7 кандидатов. А если даже и верно сообщение Стокгольмской газеты, что в этом году премия будет скорее всего поделена между Валери и Георге, то, значит, в будущем году отпадут сразу Франция и Германия, — тогда Ваши шансы еще очень вырастут. И, наконец, даже независимо от денег, самое появление во всех французских газетах сообщения о том, что Вы один из немногих кандидатов, очень важно, как «реклама» и как способ воздействия на издателей. Забавно, что французские газеты сообщили о Вас, как кандидате СССР! «Посл. Новости» не поместили Гавасовской телеграммы, так как Вы просили **ничего** не сообщать о Вашей кандидатуре...»

15 октября (на письме рукой Веры Николаевны приписано «1932») Алданов пишет Вере Николаевне: — «...Много говорили об Иване Алексеевиче в связи с Нобелевской премией, — одни говорили: получит, другие сомневались, — русскому не дадут. Я держал пари на сто франков, что И. Ал. получит премию в течение ближайших двух лет. Так что, пожалуйста, не подведите, — получите. Вернувшись домой... застал письмо И. Ал. Напрасно он думает, что французские издатели и критики в сов. писателе Бюнене не узнали эмигранта Бунина.... Повторяю, на мой взгляд шансы И. А. в этом году значительны, а в «перспективе» двух лет очень велики. ...»

Но и на этот раз премии Бунину не дали. Алданов пишет 12 ноября 1932 Вере Николаевне: — «...Очень мы были огорчены результатом шведского дела. Всё говорило за то, что в этом году дадут премию русскому писателю, и я думал, что

[17] Писатель М. А. Осоргин.

[18] В ней говорилось о кандидатуре И. А. Бунина.

шансы И. А. большие. ... Иван Алексеевич, по крайней мере, не оказался в неловком положении, как Мережковский, — Вы видели эти его интервью, биографии и портреты после Гавасовской телеграммы.[19] Он был очень корректен: сказал, что всё равно, присудят ли премию ему, Бунину или Куприну, лишь бы присудили русскому; но всё же лучше было бы отказать интервьюерам в каком бы то ни было сообщении: газеты только поставили его в неловкое положение... Во всяком случае, и у него, и у Ивана Алексеевича теперь одним опасным конкурентом меньше: Голсуорси выбыл. Лотерея будет продолжаться дальше, подождем будущего года. ...»

Но существовать надо было, а материальное положение Бунина было нелегкое. Выходом показалось предложение Холливуда поставить фильм «Господин из Сан-Франциско». Об этом Бунин известил Алданова и, видимо, спросил совета относительно гонорара. 15 октября 1933 Алданов пишет: — «...в материальном отношении это большой успех, да и для славы Вашей в Америке это будет очень полезно, — хоть в художественном отношении от фильма Вам ждать радости не приходится ... если Вы продадите **только** заглавие, то требовать надо тысячу долларов, а если и рассказ, то три тысячи, самое меньшее две тысячи. ...»

В конце октября 1933 года опять началось томительное для Бунина ожидание результатов присуждения премии. Алданов пишет 30 октября 1933:

«...Насчет Нобелевской премии я тоже не уверен, что она уже присуждена этому неведомому Зилленпе. Обычно газеты ошибаются в подобных сообщениях. Думаю однако, что и Вы ошибаетесь, усматривая в молчании французских газет симптом. Французские газеты ничего не знают, кроме того, что им сообщает агентство Гавас... Я считал очень высокими шансы немецкого кандидата из эмигрантов, — Генриха Манна. Если он не получит премии и если в этом году ее не получите и Вы, то придется признать, что эмигранту и вообще неугодному своему правительству человеку премии никогда не дадут! ... вдруг всё-таки не Зилленпе, а именно Вы. Если же не Вы,

---

[19] Кроме Бунина в Гавасовской телеграмме из русских писате-лей упоминались Мережковский и Куприн, как возможные кандидаты на получение премии Нобеля.

то не огорчайтесь свыше меры. Мережковский говорил мне, что он ни малейшей надежды на премию не возлагает. ...»

Наконец 4. 11. 33 спешное, написанное от руки письмо: «Одно странно — почему из Копенгагена, а не из Стокгольма? Но по моему, вопрос о Вашем подданстве ясно показывает, что дело идет о Ноб. премии. Ну, если не 90%, то, скажем, 75. Вот только не волнуйтесь слишком до 9-го.

Дорогой Иван Алексеевич.

Только что узнал о пересланной Вам с час тому назад телеграмме Кальгрена,[20] запрашивающей редакцию о Вашем адресе и подданстве. **Все** у нас (и я) думают, что это... означает присуждение Вам Нобелевской премии. Не дай Бог ошибиться, — но уже сейчас сердечно Вас поздравляю и обнимаю...

Ваш...

Редакция ответила (еще до моего прихода) Кальгрену: Bounine refugié russe. Adresse такой-то...»

Думается, что Алданов поздравил Бунина в связи с получением Нобелевской премии телеграммой, во всяком случае письма́ не сохранилось, следующее письмо написано уже в Дрезден, где Бунины гостили на обратном пути из Стокгольма. Алданов усиленно уговаривает Буниных распроститься с Грассом («Нет ничего печальнее Вашего Грасса» — 27 декабря 1933) и купить виллу в Канн. Бунины же остались в Грассе, чего Алданов не мог им простить: «...Стоило получать Нобелевскую премию, чтобы сидеть в Вашей дыре! Ездили бы по Франции, по Европе, нас в Париже навещали бы. Хотя радостей у нас тут очень немного. Все стонут. ...» — пишет он Вере Николаевне 5 мая 1934.

Осенью 1934 года Иван Алексеевич приехал в Париж. Алданов пишет Вере Николаевне (5 января 1935): — «...я редко вижу Ивана Алексеевича. Раз он у нас обедал, раза три были мы вместе в кофейнях (нет, больше, раз пять но почти всегда в большом обществе...) и недавно провели вечер у Цетлиных. На Вашей квартире я так и не был, но это лучше: уж очень мне досадно. ...По-моему, надо было снять квартиру получше ... и мебель купить порядочную, чтобы можно было принимать и французов, и иностранцев: у И. А. всё-таки есть состо-

[20] Шведский издатель.

яние, он единственный, кто мог бы быть нашим культурным «послом» в Европе, каким был Тургенев. ... Ну, да Вам виднее. ...»

На эту же тему Алданов пишет Вере Николаевне в письме от 20 января 1935: — «...Мне, — говорю серьезно, — очень больно, что И. А. так мало (если не говорить о Швеции и, разумеется, об эмиграции) использовал во всем мире свою премию и в интересах русского дела, и в своих собственных интересах. ... Нет, не быть Ивану Алексеевичу нашим «послом», — и это очень, очень жаль. ...»

Попрекает он Бунина и за то, что тот бросил писать (14 февраля 1935): «...А вот отчего Вы больше не пишете? Ходят слухи, что со времени получения премии Вы не написали ни одной строки! Арсеньев сердится, и Ваши друзья тоже, не говоря о публике. ...»

ВОЙНА

Писем, написанных за шесть лет войны мало — 7 из Европы и 8 из Америки. Летом 1942 переписка, видимо, совсем прекратилась (вероятно, письма не доходили) и возобновилась только в марте 1945 года.

После начала войны Алдановы оставались в Париже. Несмотря на налеты, на затруднения в передвижении, жизнь в литературной эмиграции как-то продолжалась. 27 апреля 1940 Алданов сообщает Бунину, который так и оставался в Грассе: — «...Готовится чествование Мережковского (75 лет): сбор с обращением к иностранцам... Очень приятно прошло чтение Бориса Константиновича:[1] и читал он хорошо, и публики было много, и сбор хороший. Сирин недели через три уезжает в С. Штаты, очевидно, навсегда. Вот все литературные новости. ...»

23 августа 1940 Алданов пишет: «...Я получил вызов к американскому консулу в Марселе и предполагаю, что получена для меня виза в С. Штаты. Пока ее не было, мы плакали, что нет; теперь плачем... что есть. В самом деле я пускаюсь в величайшую авантюру всей моей жизни. Но так как делать мне и во Франции нечего, то, помимо других причин, надо ехать...» К письму сделана приписка: — «В Нью-Йорке я решил первым делом заняться поиском денег для создания журнала».

[1] Б. К. Зайцев.

Очевидно, Алданов звал в Соединенные Штаты и Буниных, 13 сентября 1940 он пишет: — «...Очевидно, Вы решили остаться. Не решаюсь Вас уговаривать... Но сообщаю Вам следующее. Я вчера получил письмо от Осоргина. Он сообщает, что получил без всяких хлопот визу в С. Штаты как писатель (через Американскую федерацию труда, как и я), и может тоже устроить еще для нескольких писателей. Я тотчас написал ему о Вас. Но очень Вам советую и **лично написать ему об этом тотчас, не откладывая ни на день. ...**»

Но Бунин медлил с ответом. 11 октября 1940 Алданов, всё еще ожидающий выездной визы, просит Веру Николаевну сказать наконец твердо, едут ли они в Америку, т. к. «каждая виза в списке на счету».

Следующее письмо Алданова (13. 12. 1940) уже из Лиссабона, где он ожидал парохода в Нью-Йорк: — «...Я понимаю, как Вам трудно собраться в Америку: дороговизна жизни, переезд, риск и т. д. Однако, если Вам, по бытовым условиям, будет очень тяжело в Грассе (недостаток еды, топлива), то не переедете ли Вы временно в Лиссабон?... Знаю, что сюда въездную визу получить трудно. Однако, Метерлинку дали... дадут и Вам. ...» В этом же письме после долгого перерыва опять упоминается Нобелевская премия. Видимо, уже раньше Бунин по своей инициативе выставлял кандидатуру Алданова. Теперь Алданов пишет: — «...Имеете ли Вы известия о Зайцевых? Где Мережковские? Я считал весьма возможным, что он в этом году получит Нобелевскую премию... Кстати, уж будьте милы: в этом году тоже напишите заказное письмо в Стокгольм: никаких надежд не имею, но ведь покупал же я билеты в Национальную лотерею... Редакцию Вы знаете: переведен на 23 языка, есть статья в «Британской Энциклопедии». Я никогда не просил бы, если б Вы этого первый не сделали. ...»

Переменились роли и в другом отношении — теперь Буниных сообщают Алданову о жизни других писателей. Накануне отъезда из Европы Алданов пишет Вере Николаевне (27. 12. 40): — «...Мы завтра уезжаем на португ. пароходе... В третьем классе, но получили каюту на двоих... Перспективы в Америке не блестящие.. Я всё же думаю, что какое-нибудь издание мы там наладим... Сведения Ваши о нужде писателей — удручающие. Особенно я боюсь за Зайцевых, которых так

люблю... Если я буду зарабатывать деньги в Америке, попытаюсь участвовать и в деле помощи оставшимся. ...»

Приехав в Нью-Йорк, Алданов возобновил вопрос о переезде в Америку Буниных. 1 февраля 1941 он пишет: — «...Но отчего же Вы всё-таки ничего не сообщаете о своих планах? Я Вам писал о Лиссабоне, о Нью-Йорке, меня здесь **все** первым делом спрашивают, приезжаете ли Вы и когда, а я ничего ответить не могу! Повторяю, советовать Вам ничего не могу и не хочу. Я Соединенными Штатами доволен... Если журнал создастся, то мы хотим в первой же книге поместить начало «Темных Аллей» (и включим Вас в список «при ближайшем участии». Можно?). Ради Бога, пошлите мне тотчас один экземпляр... Но тоже ради Бога: помните о существовании в С. Штатах законов! (Это относительно сюжета)... Если же журнал не создастся, то плохо наше дело во всех смыслах, на своем языке нам тогда печататься **негде** ...»

Журнал и возможный переезд Буниных в Америку — главные темы и следующих писем: — 21.3.41: «...Толстый журнал будет почти наверное... можно будет выпустить книги две. А потом будет видно... Вы **должны** быть в первой книге... Напишите же мне, наконец, приедете ли Вы сюда или нет. Для Вас и Веры Николаевны будут и виза и билеты, — это мне твердо сказали...»

15.IV.1941: «...если Вы питаетесь одной брюквой и если у В. Н. «летают мухи», то как же Вам оставаться в Грассе?! Подумайте, дорогой друг, пока еще можно думать. **Возможность** уехать Вам вдвоем — **есть**... Как Вы будете жить здесь? Не знаю. Как мы все, — с той разницей, что **Вам,** в отличие от других, никак не дадут «погибнуть от голода». Вы будете жить так, как жили во Франции тринадцать лет до Нобелевской премии... Только что я позвонил Александре Львовне.[2] Она мне сказала, что для Вас собрано уже **пятьсот** долларов, из которых 50 и 150 уже Вам переведены... Кроме того послана посылка. Кроме того, по её словам Вам обеспечены .... два билета для поездки из Лиссабона сюда ...»

Но Бунин не мог решиться покинуть Европу и Алданов на время прекращает звать его. Дело с журналом оказалось нелегким, в том же письме Алданов сообщает: — «...Обещали

[2] А. Л. Толстая.

золотые горы. Когда дело дошло до выполнения, то оказалось, что немедленно можно получить 500!... Одну книгу мы всё-таки выпустим осенью, а там видно будет. ...» О себе он рассказывает в том же письме следующее: — «...я кое-как живу своим трудом... Пишу в американских журналах, — по-русски или по-французски... а они переводят сами. ...»

Трудности с журналом всё же удалось преодолеть. «Новый журнал» был основан. В письме от 25 октября 1941 Алданов сообщает: — «... наш журнал почти осуществлен, иными словами обеспечена уже одна книга и есть надежда на вторую. В первой на первом месте появятся «Руся» и «В Париже»... во второй книге, если она выйдет... мы напечатаем «Натали»; это, по-моему, самый лучший и просто изумительный рассказ, одна из лучших Ваших вещей вообще... Журнал мы редактируем с Цетлиным. ...»

26 мая 1942 Алданов сообщает, что вышли 2 книги «Нового Журнала», что третья появится в сентябре, но прибавляет: «...Будет ли четвертая книга «Нового Журнала» — я не знаю... Журнал пока поддерживали «меценаты»...» Трудно было тогда надеяться на то, что «Новый Журнал» станет самым значительным периодическим изданием в зарубежье и переживет самого Алданова.

Бунины в Грассе голодали — «...Господи, как Вы ошиблись, что не приехали», — пишет Алданов 26 мая 1942 — «...Не сомневаюсь, что Вы здесь не голодали бы...» В конце этого же письма он прибавляет: — «...Меня постоянно о Вас спрашивают и не только русские, но и американские писатели. ...»

В следующем письме (от 29 июня 1942) опять вопрос — не хотят ли Бунины приехать? Алданов обещает получить для них билеты «в кредит», считает, что визу они получат без затруднений. В этом же — последнем «военном» письме — Алданов сообщает, что есть надежда на основание русского беллетристического издательства и спрашивает, хочет ли Бунин издать «Темные Аллеи».

Переписка во время войны оборвалась. Следующее письмо Алданова написано уже в 1945 году.

IV. ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД

1. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ БУНИНА

Прошли, наконец, тяжелые годы войны, о которых Бунин

писал Н. Д. Телешову (8 декабря 1945)[3] «...пять лет сидели мы безвыездно в Грассе, в голоде, а зимой в лютом холоде, в нужде, — заработков, конечно, не было никаких (да они теперь очень, очень слабы, — а кроме того, еще под игом оккупантов...)» Возобновилась переписка с Алдановым. Много места в письмах этого периода занимает вопрос о помощи больному и старому Бунину. После войны он остался совсем без средств, а деньги нужны были и на жизнь, и на лечение. Сказались и годы войны («пещерный голод, холод, да еще под проклятым немецким игом» — письмо Бунина к Телешову от 1 марта 1947). Алданов делал, что мог — посылал сам вещевые посылки, наладил помощь Буниным через различные организации, но всего этого было мало. К 75-летию Бунина была раскошно издана его повесть «Речной трактир» с иллюстрациями М. Добужинского, был устроен сбор.

Сразу после окончания войны Алданов стал опять звать Буниных в Америку, но Иван Алексеевич и тут избегал прямого ответа. Некоторые люди в Париже уговаривали Бунина вернуться в Россию. Видимо, не сразу он исключил и эту возможность — тоска по России, тяжелая жизнь в Париже, вера в то, что после войны в России многое изменилось, очевидно, играли свою роль. Бунин написал Алданову, что подумывает о возвращении. Это вызвало длинное ответное письмо Алданова (от 30 мая 1945):

«...С большой душевной болью прочел вчера полученное письмо Ваше от 12 апреля... Перехожу к главному. Не пишу пока снова о переезде в Америку, так как жду Вашего обещанного письма об этом. Хочу только коснуться поездки «домой». Марья Самойловна[4] чуть не заплакала, когда я сегодня ей прочел Ваше письмо. Она только восклицала: «Это безумие!», «Боже мой!» и т. д. Я хочу подойти к этому «объективно», как если бы дело шло не о Вас и не о том тяжком горе, которое для меня означала бы разлука с Вами (ведь навсегда, — Вас назад не отпустят). Я прекрасно понимаю, что такое опять увидеть «дом», какой бы он теперь ни был. Это ведь большое общее горе. Если спокойно обсуждать «плюсы» и «минусы»,

[3] Письма И. А. Бунина к Н. Д. Телешову (1941-1947). Исторический архив, 2, Москва 1962, Акад. Наук СССР, стр. 161.

[4] М. С. Цетлина.

то это такой плюс, с которым минусы несоизмеримы. Но я эти минусы перечислю: 1) Читали ли Вы воспоминания Телешова? Он очень тепло пишет о Вас и сообщает, что Вы скончались в 1942 году и что последнее письмо Ваше было: «хочу домой». Очевидно, там говорили и писали, что Вы умерли (помните примету: очень долго жить). Письмо же, вероятно, — то Ваше письмо к Алексею Николаевичу, о котором и здесь были слухи?[5] Повторяю, книга Телешова написана, в общем, в благородном тоне, с любовью к Вам. Однако он сообщает, о покаяниях Куприна (нам бывших неизвестными). Боюсь, что это обязательно, как бы ни приглашали и что бы ни обещали. Вы ответственны за свою биографию, как знаменитый русский писатель. 2) **Кто** Вас зовет и что именно Вам обещают?... Думаю, что часть обещаний исполнят, некоторые книги Ваши издадут, отведут квартиру и Вы получите много денег, на которые и там сейчас ничего купить нельзя: там голод и нищета такие же, как почти везде в Европе. Однако и это во многом зависит от того **кто** обещает. 3) У Вас там, кажется, ни одного близкого человека не осталось, — разве Телешов, если он еще жив? Алексей Николаевич[6] умер. Молодые писатели Вас встретят почтительно и холодно, — так, по крайней мере, я думаю. А некоторые будут напоминать об «Окаянных днях».[7] 4) Если у Вас еще есть остатки премии, то их Вы никогда не получите, — разве их эквивалент, вероятно, не очень ценный.

Повторяю, перечисляю только минусы. На всё это Вы совершенно справедливо можете мне ответить: «А что же Вы можете мне **тут** гарантировать?» Действительно, мы, друзья

---

[5] В Историческом архиве, 2, Москва 1962, стр. 160 напечатано письмо (открытка) Бунина к Телешову от 8 мая 1941, в котором, между прочим, говорится: « ... Был я «богат» — теперь, волею судеб, вдруг стал нищ, как Иов. Был «знаменит на весь мир» — теперь ни-кому в мире не нужен — не до меня миру! В. Н. очень болезненна, чему помогает и то, что мы всегда голодны. Я пока пишу — написал недавно целую книгу новых рассказов, но куда ее теперь девать? ... » К этому письму сделана следующая приписка: «Я сед, сух, но еще ядовит. Очень хочу домой». Вероятно, об этом письме и идет речь.

[6] А. Н. Толстой.

[7] «Окаянные дни» (Собр. соч. И. А. Бунина, том X, Петрополис, 1935) — большой дневник, который Бунин вел во время революции и гражданской войны.

Ваши, можем только обещать всячески для Вас стараться, делать всё, что можем. Знаю, что это немного.

Я прекрасно понимаю, как Вам тяжело. Мои чувства к Вам не могут измениться и не изменятся, как бы Вы ни поступили. Извините, что пишу Вам обо всем этом. Никакого **совета** в **таком** вопросе я Вам дать не могу и не даю. Мне казалось только при чтении Вашего письма, что Вы хотите знать мое мнение. ...»

Но, видимо, Бунин серьезно не думал о возвращении, т. к. уже 27 августа 1945 года Алданов, между прочим, пишет: — «...Я страшно рад, что Вы «никуда» не едете. Понимаю, что и так не сладко, — всё же рад больше, чем могу сказать. ...» В этом же письме Алданов спрашивает: — «...Правда ли, что Российская Академия наук купила полное собрание Ваших произведений? Неужели и заплатила? Да и как же так «полное»? Не будут же они печатать «Окаянные Дни»? ...»

В длинном письме от 5 января 1946 Алданов пишет о нашумевшем в то время посещении Буниным советского посла. На это посещение многие в эмиграции реагировали очень резко.

Алданов пишет: — «Дорогой друг, вчера получил Ваше письмо от 26 декабря и очень встревожился относительно Вашего здоровья. Что же это такое, — этот бронхит, который не проходит так долго и при котором Вы выходите из дому (понимаю, впрочем, что дома, может быть, холоднее, чем на улице) ... Дорогой друг, Вы почти всё письмо уделили этому визиту. Я Вам давно писал (когда Вы мне сообщили, что подумываете о возвращении), — писал, что моя любовь к Вам не может уменьшиться ни от чего. Если Вы вернетесь, Вас, думаю, заставят писать, что полагается, — заранее «отпускаю» Вам этот грех. Добавлю к этому, что я, чем старше становлюсь, тем становлюсь равнодушнее и терпимее к политике. Не говорите, что в Вашем случае **никакой** политики нет. Это не так: визит, каков бы он ни был и какова бы ни была его цель, помимо Вашей воли становится действием политическим. Я солгал бы Вам (да Вы мне и не поверили бы), если б я сказал, что Ваш визит здесь не вызвал раздражения. (Есть впрочем и лица, одобряющие Ваш визит). Насколько я могу судить, оно всего больше, с одной стороны, в кругах консервативных, дворянских, к которым тут примыкает и 95 процентов духовенства (гитлеровцев тут, к счастью, почти нет и не было), с дру-

гой стороны, у дворянства политического... Вам известно, какую бурю вызвал визит Маклакова, — значит, Вы знали, на что идете... Мое личное мнение? Если Вы действительно решили уехать в Россию, то Вы были правы, — повторяю, там придется идти и не на то. В противном же случае я не понимаю, зачем Вы поехали к послу? Не знаю, заплатят ли Вам за книги, но если заплатят (что очень вероятно), то сделали бы это и без визита: ведь они Вас оттуда запросили **до** визита. Против того же, что Вы согласились на печатанье там Ваших книг (оставляю в стороне вопрос о гонораре), могут возражать только бестолковые люди: во-первых, Вашего согласия и не требовалось, а во-вторых, слава Богу, что Вас там будут читать. Как видите, я подхожу к этому делу практически. Что сделано, то сделано. Не слишком огорчайтесь (если это Вас вообще огорчает): раздражение со временем пройдет. Я делаю всё, что могу для его «смягчения». ... Ради Бога, решите для **себя** окончательно: возвращаетесь ли Вы или нет? По-моему, все дальнейшие Ваши действия должны зависеть от этого решения. ...»

Издание его произведений в России по многим причинам волновало Бунина. 30 января 1946 года он написал Н. Д. Телешову следующее: — «...может быть, еще есть время что-нибудь исправить в этом по-истине ужасном для меня деле с изданием 25 листов моих произведений... издание, о котором идет речь, есть, очевидно, **изборник** из всего того, что написано мною за всю мою жизнь, нечто самое существенное из труда и достояния всей моей жизни — и избрано без всякого моего участия в том (не говоря уже об отсутствии моего согласия на такое издание и о том, что оно лишит меня возможности переиздавать собрание моих сочинений на русском языке во Франции или в какой-либо другой стране, то-есть единственного источника существования в нашей с В. Н. старости и близкой полной инвалидности моей: дорогой мой, ведь мне 76-ой год идет!) Я горячо протестую против того, что давно издано **в Москве несколько моих книг...** без всякого гонорара мне за них... **особенно же горячо** протестую против этого последнего издания, того, о котором ты мне сообщил: тут я уже прямо в отчаянии... Я даже не знаю, известно ли в Москве, что в 1934-1935 г.г. вышло в Берлине в издательстве «Петрополис» собрание моих сочинений, в предисловии к которому ...

я заявил, что **только это издание** и только **его** тексты я считаю достойными. ...»[8]

Видимо, и Алданову писал Бунин в связи с советским изданием его вещей, т. к. в письме от 7 февраля 1946 Марк Александрович пишет: — «...Сочувствую в огорчении по поводу того, что советское издательство поступает так бесцеремонно. Но всё-таки я чрезвычайно рад, что Вас там выпустят в огромном числе экземпляров. ...»

Но Бунина этот вопрос волновал. В письме с обращением «Дорогие Вера Николаевна, Иван Алексеевич», от 27 марта 1946, Алданов успокаивает: — «...Напрасно Вы так огорчаетесь из-за этих изданий в России. Пушкин писал Бестужеву: «мне грустно видеть, что со мной поступают, как с умершим, не уважая ни моей воли, ни бедной собственности». Допустим, что подберут материал очень плохо, — а всё-таки это будет Бунин, и прочтет вся Россия, много лет Вас не читавшая. Нет, я на Вашем месте не огорчался бы. ...»

Но для Бунина это был вопрос большой важности, он хотел, чтобы Россия читала его в «достойных» текстах, да и нужны были деньги на существование. 6 мая 1940 Алданов спрашивает: «... Как же оказалось: будут ли Вас издавать в Москве или Вы «впали в немилость»?...»

Были ли приняты во внимание протесты Бунина или по каким-либо другим причинам, но предполагаемый «изборник» Бунина выпущен не был.

Были у Бунина и другие причины волноваться в то время. В русском литературном Париже шла острая политическая борьба. Из Союза Русских Писателей были исключены все взявшие советские паспорта. Алданов пишет об этом Бунину в письме от 6 мая 1946: — « ... Вы, по-моему, **отлично** сделали что не согласились стать председателем Союза писателей . ... Не напишете ли Вы, что такое там произошло? ... Вот мы в

---

[8] Очевидно, вопрос текстов был особенно важен для Бунина, т. к. в письме Телешову от 8 января 1947 (указ. соч. стр. 164) он пи-шет: « ... .пока спешу горячо просить тебя сказать Государств. изда-тельству: пусть издает из моих писаний *всё что угодно,* но выбирает *только* из собрания моих сочинений издания «Петрополис».

Значительно позже это же желание Бунин высказал в своем «Литературном завещании» — см. кн. 66 «Нового Журнала», стр. 169-170.

нью-иоркском фонде работаем дружно, хотя в Фонд входят люди разных взглядов. А у Вас, очевидно, будут теперь **два** союза? О Господи... Не входите, ради Бога, и во второй. ...»

Но Бунин не только не согласился стать председателем Союза писателей, но даже решил уйти из Союза. В письме от 3 мая 1948 Алданов пишет: — «...Вы мне сказали, причиной Вашего ухода была **односторонняя** нетерпимость Союза, т. е. исключение людей, взявших советские паспорта, при неисключении бывших друзей немцев. ...»

В письме от 1 июля 1946 Алданов пишет: — «...Теперь «много толков» ... вызывает история с паспортами. Я никому никаких советов давать не буду, но для меня, конечно, вопроса нет: я останусь эмигрантом. Политика вызывает у меня глубокое отвращение, но газеты я естественно читаю и хандра моя всё увеличивается. ...»

Осенью 1946 года наступил перерыв в переписке. Алдановы побывали в Париже. С февраля 1947 года переписка возобновляется — Алдановы уехали в Ниццу. А Бунин в Париже продолжал болеть. К другим болезням у него прибавилось и острое малокровие, врачи опасались белокровия. Алданов утешает больного (19.2.47): — «Дорогой друг! Только что получил Ваше письмо от 18-го. Я солгал бы Вам, если бы сказал, что оно меня не встревожило. Но меня **очень** успокаивает то, что когда-то, когда опасались перехода Вашего малокровия в белокровие, известный врач сказал о Вашем состоянии то же самое. А это было 25 лет тому назад. Бог даст, Вы скоро оправитесь совершенно. Но, ради Бога, не жалейте денег ни на леченье, ни на питанье. Я тотчас пишу Цетлиной, Зензинову, Николаевскому, чтобы Фонд дал Вам новую ссуду. ...»

Получив деньги, Бунин поехал отдыхать на юг в Жуан Лэ Пэн. Об этом он 1 апреля 1947 года писал Телешову:[9] — «...я, как видишь, нахожусь на берегу Средиземного моря, на курорте, несколько подобном нашему Гурзуфу... я приехал сюда, в русский дом отдыха, в надежде поправиться на солнце, на теплом воздухе, пролежал в постели в Париже целых три месяца: обострился мой застарелый бронхит, случилось со мной острое малокровие, увеличилась ужасная одышка от расширения ста-

[9] Указ соч. стр. 165.

рых легких, слаб я еще и до сих пор так, что с трудом делаю несколько шагов по комнате — и т. д. Приехал сюда один — с Верою не мог, не по средствам, — болезни мои разорили нас ужасно — жизнь у нас страшно дорога. ...»

На юге Бунин встречался с Алдановым. Вернувшись в Париж, Бунин стал опять жаловаться на здоровье, 28 июля 1947 Алданов ему пишет: — «...Вера Николаевна меня успокоила относительно Вашего здоровья, а Вы, дорогой друг, хотите опять меня расстроить! Ради Бога не говорите о Вашей «близкой смерти»: Вы мне этого не сделаете! Какова будет моя жизнь, если я Вас переживу? ...»

31 августа 1947 Алданов пишет: — «...меня чрезвычайно огорчило, что Вы себя считаете уже «откупавшимся». Что же ссылаться на вещи престарелого Льва Николаевича? Если они нехороши, то не от старости, а от того презрения к художественному делу, какое у него создалось в последние годы. Помните, что он между «Войной и Миром» и «Анной Карениной» написал слабую комедию «Нигилист», хотя тогда был в расцвете сил. В ту пору это объяснялось верно «тенденцией», — разоблачу-ка их, а для этого настоящее искусство не нужно; на старости это объяснялось «проповедью» — сделаю их добрее, а для этого настоящее искусство и не нужно. Однако некоторые несравненные главы «Воскресения» и «Хаджи-Мурата» были им написаны в старости. Но главное, скажу правду, я не понимаю, **чем** же Вы теперь живете, не в материальном, конечно, а в высшем смысле слова, если больше и писать не хотите. У Толстого было «толстовство», а что же у Вас? Я спрашиваю и только спрашиваю, потому что меня вопрос этот очень волнует. Если хотите сделать тысячам людей (больше же всего мне) великую радость, то пишите второй том «Жизни Арсеньева». А уж потомство рассудит, откупались ли Вы к 1947 году или нет. ...»

Видимо, именно на это письмо Бунин ответил словами, приведенными в предисловии М. А. Алданова к посмертно изданной книге Бунина «О Чехове»: — «А чем я живу теперь «в высшем смысле слова» — об этом очень трудно говорить. Больше всего, кажется чувствами и мыслями о том, чему как-то **ни за что не верится,** что кажется чудовищно-неправдоподобным, изумительным, невозможным, а между тем дьявольски-непреложным, — о том, что я живу, как какой-нибудь тот, к

которому вот-вот войдут в 4 ч. 45 м. утра и скажут: «Мужайтесь, час ваш настал. ...»[10]

На это Алданов ответил в письме от 12 сентября 1947: — «...Вы пишете, что живете мыслями о «час ваш настал». И я так живу, и, думаю, почти все немолодые или старые люди. Но именно поэтому ведь и надо что-то иметь еще: для Вас, по-моему, это «что-то» может быть только в художественной работе. Иначе уж слишком тяжело...»

Мысль о скорой смерти не оставляла Бунина, он стал интересоваться и судьбой своих писем[11] и запросил об этом Алданова, который 12 сентября 1947 ему отвечает:

«...Ваши письма у меня, разумеется, хранятся в особой папке — «для историка». Разумеется, в нормальной обстановке журналы рвали бы у моих наследников. Но теперь я ведь совершенно не знаю, что **будет** с моими бумагами. Вы, кажется, знаете, что я хранил у себя в Отей множество огромных ящиков с корреспонденцией за четверть века. В 1940 году всё досталось немцам и, конечно, навсегда пропало. Было там много и Ваших писем. Вы пишете от руки, т. е. без копий, да и чужих писем наверное у себя не храните, все выбрасываете? Как ни странно, я и после опыта с тем моим архивом опять всё собираю. Но очень серьезно подумываю, что пора бы найти какое-либо надежное место для всех наших... бумаг. ...»

Весной 1948 года Алдановы временно вернулись в Америку. Письма Алданова полны извещений о том, что там-то и там-то ему удалось получить для Бунина известное количество денег. 2 апреля 1948 года Алданов сообщает: — «...вчера я случайно встретился с одним добрым знакомым... он меня огорченно спросил: «Что же это, неужели Бунин стал большевиком? .. » Я ему немедленно изложил, как было дело. Он при-шел в ярость, вынул чековую книжку и тут же вручил мне чек на пятьдесят долларов, «с просьбой передать Ивану Алек-

---

[10] И. А. Бунин. О Чехове. Изд. имени Чехова. Нью-Йорк, 1955, стр. 20.

[11] Бунин особенное значение придавал судьбе своих писем и оставил опубликованное в кн. 66 «Нового Журнала» (декабрь 1961) «Литературное завещание», в котором просил не печатать его пи-сем « ... из них можно взять только кое-какие отрывки, выдержки — чаще всего ***как биографический материал***», стр. 172.

сеевичу, как дар, свидетельствующий о моем глубоком уважении к нему». ...»

Осенью 1948 года Алдановы опять вернулись в Ниццу, собирались туда и Бунины, просили Алданова найти им квартиру, но приезд отложили. За это время как будто улучшилось здоровье Ивана Алексеевича, да и дела временно поправились — устроенный в Париже вечер дал больше двухсот тысяч франков. Об этом Алданов пишет 5 ноября 1948: — «...Ваш вечер дал больше двухсот тысяч! Поздравляю, — это конечно, мировой рекорд, до которого никто в эмиграции дойти не мог бы...»

Алданов с Я. М. Цвибаком устроили в пользу Бунина сбор денег в Америке. 17 декабря 1948 Алданов сообщает: — «...вечером получил письмо от Цвибака с приятными для Вас новостями... Он начал — и очень успешно — кампанию по сбору денег для Вас. Сто долларов уже есть, еще сто обещаны твердо, и он надеется, что в течение зимних месяцев будет собирать по сто долларов ежемесячно: это только надежда и только на несколько месяцев... Однако люди ... те же, к которым мы обратились бы и для юбилея ... Яков Моисеевич **очень** Вас любит (а всё-таки я больше). ... Всё-таки, дорогой друг, теперь прошу Вас дать мне определенные инструкции. Мы с Цвибаком начнем подготовку юбилейного сбора. Для этого необходимы будут, думаю, даже заметки о подписке **в газетах**... Разрешаете ли Вы это или нет?... **Секретно** это сделать совершенно невозможно. ...»

Но гордость мешала Бунину пойти на предложение Алданова. 21 декабря 1948 Алданов пишет: — «Ради Бога, не говорите, что это «постыдное дело» и т. д. Во все времена — даже и в лучшие времена — знаменитейшие писатели часто не могли прожить своим трудом, и, от Горация до Гоголя и до наших современников, жили в значительной мере тем, что их друзья собирали для них деньги. Нет, умоляю Вас, не говорите таких вещей и напишите Якову Моисеевичу, чтобы он сбор продолжал... Если Вы не хотите юбилейного сбора, мы придумаем что-либо другое... Поверьте мне, ничего «постыдного» в сборе в Вашу пользу нет, и я сам мог убедиться в том, как Вас почитают люди, дающие деньги...»

Бунины побывали на Ривьере, уехали в мае. Алданов старается наладить регулярную денежную помощь Бунину через

владельца фирмы «Этам» С. С. Атрана. Вплоть до смерти последнего в 1951 году Бунин получал от него денежную поддержку.

Стало сдавать здоровье и Алданова — повысилось давление. О своем образе жизни он пишет в письме от 23 июля 1949: — «...Хочу похвастать. Сегодня я встал в шесть часов утра, вышел в 6.45 гулять и вернулся в 8.30. Был в старом порту. Решил делать это часто, — отчасти чтобы не случилось того же, что с бедным Тхоржевским, отчасти потому, что это единственное время для прогулок: днем слишком жарко, а вечером я уже так устаю, что гулять не могу. Но было **очень** приятно, юг в эти часы очарователен. Было бы еще приятнее, если бы можно было, как в прежние времена, заходить в бистро и у стойки выпивать по рюмочке, — но давление крови не позволяет. Вернувшись домой, как каждое утро, сел в холодную ванну, — врать не буду, сел всего минуты на три, в отличие от Чайльд Гарольда и Онегина, не «со льдом», — просто в холодную воду из-под крана, так как горячей нет. ...»

Этот рассказ, видимо, раздражил Бунина, у которого была эмфизема легких и удушье. 3 августа 1949 Алданов пишет: — «...Чрезвычайно, больше, чем могу сказать, Вы меня огорчили сообщением о том, как плохо себя чувствуете, особенно же словами о моей прогулке и Вашей «зависти». Я никак не думаю, что это состояние будет у Вас продолжаться. Быть может, оно связано именно с этой жарой? ... Вы **должны** писать. Я думаю, что и чувствовать себя Вы тогда будете лучше. Я понимаю. У меня мысли о смерти постоянные, с пятидесяти лет. У Державина есть стихи, и глуповатые, и очаровательные:

И смерть как гостью ожидает
Крутя задумавшись усы.

Такой человек, как Вы — конечно, Вы думали о смерти всю жизнь. — «Да, но это было не то, совсем не то!» А почему же уж **совсем** не то? Мне еще недавно врач по поводу Вас сказал: «ни от эмфиземы, ни от астмы, ни от геморроя не умирают». Значит, всё-таки главное сводится к тому, что **радостей** жизни становится всё меньше. Это так. Ну, что-ж, надо себе доставлять те, которые еще остаются. ...»

Осенью 1949 года Алданов побывал в Италии. Об этом он

пишет в письме от 21 октября 1949: — «...Я вернулся из Италии, где пробыл всего неделю... Очень приятно было опять увидеть Милан, Флоренцию, Сиенну. Мы с Т. М.[12] в 1938 году поехали в Италию «прощаться» с ней перед ожидавшейся войной. До того я был в Италии и в 1913 году. Как бы эта поездка не оказалась новым прощанием! В окрестностях Донго ... я с трудом нашел... дом, в котором Муссолини провел свою последнюю ночь. (Дом, около стены которого он был убит, всем известен). В этой комнате я провел с хозяйкой, очень простой женщиной Бордоли, с полчаса, и ее рассказ, особенно жуткий на этом месте, у двери, через которую вошли убийцы, был бы для меня чрезвычайно полезен... если б я уже не напечатал в свое время по-русски в «Н. Р. Слове», а потом в английской книге рассказов, тот свой рассказ «Номер 14», где всё это описано: в общем я описал обстановку довольно верно, но были и неточности... Дом совершенно средневековый и просто страшный, даже независимо от того, что там тогда произошло. ...»

В письме от 19 марта 1950 Алданов пишет: — «...Мое впечатление от Ваших последних писем: то большая, необыкновенная радость — от того, что Вы пишете об «Истоках»... то очень большое, чрезвычайное огорчение — от того, что Вы сообщаете о себе. ...» Однако, в следующем письме Бунин, видимо, прислал Алданову какие-то юмористические стихи, и Алданов отвечает (27 марта 1950): — «... Вы вдвойне меня обрадовали: и тем, что Ваши стихи так остроумны и хороши, и тем, что Вы, очевидно, повеселели. Слава Богу!..»

Опять Бунины собирались на юг, но отъезд пришлось отложить. В здоровье Ивана Алексеевича наступило ухудшение. «Дорогие друзья», — пишет Алданов 13 апреля 1950 — «Мы огорчены тем, что Вы, милая Вера Николаевна, сообщаете о режиме, предписанном Ивану Алексеевичу... меня посадили на еще худший режим. Худший потому, что мне запретили и вино, и даже кофе, а Вы о вине ничего не сообщаете. Неужели яйца и молоко запрещены, а вино разрешено? Соль мне тоже запрещена, но о ветчине доктор, очевидно забыл мне сказать, и я этим пользуюсь. Конечно, Вы хорошо сделали, что отложили отъезд. ...»

[12] Татьяна Марковна Ландау — жена М. А. Алданова.

Бунину становилось всё хуже, у него началась бессонница. Ухаживающие за ним Вера Николаевна и Л. Ф. Зуров сбились с ног. 17 апреля 1950 Алданов спрашивает: — «...Почему же Вы, дорогой друг, окончательно превратили ночь в день? Разве уж никак нельзя править корректуру днем? Думаю, что в дневные часы Вы спите хуже и меньше, чем следовало бы. ...» 17 июля 1950 он справляется: — «...Как Ваше здоровье? Ослабели ли ... боли? Идет ли кровь? Спите ли? А Вы, милая Вера Николаевна?..»

Зимой Алданов опять за океаном. Он налаживает, между прочим, юбилейный сбор денег для Бунина, устраивает юбилейный вечер. 20 марта 1951 он пишет: — «... Вечер Ваш состоится либо 25 марта, либо 2 апреля... Программа: Артист Зелинский... читает «Ночлег» и еще несколько Ваших старых небольших рассказов... Артистка Лариса Гатова читает Ваши стихи... Мое слово о Вас... Большие доклады о Вас Тартака и Веры Александровой... Денег **это** не даст... Относительно денег, **кажется,** будет для Вас приятный сюрприз...»

26 марта 1951 Алданов извещает о состоявшемся вечере (на обороте письма автограф Бунина: «О вечере 25 марта»): — «...Пишу Вам..., чтобы сообщить о вчерашнем вечере в Вашу честь. Он сошел превосходно. Зал на 470 мест был совершенно переполнен. Настроение было именно такое, какое требовалось. **Все** говорили о Вас исключительно в самых восторженных выражениях: Вейнбаум, я, Тартак, Александрова (в порядке наших выступлений) ...**кажется** несмотря на дорогой зал, останется чистой прибыли долларов 50-60... Вейнбаум вчера подтвердил мне, что теперь начнет писать свои письма о пожертвованиях в Вашу пользу. ...»

В следующем письме (от 30 марта 1951), на обороте которого почерком И. А. Бунина написано: «О вечере 25.III», Алданов пишет: — «...Конгресс защиты свободы и культуры... Мы просили о тысяче долларов и она была... **почти** обещана. Сегодня принято их американским исполнительным бюро решение немедленно послать Вам сто тысяч франков. ... это **никак** не значит, что они вместо тысячи долларов дали Вам триста: они обещали, что и остальное будет Вам дано в ближайшие месяцы. ... В «Н. Р. Слове» вчера появился отчет о Вашем вечере. Должен сказать, что мое «слово» о Вас там переврано и очень плохо изложено. ...»

Летом 1951 года в Америке было основано Издательство имени Чехова. Это, естественно, явилось радостью для эмигрантских писателей. 16 июля 1951 Алданов, в последнем письме из Нью-Йорка перед возвращением во Францию, пишет: — «...Сегодня я имел второе и последнее свидание с новым директором Чеховского издательства... Это Николай Романович Вреден... Он подтвердил, что принимает все три Ваши книги и будет выпускать по одной в год. Условия — лучше желать нельзя. Платить будут 1.500 долларов за книгу. ...»

Но явились непредвиденные затруднения — Бунин, видимо, поставил издательству ультиматум, чтобы его книги печатались по старой орфографии. Алданов 14 сентября 1951 пишет Вере Николаевне: — «...Не могу Вам сказать, как я удручен тем, что произошло... У меня еще есть маленькая... надежда на то, что совершенно справедливый довод Ивана Алексеевича подействует: действительно, без твердых знаков старая орфография размера книги не увеличивает. Верно и то, что Ди-Пи отлично могут читать по старой орфографии. Все остальные доводы И. А-ча никак на них подействовать не могут: вполне возможно, что наборщиков, знающих старую орфографию, больше нет. ... слово «Бог», конечно, будут печатать с большой буквы, как и все в Америке. И само собой разумеется ... не заменили бы слова «Петербург» словом «Ленинград» ... Но я очень боюсь, что Вреден даже не имеет возможности снова поднять ... вопрос об орфографии ... Что же Вы тогда будете делать? Ведь, помимо прочего, это был бы для Вас обоих кусок хлеба до конца дней каждого из Вас... Я ни в коем случае не хочу волновать дорогого Ивана Алексеевича. Конечно, это самое важное. Поэтому пишу не прямо ему, а Вам. ...»

Следующее письмо обращено к Ивану Алексеевичу (21 сентября 1951): — «...Что теперь делать? Вы написали Александровой, что подумаете. Решите вопрос возможно скорее. Я как раз сегодня получил длинное письмо от Вредена. Он говорит, что они хотели «Жизнь Арсеньева» напечатать **первой** книгой, с нее начать свою издательскую деятельность, — 'но Бунин взял ее назад'...»

Бунин пошел на уступку и «Жизнь Арсеньева» была всё же издана первой книгой Чеховского издательства и Бунин, видимо, остался доволен. «...Так «Жизнь Арсеньева» издана

хорошо? Это очень приятно. Неужели и опечаток немного...» — пишет Алданов в письме от 19 марта 1952. А 30 июня 1952 он сообщает: — «...сегодня утром я получил сразу с трех сторон известие, чрезвычайно меня обрадовавшее: Чеховское издательство решило допечатать еще немалое количество .... экземпляров **«Жизни Арсеньева»**! ... Это даже не успех «Жизни Арсеньева», а триумф! ...»

Но Бунину было не до триумфа, прекратилась субсидия Атрана, и он на это болезненно реагировал, как вообще на все неприятности в эти последние годы своей жизни.

«...Почему это **так** огорчило Вас?» — спрашивает Алданов Веру Николаевну в письме от 7 июля 1952 — «что Вы отказываетесь от ванны? Ведь Вы теперь обеспечены на год: нельзя, по-моему, сомневаться в том, что Вы от Чеховского издательства получите более миллиона франков... Теперь Ваше материальное положение недурное. Но меня очень тревожит, что Вы оба хотите остаться в Париже всё лето. ...»

Но положение Чеховского издательства было не особенно верным. 21 июня 1953 Алданов (опять поехавший в Америку) извещает: — «... Приятное: 1) никто в Чеховском издательстве не сомневается, что Фордовская организация осенью ... даст еще деньги, так что издательство будет существовать и в 1954 году. ...Неприятное: 1) Теперь денег у них нет и «до осени» они **ни с кем** новых договоров подписывать не могут. ... 2) Старых книг, т. е. уже вышедших отдельным изданием, они ни у кого больше принимать не будут **кроме Вас**. ...»

Последние письма Алданова к Бунину почти **исключительно посвящены** Бунинским делам с Чеховским издательством, вопросу об издании книги о Чехове, книги рассказов, пособию из Литературного Фонда.

8 ноября 1953 года Иван Алексеевич Бунин скончался. 18 ноября 1953 Алданов писал из Ниццы Вере Николаевне: — «...Очень нас взволновало Ваше письмо. С ужасом представляю себе, какую ночь Вы тогда провели? Не буду писать об этом. ...»

2. «НОВЫЙ ЖУРНАЛ». ЛИТЕРАТУРА

Будучи одним из основателей «Нового Журнала», Алданов, естественно, принимал живейшее участие в дальнейшей судьбе этого издания. Не могло не интересовать это и Бунина.

Судьба «Нового Журнала» во время войны висела на волоске — никогда не было известно, будет ли возможность выпустить следующую книгу.

В конце войны в письме (от 2 марта 1945) Алданов сообщает: — «...«Новый Журнал» по-прежнему издается: уже вышло девять книг по 400 страниц каждая, — и ... мы очень, очень просим Вас посылать нам Ваши произведения... Редакторы: проф. М. Карпович и Михаил Осипович,[13] — я им помогаю советами, но ближайшего участия в редакционной работе не принимаю. ...»

Вскоре после окончания войны «Новый журнал» частично перешел на новую орфографию. Как Бунин, так и Алданов новую орфографию не признавали. В этом отношении характерно письмо Алданова от 27 августа 1945: — «...Прежде всего не удивляйтесь, что я пишу по новой орфографии: моя машинка в починке, мне дали вместо нее на неделю другую. В «Новом Журнале» черезполосица введена потому, что Цетлиных уверили, будто тираж увеличится вдвое, если редакция согласится на новую орфографию: «Вас будет читать молодежь». Мы нашли компромисс: я, Мих. Ос., еще кое-кто печатаются по старой, а большинство сотрудников предпочитают новую. Разумеется, Вас и Зайцева будем печатать не иначе, как по старой. Кстати, черезполосица тиража совершенно не увеличила. Но, кажется, во всем мире теперь по старой орфографии печатаемся только мы. ...»

Насколько серьезно относился к вопросу орфографии Бунин, показывает его конфликт с Чеховским издательством, относительно «Жизни Арсеньева» когда он, в 1952 году, находясь в чрезвычайной нужде, всё же требовал, чтобы его печатали не иначе, как по старой орфографии.

После смерти М. О. Цетлина единоличным редактором «Нового журнала» стал М. М. Карпович. Алданов пишет (23 ноября 1945): — «...я хочу поскорее отойти совсем, так как журнал меня замучил. В первое время буду помогать Михаилу Михайловичу. ...»

Переехав во Францию, Алданов отошел от редакции журнала совсем, оставаясь только его сотрудником. В письмах этого времени много интересного материала относительно ве-

---

[13] М. О. Цетлин.

щей как Бунина, так и самого Алданова, много высказываний о литературе вообще. Общее впечатление такое, что Алданов стал теперь свободнее высказывать свое мнение о произведениях Бунина, позволяя себе даже легкую критику.

Еще во время войны Бунин, по просьбе Алданова, переслал ему в Америку рукопись «Темных аллей». Прося прислать ему рукопись (1 февраля 1941) Алданов предупреждал: — «...ради Бога: помните о существовании в С. Штатах законов! (Это относительно сюжета)...» Получив рукопись, Алданов пишет (2 августа 1941): — «...Ваши рассказы я получил и страшно Вам благодарен. Они чудесны, от многих я в полном восторге. Но смелый Вы человек, дорогой Иван Алексеевич! Ведь ругать Вас за вольность некоторых сцен будет всякий кому не лень; будет говорить: «порнография», «лавры автора лэди Чэттерлей» ... и т. д. ...»

29 июня 1942 Алданов опять пишет о «Темных аллеях»: — «...Хотите ли Вы... издать «Темные Аллеи»? ... Не скрою, что без небольших сокращений некоторые Ваши рассказы здесь выпущены быть **не могут** ...» Что это раздражало и сердило Бунина, видно из того, что последняя фраза отчеркнута его красным карандашом. Он высоко ценил «Темные аллеи». В одном из своих писем Н. Д. Телешову (от 1 апреля 1947 г.) Бунин писал: «...не смущайся ее некоторыми смелыми местами — в общем она говорит о трагичном и о многом нежном и прекрасном, — думаю, что это самое лучшее и самое оригинальное, что я написал в жизни, — и не один я так думаю. ...»

О дальнейшей судьбе «Темных аллей» Алданов сообщает в письме от 23 марта 1945: — «...Прежде всего, «Темные аллеи». Согласно Вашему указанию, я передал их Цвибаку. Они были изданы. Но ... могу Вас уверить, — мы спросили адвоката, — **некоторые** Ваши рассказы **не могут** быть здесь напечатаны: на издание был бы немедленно наложен арест с преследованием. Поверьте, я не шучу... Мы советовались, советовались, и приняли предложение разделить Вашу книгу на два тома. Издали том первый и сказали в заметке от издательства, что второй том выйдет позднее. Добавили, что с Вами издательство не имело возможности снестись и что Вы не несете ни малейшей ответственности за раздел и за корректуру (хотя она была тщательная). Никаких русских издательств в Америке нет. Мы достали немного денег у «меценатов» (взаймы),

чтобы выпустить этот первый том «Темных Аллей». ... Само собой разумеется, все права на «Темные Аллеи» остаются полностью за Вами: меценаты только потребовали, чтобы им вернули их расходы, если продажа покроет эти расходы и аванс в сто долларов. Пока они их не получили. Так как Вы написали еще ряд рассказов той же серии, то оно, может быть, к лучшему: Вы можете издать второй том, и переиздать первый, которого в Европе и на Дальнем Востоке никто не видел... Не проклинайте нас за раздел, — что же нам было делать? ...»

30 мая 1945 Алданов сообщает: — «...Послана Вам с оказией и по почте Ваша книга —Темные Аллеи»... Попытки мои устроить эту книгу у Кнопфа и у Скрибнера ни к чему не привели: оба издателя ответили, что сборники рассказов никогда в Америке не шли хорошо, а теперь совсем не идут. ...»

Про себя Алданов пишет кратко в письме от 29 июня 1945: — «...Кроме «Истоков» я ничего не пишу. А что пишете Вы? ...»

Бунин следил за литературной деятельностью Алданова, т. к. в письме от 2 октября 1945 Алданов пишет: — «...Еще раз от души Вас благодарю за отзыв об «Истоках», столь мне дорогой. Вы правы, всего хуже Мамонтов. Теперь будут главы в цирке и во французском замке. Помните, я когда-то ездил в гости в замок Легранж, к графу де Ластейри, потомку Лафайета. Замок написал прямо с этого Легранжа, где я гостил два дня. ...»

С Буниным бывало нелегко, но Алданов теперь чувствовал себя с ним независимее. Вот письмо, которое, вероятно, раздражило Бунина (хотя никаких подчеркиваний на нем нет). 14 октября 1945 Алданов между прочим пишет: — «...Вы не очень довольны тем, что Мих. Ос. отдал «Новоселью» «Мадрид» и «Второй Кофейник». Скажу Вам правду: Михаилу Осиповичу очень не хотелось сохранить имена Шаляпина и Коровина. Он (как и я) не сомневается, что Марья Валентиновна обидится. Между тем Вы написали, что эти рассказы должны идти не иначе, как вместе. Мих. Ос. серьезно болен... и я ничем его огорчать не хотел бы. Госпожа Прегель[14] соглашалась оставить имена (кроме доктора Голоушева). Вы говорите, ничего обидного нет ... О Глаголе же было и обидное («пустил

[14] С. Ю. Прегель, редактор журнала «Новоселье».

по рукам»). Не сердитесь на меня, я не мог спорить с Мих. Ос-чем и потому, что в душе с ним был согласен. ...»

23 ноября 1945 Алданов опять пишет о себе: — «... «Могила Воина» наднях вышла у Скрибнера. Рецензии — к полному моему изумлению — превосходные, кислая была только одна... Получаю немало приглашений к разным особам... Вас бы здесь на руках носили. ...» В конце этого же письма Алданов прибавляет: — «...Что мне делать, когда кончу «Истоки» — не знаю. Заработок мне необходим. Если «Могила Воина» даст совсем мало, я приду в уныние. Писать для заработка мне очень не хочется. ...»

В это время в Америке готовилось художественное издание «Речного Трактира» Бунина. 26 декабря 1945 Алданов пишет: — «...Рассказ выйдет дней через десять. Мы напечатали 1.000 экземпляров... «Речной Трактир» и в журнале всех приводит в восторг, даже Ваших нынешних политических врагов: у нас ведь есть читатели **всех** взглядов... Мое личное мнение. самое лучшее из всего того, что Вы напечатали в «Новом Журнале», это «Таня», потом «Натали» и «Генрих». Но **всё** решительно превосходно, никто так не напишет. Описание Волги в «Речном Трактире» и трактира — верх совершенства. ...»

В письме от 7 февраля 1946 Алданов справляется: — «...Получили ли Вы 11-ую книгу «Нового Журнала»? Я там зáмок писал с Шато де Лагранж, где гостил у де Ластейри. А цирк писал с бродячего американского цирка, к которому два с лишним года тому назад пристал... (не выходил из цирка, из поезда артистов, палаток и т. д.). Говорю это потому, что Вы терпеть не можете «выдумщиков». ...»

В конце этого письма он спрашивает: — «...Кстати, не сохранилась ли у Вас копия нашего с Вами сценария из жизни Толстого, по «Казакам»? Моя была увезена Гестапо со всей моей библиотекой, рукописями, тетрадями, письмами... Хотя шансов очень мало и связей у меня в Холливуде нет, но можно было бы попытать счастье? ...»

С рассказами из цикла «Темных аллей» сплошь да рядом бывали затруднения. 6 мая 1946 Алданов пишет: — «...Большое спасибо за «Галю Ганскую». Рассказ чудесный. Карпович умоляет Вас о разрешении выпустить три строчки (о поцелуях по ножке, от чулочка...). Не скрою от Вас: редакция «Нового Журнала» получала письма с протестами против «эроти-

ки» и отдельных слов в Ваших рассказах!!! Одно пришло от ученого... «Как же можно? У меня жена» и т. д. Мы не ответили. Со всем тем Карпович, разумеется, не настаивает: если не хотите, оставьте эти три строчки. Рассказ уже набран, но еще не сверстан. ...»

Иногда Алданов делится с Буниным впечатлением о прочитанных книгах. Так 28 июля 1947 он пишет: — «...Перечитываю классиков, чтобы отдохнуть от немецких философских книг, которых прочел за последние полтора года видимо-невидимо.... По-моему, «Соборяне» слабая вещь, а «Некуда» просто негодная. Но вот в «однотомнике» есть настоящие шедевры. Я в первый раз в жизни прочел «Разбойник». Читали ли Вы? Рассказ написан без малого сто лет тому назад, а из него, думаю, вышел Чехов, в частности «Степь», одна из самых моих любимых вещей. Очень неровный и странный был писатель Лесков. Перечел и Аксакова, — он изумителен. Теперь собираюсь перечесть всего Гончарова и **всего** Бунина, хотя, кажется, и Вас, и Гончарова знаю хорошо. ...»

А Бунин в это время, видимо, читал книгу советского литературоведа Ермилова о Чехове,[15] и возмущался, чем поделился и с Алдановым. В письме последнего от 4 августа 1947 сказано: — «...Цитаты повыдергивать Ермилов мог, но уж какой Чехов был большевик! Он был «правый кадет» и если бы дожил до революции, то писал бы в «Совр. Записках» и в «Последних Новостях», ходил бы с нами в Париже в рестораны, а в Москве Ермиловы другими цитатами доказывали бы, что он белобандит. Или вернее не писали бы о нем ни слова, и его книги там не издавались бы. ...»

Из Ниццы в августе 1947 года Алданов написал Ивану Алексеевичу два интереснейших письма. 22 августа 1947: — «...Едва ли не самая лестная рецензия обо мне на русском языке за всю мою жизнь была написана именно несчастным генералом Красновым. Он писал о моих **романах** и политики совершенно не касался. Не упомянул даже о моем не-арийском происхождении. Впрочем, это было еще до прихода Гитлера к власти... Самое изумительное, по-моему: «Хорошая жизнь» и «Игнат». Но какой Вы (по крайней мере тогда были) мрачный писатель! Я ничего безотраднее этой «Хорошей Жизни» не

---

[15] См. И. А. Бунин. «О Чехове». Нью-Йорк, 1955, стр. 377-378.

помню в русской литературе... Это никак не мешает тому разнообразию, о котором Вы мне совершенно справедливо писали. Да, дорогой друг, немного есть в русской классической литературе писателей, равных Вам по силе. А по знанию того, о чем Вы пишете, и вообще нет равных: конечно язык «Записок Охотника» или Чеховских «Мужиков» не так хорош, как Ваш народный язык. Вы спросите: «откуда ты, старый дурак и городской житель, можешь это знать?» Я не совсем городской житель: до 17 лет, а иногда и позднее, я каждое лето проводил в очаровательной деревне Иванково, где был сахарный завод моего отца, с очаровательным домом, парком и заросшей рекой. (Позднее, окончив гимназию и став «большим», начал ездить заграницу, а с 1911 в этом раю не бывал совсем). Но эта деревня была в Волынской губернии, т. е. в Малороссии. Великорусской деревни я действительно не знаю, — только видел кое-что, как Ясную Поляну в 1912 году. Однако писатель **не может** не чувствовать правды, и я понимаю, что нет ничего правдивее того, что Вами описано. Как Вы всё это писали **по памяти,** иногда на Капри, я просто не понимаю. По-моему, сад, усадьбу, двор в «Древнем Человеке» можно было написать только на месте. Были ли у Вас записные книжки? Записывали ли Вы отдельные народные выражения (есть истинно чудесные, отчасти и по неожиданности, которой нет ни у Тургенева, ни у Лескова в его **правдивых,** а не вымученных со всякими «мелкоскопами» вещах). ...»

Это письмо, видимо, вызвало длинный ответ Бунина, на который Алданов, в свой черед, отвечает письмом от 31 августа 1947: — «...Раза три прочел Ваше длинное письмо. Вдруг когда-нибудь, когда мы оба уже будем пить нектар в **тех** Елисейских полях (а лучше бы подольше в **этих** и не нектар, а что-либо более знакомое и проверенное), вдруг это письмо будет напечатано, — кем? где? когда? Что скажет критика? Думаю, она удивится: почему И. А. Бунин точно огорчался от вопроса, писано ли им хоть что-либо с натуры? Мне казалось, что как бы замечательна ни была Ваша глазная память, Вы кое-что в русском пейзаже должны были записать на месте. Ведь так же делали и все великие художники: и пейзажисты, и портретисты, — писали с натуры, хотя у них зрительная память должна быть потрясающей. То же относится и к необычным, неожиданным народным выражениям, — я думал, что Вы

их иногда записывали. Сколько ведь таких записей осталось от самых больших писателей. И Толстой записывал, как записывал он и другое, вроде тени орла на скале (для «Хаджи-Мурата»). Как бы то ни было, результатов Вы достигли изумительных, непревзойденных и **как** Вы их достигли, это ведь и не так важно. Зато меня чрезвычайно огорчило, что Вы себя считаете уже «откупавшимся»...»

В это время готовилось издание «Истоков», о них Алданов пишет в том же письме от 31 августа 1947: — «...Я не сомневаюсь, что книга провалится, так как американцам совершенно не интересны Александр, народовольцы и т. д. ...» Был ли Алданов вполне искренен в самокритике — судить трудно. В письме от 12 сентября 1947 он пишет: — «...Рассказ «Астролог» Вы напрасно хвалите в кредит. Я его испортил тем, что с самого начала взял какой-то неправильный, немного иронический тон. Итальянский мой рассказ будет, кажется, лучше. ...» Дальше он прибавляет: — «...Работаю очень много. Никогда, кажется, так много не читал и не писал. Это одна из причин, почему мне очень не хочется уезжать в Америку. Ницца — чудесное место. ...»

Но иногда Алданов торжествовал. Так в письме от 9 марта 1948 он победоносно сообщает: — «...Вчера вечером, вернувшись домой, нашел в ящике письмо от своих американских издателей. Они получили из Калькутты предложение издать «Истоки» на бенгальском языке! «Бенгальцы» предлагают всего пять процентов, — но издатель... весело пишет, что надо принять «хотя бы из любопытства»: отроду бенгальских переводов не продавал. Я уже ответил согласием... Это мой двадцать четвертый язык. Когда будет двадцать пятый, угощу Вас шампанским. Вы верно за 25 языков перевалили? После смерти Алешки,[16] «Правда» сообщала, что он переведен был на 30 языков, — но из них, кажется, десять были языки разных народов СССР. ...» А в следующем письме (2 апреля 1948): — «...У меня успех в Англии· «Истоки»... Бук Сосайети; но масштабы в Англии неизмеримо меньше, чем в американском Бук оф зи Монс, да и денег оттуда, боюсь, не выцарапаешь...»

В письме от 16 января 1950, после долгого перерыва,

[16] А. Н. Толстой.

опять беседа на литературные темы: — «...Статья[17] поразительная по яркости и силе. Совершенно согласен с Вами в том, что Вы говорите о «Скифах», на три четверти согласен с Вашим отзывом о «Двенадцати», но думаю, что Вы не должны были говорить о **продажности** Блока («решил угодить»): продажным или угодничающим человеком он не был, а просто, при всей своей талантливости, ничего не понимал. Думаю, что Ваша статья произведет, по газетному выражению, «впечатление разорвавшейся бомбы», — но ведь Вы на это шли... Кстати, я прочел снова некоторые книги Ал. Толстого. Некоторые — совершенный вздор, как например, «Голубые Города» или «Рукопись найденная под кроватью». Очень не понравился мне и «Хромой Барин», имевший такой успех: это не очень хорошая подделка частью под Достоевского, частью под Чеховский рассказ «Черный Монах». Но в первом томе «Петра» виден очень большой его талант «многое там превосходно. Второго тома не могу достать. ...»

Письмо от 26 февраля 1950 посвящено «Истокам»: — «...Рад, что Вы тотчас по выходе получили «Истоки»... я в душе надеюсь, что некоторые (немногие) сцены Вам, быть может, и в самом деле понравятся: операция со смертью Дюммлера и цареубийство. Всё же это наименее плохая по-моему, из всех моих книг ... Нехорошо вышло только посвящение. Именно потому, что мне «Истоки» кажутся наименее слабым из всего, что я написал, я решил посвятить эту книгу Тане. Писать «моей жене» или как-нибудь так — не мог: это одновременно и сухо и для постороннего читателя слишком интимно. Решили поставить одну букву «Т» ... вышло как-то незаметно... А вот, еслиб можно было бы при помощи каких-нибудь рентгеновских лучей прочесть то, что Вы действительно думаете? Вы понимаете, что Ваше мнение значит для меня **гораздо** больше, чем мнение **всех** других людей ...»

Но «Истоки» Бунину понравились («...большая, необыкновенная радость от того, что Вы пишете об «Истоках»...» — 19 марта 1950), и Бунин стал перечитывать «Пещеру», о чем Алданов жалеет. 13 апреля 1950 он пишет: — «...Но мне жаль, что Вы читаете после «Истоков», «Пещеру», которая гораздо

[17] Отрывки из «Воспоминаний Бунина».

хуже и просто плоха. Я в свои старые книги просто боюсь заглянуть ...»

17 июля 1950 Алданов возвращается к старой теме — о «Жизни Арсеньева»: — «...Какой шедевр Ваша «Жизнь Арсеньева»! Перечитываю в четвертый или в пятый раз. И как Вам не совестно, что не написали и не пишете продолжения! Помните, что еще не поздно. Только работа и поддерживает человека. А к слову надо сказать правду: жизнь, которую Вы описывали, была очень счастливой — не для всех конечно, но для очень многих. Да и крестьянам и беднякам жилось в России много лучше, чем теперь. ...»

9 октября 1950 Алданов пишет: — «...Не отвечал Вам, так как хотел сначала прочесть «Воспоминания». Я почти всё читал в газете, и всё же впечатление чрезвычайно сильное. Книга бесстрашная — и страшная. Написана она с огромной силой. Люди, ругающие ее, лучше сделали бы, если бы точно указали, **что** в ней неправда! Я же могу только поставить Вам вопрос: нужно ли говорить **всю** правду? ... В связи с Вашей книгой хотел бы сказать Вам следующее. Я наднях послал «Новому Р. Слову» отрывок о смерти Бальзака (из моей еще не появившейся повести. Это повесть о смерти). И вот там есть страница о великих писателях **вообще.** Кажется, ничто мне никогда не давалось так тяжело, как эта страница: я два раза вырезывал ее из рукописи и два раз вклеивал опять! Там вопрос: есть ли великие писатели, не служившие никакой идее? простите пошлые слова, — я огрубляю. Вы понимаете, что я говорю не о том, что писателю надо быть меньшевиком или народником! Но я пришел к выводу, что Бальзак был единственным большим писателем, никакой идее не служившим. Проверял себя и проверяю. В русской литературе, конечно, Толстой, Достоевский, Гоголь, Тургенев «служили» (самому неловко писать это слово, но Вы меня поймете не в опошляющем смысле). Однако служил ли Пушкин? Служил ли Чехов и Вы? Я ответил себе утвердительно: да служили. Чему именно? Какой идее? Если б такие слова не были невозможны и просто непроизносимы, я ответил бы, что и Пушкин, и Чехов, и Вы служили «добру и красоте». Вязнут слова, но по-моему это **так.** И с этой точки зрения я рассматриваю и Ваши «Воспоминания». Они жестоки, но и «Что такое искусство» было тоже

очень жестоко, — у Толстого это сглаживалось тем, что писал он преимущественно об иностранцах».

Зная начитанность Алданова, Вера Николаевна иногда справлялась о его мнении об иностранных авторах. Так 14 ноября 1950 Алданов ей отвечает: — «...Вы спрашиваете, милая Вера Николаевна, о Фаулкнере и Ресселе, получивших нобелевскую премию. Оба очень талантливые люди. Первый (беллетрист), быть может, самый мрачный писатель в современной мировой литературе. Граф Рессель ... — замечательный философ. У меня в Нью-Йорке есть почти все его книги, — я покупал и изучал. ...»

Видимо, Бунин писал что-то Алданову о своих взглядах на поэзию, т. к. 19 марта 1952 года Алданов пишет: — «...Он[18] в восторге от Ваших стихов ... Что-же делать, они все уверены, от Ремизова до Терапиано, что самое высокое и важное в литературе было это самое: Блок, Ремизов, Брюсов, петербургские «башни», московские салоны, «акмеизмы», «символизмы» и разные «откровения» вроде тех, о которых серьезно и очень подробно рассказывал талантливый и ненормальный Белый. (Его воспоминания много интереснее и его романов, и его стихов). Всё же мне кажется, что **после Ваших воспоминаний** уже не совсем так, как недавно, пишут, по крайней мере, о «Двенадцати» и «Скифах». Я же эти два шедевра всегда считал отвратительными и написал это о «Двенадцати» очень кратко в моей конфискованной книге «Армагеддон» (очень плохой) еще при жизни Блока...»

ПИСЬМА ВДОВЕ БУНИНА, ВЕРЕ НИКОЛАЕВНЕ

Печальный период подведения итогов — болеет Алданов, стареет Вера Николаевна. Из переписки почти совсем исчезают литературные и отвлеченные темы.

Еще при жизни Ивана Алексеевича поднялся вопрос об его архиве. Алданов усиленно уговаривал Бунина продать архив в Колумбийский университет, но Бунин отказался. Дальнейшая судьба Бунинского архива, как и находившихся в нем писем самого Алданова, является темой нескольких писем — особенно двух последних писем Алданова, написанных незадолго до его смерти.

———

[18] М. Карпович.

7 декабря 1953 Алданов пишет: — «...Всё это время перечитываю книги Ивана Алексеевича, а также его (и Ваши) письма ко мне. Обычно после этого иду к буфету и выпиваю для **некоторого** успокоения большой глоток коньяку. У меня есть письма только с 1940 года, всё старое досталось немцам. Да и между 1942 и 1945 г.г. письма ведь не доходили. Иван Алексеевич писал пером, без копий. Значит, его писем ко мне за двадцать лет с начала эмиграции до войны больше нигде нет. Это огромная потеря. Не знаю, сохраняли ли Вы мои письма...»

15 февраля 1954 Алданов возобновляет вопрос об архиве — видимо, этот вопрос его серьезно волновал. Свой архив он передал Колумбийскому университету. Для Веры Николаевны же представилась непредвиденная возможность исполнить желание покойного Бунина, чтобы его архив, рано или поздно, но хранился в России. Советские литературоведы засыпали Веру Николаевну письмами. Заинтересовались они и рукописями. Вера Николаевна стала понемногу передавать архивные материалы в Россию.

Естественно, что Алданова в особенности интересовал вопрос о судьбе написанных им Бунину писем. Но Вера Николаевна писем Алданова в Россию и не собиралась отсылать, она еще раньше наводила справки о возможности передачи Алдановских писем в Эдинбургский университет.

1 февраля 1957 (последнее письмо) Алданов пишет: — «...Таким образом всё в порядке. ... Уверен, что Вы меня переживете, но моих писем и тогда ни в коем случае большевикам не отдадите. Кстати, сохранились ли они у Вас? Ведь их было верно до тысячи, если не больше: считая за многие годы по одному письму дней в восемьдесят. Очень хотелось бы их перечесть, ведь вся моя жизнь в эмиграции прошла с Вами и с покойным Иваном Алексеевичем. Если сохранились, попрошу Вас дать их мне в Париже ...»

Усиленно побуждал Алданов Веру Николаевну написать биографию Ивана Алексеевича. В письме от 5 марта 1954 он пишет: — «...Хочу Вам сделать одно предложение, которое по-моему много важнее вечеров. Очень советую Вам написать биографию И. А-ча. Вы лучше всех знаете его жизнь, знаете то, чего никто не знает **и не будет** знать. Поэтому это гораздо важнее, чем все статьи о нем и тем более, устные доклады с

общими местами. Это была бы долгая работа. Она будет Вам приятна. Судя по нынешнему положению, далеко нельзя сказать с уверенностью, что Чеховское издательство издало бы эту книгу. Может быть, оно вообще больше ничего покупать не будет... мы могли бы объявить предварительную подписку... Несколько глав наверное напечатало бы «Новое Русское Слово». Теперь же вся Ваша энергия и силы уходят на вечера. Что в вечерах? Что от них остается? (а статьи об И. Ал. будут писаться всегда). **Пропасть** Ваша книга никак, по-моему, даром не могла бы: так или иначе, рано или поздно, она будет напечатана. А если Вы не напишете, то многое уйдет с Вами: мы все уже стары. Но я имею в виду именно биографию, а не воспоминания. ...»

Вера Николаевна в это время уже писала свои воспоминания. 18 марта 1954 Алданов пишет: — «...Как хорошо, что Вы склонны написать биографию Ивана Алексеевича! То, что Вы плохо знаете время его молодости, **никак** не может быть препятствием. Во всяком случае, Вы ее знаете по его рассказам лучше, чем кто бы то ни было другой... Я помню например, что из гимназии он ушел тринадцати лет. Для дальнейшего Вам **очень** пригодятся Ваши дневники за долгие годы и письма его к разным людям...»

К концу 1956 года книга Веры Николаевны была почти готова, поднялся вопрос как же ее издать. В письме от 28 декабря 1956 Алданов пишет: — «...Для книг у нас остается только одна возможность: предварительная подписка.... Если Вы на это согласитесь, то лучше сделать это **немедленно.** Я с радостью обращусь за «рекламой» для Вас к «Новому Русскому Слову» или в «Русскую Мысль» к Водову..».

Книга Веры Николаевны Муромцевой-Буниной «Жизнь Бунина» (1870-1906) вышла в Париже в 1958 году, уже после смерти Алданова.

Советовалась Вера Николаевна с Алдановым и относительно издания книг покойного Бунина: «Петлистых ушей», а главное посмертно изданной книги «О Чехове», к которой Алданов написал предисловие.

28 апреля 1955 Алданов пишет: — «...Я получил рукопись первой части книги. Читаю с волнением. Надеюсь написать и без второй части, однако это для меня большое препятствие. Вы наверное получите ее корректуру очень нескоро?

Просто не знаю, как быть. Пожалуйста, пришлите всё, что еще найдете. Трудно и с книгами. В Ницце не оказалось ни «Чехова в воспоминаниях современников», ни даже писем Чехова... Из «Писем» мне нужен был бы хоть один том, тот, где чаще всего упоминается имя Ивана Алексеевича. И уж совершенно необходим мне **точный** текст той заключительной фразы из письма Чехова к Телешову, где говорится «Скажите Бунину» и т. д. (с датой)...»

В последнем своем письме (от 1 февраля 1957) Алданов пишет о своем последнем романе: — «...Спасибо за то, что Вы говорите о «Самоубийстве». Роман печатается без авторской корректуры ... Вы и не ждите в романе Марии Федоровны. Я и Горького не вывожу, только упоминаю о нем. А интимные дела Андреевой, его и Морозова, конечно, меня и никого не касаются, я и в мыслях не имел их изображать. Я ее знал. Да, была красивая женщина. Я раз обедал с ней в Петербурге у Горького, в 1918 году, когда он был крайним врагом большевиков. Вы впрочем не говорите, что ждете в романе появления Марии Федоровны. Но другие мне пишут, что ждут. И спрашивают с кого писаны Джамбул, Люда, Ласточкины, Тонышевы и другие!!! Разумеется ни с кого. Когда появляется действительно существовавшее, хотя бы и не-историческое лицо, я его обозначаю настоящим именем, как, например, Савву Морозова...»

Осенью 1956 года в Америке справлялся юбилей М. А. Алданова. Об этом он пишет в письме от 12 октября 1956: — «...Сердечно Вас благодарю за добрые слова. Действительно мои похороны (юбилей ведь всегда похороны) назначены на 7 ноября. Об этом я получил письма от «Нового Русского Слова» и от С. А. Водова. А я не только не думал о чествовании, но и дату отказался сообщить, — они ее узнали не от меня, а верно из какого-нибудь словаря. Цвибак мне сообщил, что она им известна и что они готовят «специальный номер» и публичное собрание трех организаций!!! А Водов хотел устроить в Париже банкет, со всем, что полагается!!! Я обоим ответил одно и то же: приятным статьям буду искренне рад (что же врать: все писатели рады приятным статьям), но самым решительным образом возражаю против вечера или банкета или обеда. И тот, и другой тогда твердо обещали тако-

вых не устраивать. А статьи будут, — слышал, что принимаются редакциями...»

Чувствовал Алданов, что конец его близок. В новогоднем письме от 28 декабря 1956 он пишет: — «...Новый год, по крайней мере в теории, признается радостным днем, — люди ведь и шампанское пьют, — естественно и поздравлять. Напротив, большое у меня сомнение в том, нужно ли и можно ли писать письма в дни **траурных** годовщин...»

Немногим больше, чем на 3 года пережил М. А. Алданов Бунина. 1 марта 1957 года Вера Николаевна мне писала: — «Мы пережили только что потерю Марка Алексан. Алданова. Я никак не могу примириться еще с его уходом, ведь все тридцать лет эмиграции мы были в тесном общении или в переписке. Это было неожиданно, хотя мы знали, что у него после операции ... сердце стало хуже...»

Еще через 4 года не стало и Веры Николаевны.

Публикация и комментарии Милицы Грин

ЛЕНИНЕЦ РАНЬШЕ ЛЕНИНА

Киев в 1901-1903 г.г. был особым городом. Несмотря на то, что он совсем не был большим индустриальным центром с рабочим населением, революционный пульс в эти годы в нем бился сильнее, чем в Петербурге или Москве. Недаром же в нем устраивались на жительство или постоянно его посещали виднейшие «генералы» соц.-дем. партии (любопытно, что и в дальнейшем, и после октябрьской революции они почти все исчезли с политической сцены). Студенчество Киева постоянно и бурно бунтовало, протестовало, устраивало сходки и забастовки. В Университете чувствовалось влияние социалистов-революционеров, в Политехническом Институте, в котором конспиративно действовал проф. Тихвинский, лаборант-химик Ленгник, и почти открыто наша соц.-демок. группа (братья Зеланд, Рабинович, Левин, я), наоборот, преобладало влияние марксизма и социал-демократов.

Большое влияние для упрочения и появления в студенческой среде интереса к социально-философским вопросам оказал С. Н. Булгаков, профессор политической экономии в Политехническом Институте. Будучи марксистом за несколько лет до этого, в частности, автором весьма ортодоксально-марксистского труда «О рынках при капиталистическом способе производства» (1897 г.), он в 1901-1902 г.г. быстрыми шагами уходил от своего прежнего мировоззрения в сторону В. Соловьева, философского идеализма, религиозной концепции истории, чтобы завершить духовную эволюцию переходом в православие, а после октябрьской революции, уже будучи эмигрантом, принятием сана священника. Человек большого таланта, больших знаний, изумительной честности и последовательности, исключительной моральной красоты, он производил чарующее впечатление. Он никому не навязывал своих воззрений, постоянно повторяя, что «истина добывается честным, свободным, лойяльным, объективным сопоставлением идей». Желая студентам привить умение и вкус к этому свободному и

честному «сопоставлению идей», он, в дополнение к лекциям, организовал, как он называл, «лабораторию идей», экономический семинарий, в котором вначале нас, участников, было не более 7 человек. Собрания семинария, происходившие обычно в 8 часов вечера, были закрытыми, потом, когда С. Н. Булгаков узнал, что они вызвали большой интерес, — стали открытыми. Вместо 7 человек — участников стало двадцать, тридцать, затем пятьдесят. Собирались в большой аудитории Института, право на доступ, в которую никто не проверял, так что в конце 1902 г. в нее повалило уже множество людей, в том числе студенты Университета, Духовной Академии, слушательницы зубоврачебной школы, семинаристы, ученики художественной школы и, в небольшом числе, рабочие. В стране лишенной свободы собраний, печати, слова, такие сборища были явлением необычайным, полным выходом за всякие пределы дозволенного. Одно время в Вольно-Экономическом Обществе в Петербурге происходили дебаты в присутствии посторонней публики. Но там говорили и спорили профессора, меньшая же братия (бегал и я туда) лишь почтительно молчала, тогда как в Киеве выступала именно эта меньшая братия. С. Н. Булгаков ее-то и хотел приучить к свободному, честному, лойяльному сопоставлению идей.

О чем мы дебатировали? Обо всем. О социализме и капитализме, Марксе и Э. Бернштейне, Михайловском и народничестве, роли экономического фактора и личности в истории, философском материализме и идеалистической философии, аграрном вопросе и рабочем движении. Не трудно при этом было заметить, что каждый из меньшой братии выступавший с речью, считал для себя обязательным подчеркнуть, что самодержавное правительство с его отрицанием права на свободу слова и собраний задерживает духовное развитие страны, честное сопоставление и распространение важнейших идей, а потому первейший лозунг всякого российского человека это: долой самодержавие! Принимая во внимание, что на собрания могли пробраться шпионы, от всех говоривших требовалась облицовка недозволенных вещей и понятий в закамуфлированную форму. Когда в пылу речей некоторые это правило забывали, С. Н. Булгаков предостерегающе поднимал два пальца вверх, а соседи хватали оратора за полу: придержите язык! Словесный камуфляж не всегда был удачен. Желая сказать о

поддержке царского правительства православной церковью, один оратор пустил в аудиторию фразу о «контакте автократии базилевсов с клерикализмом восточного образца». Формула несколько раз повторенная вызвала полное недоумение и оратор, сконфузясь, позабыв камуфляж, крикнул аудитории: «ну, как вы не понимаете, что речь идет о нашем правительстве!» Другие туманности, наоборот, получили полное право гражданства, так мы довольно свободно говорили о необходимости социальной революции, разрушающей капитализм, пряча ее в немецкий термин «цузамменбрух».

Из-за молодости ораторов и недостатка знаний «сопоставление идей», при всем желании быть честным и объективным, не могло быть особенно глубоким, но С. Н. Булгаков всем давал высказываться, никого не прерывал, а лишь в заключительном слове стремился внести поправки и ясность в мысль говоривших. В этих дебатах, касающихся социологических, экономических, философских вопросов, выраженных, вдобавок, эзоповским языком, разбираться рабочим было трудно. Отсюда комическое недоразумение с одним из них, пришедшим на собрание. Слыша частое употребление непонятного слова «Цузамменбрух» и безотчетно копируя неведомую ему поговорку — «Жомини да Жомини, а водке ни полслова», он, возвращаясь с собрания, сказал недовольным тоном: — «Ерунду болтали! Всё брух да брух, а о революции ни полслова».

С. Н. Булгаков, допуская превращение «лаборатории» в массовое скопище, несомненно, подвергался риску иметь большие неприятности и после моего ареста был, действительно, вызван в охранное отделение, где от него потребовали сказать о чем, при его, как профессоре, попустительстве, я ораторствовал на устраиваемых им собраниях. В 1915 г. — он был тогда профессором Московского Университета, — в одну из наших встреч, Булгаков со смехом рассказал, что дал такое показание, что у допрашивающего жандармского офицера голова закружилась.

«Целью собраний было повысить научный, интеллектуальный уровень студентов. Среди разбираемых вопросов не было таких, которые я хотел-бы от вас скрывать. Вы спрашиваете о чем говорилось? О «вещи в себе» Канта, о его «Критике практического разума» и категорическом императиве, тезисе, антитезисе и синтезе в диалектике Гегеля, отношении физиче-

ского и психического у Фейербаха, имманентной философии Шуппе, Ремке и Шуберт-Зольдерна, историческом детерминизме, теории предельной полезности Менгера и Бем-Баверка, теории ренты Рикардо, об Адаме Смите и физиократах и т. д.

Жандармский офицер, подавленный неведомой ему премудростью, захлопав глазами, спросил: «только об этом и говорилось?», и получив ответ — **«только»**, от дальнейших расспросов уклонился. Прыгать чрез изгородь из «вещи в себе» и «предельной полезности», коварно воздвигнутой Булгаковым, он убоялся...

В годы, когда мы дебатировали в Политехническом Институте о социализме и капитализме, экономическом факторе и роли личности в истории, что происходило в рабочей среде Киева? Без ссылок на Канта и Менгера там происходило, можно сказать, параллельное движение: громадный рост интереса к социальным, политическим и экономическим вопросам. За какие-нибудь три года произошла **удивительно** быстрая перемена. Рабочая среда от полной спячки, придавленного равнодушия к собственному положению, к тому, что происходило в стране, перешла к явно революционной психологии в дни всеобщей стачки в июле 1903 г. От подобной метаморфозы у многих из нас закружилась голова. Так, член комитета Н. Ф. Пономарев в письме в «Искру» заявлял, что всеобщей стачки, подобной Киевской, не знал еще мир.

«Ничего подобного не знала Россия и даже, думается, в некоторых отношениях **не знал мир.** Новое в мировой истории это — безусловная солидарность всех рабочих без различия профессий и национальности. В Западной Европе, несмотря на полувековую историю социалистического движения, на организацию и политические свободы, таких стачек не было. Не настала ли пора подумать, как именно должно произойти падение царизма и что станет непосредственно на его месте?»

В № 53 «Искры» за 1903 г. В. И. Засулич в статье «О чем говорят июльские дни в Киеве», отвечая Пономареву, — холодной водой успокаивала нашу разгоряченную голову. Не говорите, что ничего подобного не было в мире. «Многие сцены, разыгравшиеся в Киеве, точно списаны с того, что более 50 лет назад происходило в Париже или Берлине». Не думайте, что царизм близок к падению. Уличный крик долой самодержавие раздается пока еще только как лозунг, угроза, средство

агитации, а не как революционное требование, которое отстаивается в упорной борьбе с полнейшей решимостью добиться или умереть».

В. И. Засулич **очень ошиблась.** Царизм, подсеченный двумя проигранными войнами, пал значительно раньше, чем она и многие другие думали и — **«на его месте»** появилось то, **о чем уже совсем не думали и самая дума о чем была, так сказать, изгнана усвоенной нами марксистской концепцией.**

В 1900 г., приехав из Уфы в Киев, я никак не мог добиться связи хотя бы с каким-нибудь кружком рабочих. Их почти не было. Рабочие в них не шли. А в марте 1903 г. на заседании Комитета было уже констатировано, что кружков среди рабочих возникает так много, что сколько бы ни вербовалось и в ускоренном порядке ни фабриковалось «марксистов», по большей частью из студентов, для ведения кружковой пропаганды их всё равно не хватит. Из всех рабочих кружков, в которые я «ходил» в 1902-1903 г. в качестве пропагандиста, было два особенно интересных, но по разным причинам. С очень смешанным чувством я сейчас замечаю, что вопросы, страстно дебатируемые в этих кружках 43 года тому назад, усиленные в их обсуждении гигантским громкоговорителем русской революции и второй мировой войны, — как бы перелетели из крошечного уголка Киевского подполья **на площадь мира, на мировой экран, в область мировых споров.** Читатель убедится — я не преувеличиваю. И от обоих кружков разные линии и разными путями ведут к тому же Ленину.

Один из кружков составляли религиозные сектанты. Перипетии, возникшие в связи с отчетом о пропаганде среди этих сектантов и проблемах, обсуждавшихся с ними, привели меня в Женеве к столкновению с Г. В. Плехановым, а потом к долгим спорам с Лениным. Во время их, возмущаясь тем, что он называл моим «обскурантизмом», Ленин защищал гносеологическую концепцию, развитую им в книге «Материализм и Эмпириокритизм» (1909), написанной в частности против Богданова, Луначарского, Базарова, Бермана, Юшкевича и меня и ставшей, что особенно ясно из № от 23 декабря 1938 г. «Правды» — официальной, государственной философией СССР.

Что же касается второго кружка, то нужно прежде всего сказать, что в него входил Н. Е. Вилонов — ленинец раньше Ленина. Это о нем Ленин в 1909 г. в письме из Парижа к Мак-

симу Горькому в Италию на Капри, говорил как об одном из самых **выдающихся** представителей рабочей среды, **«поруке»,** что рабочий класс России «выкует скорее, чем кажется иногда с точки зрения треклятого эмигрантского положения — превосходную революционную социал-демократию».

В руководимый мною кружок Вилонов попал, кажется, в январе 1902 г. в возрасте 19 лет. Хотя Ленин аттестует его как рабочего, таковым в прямом смысле (выполнение физической работы) он никогда не был. Он был младшим конторщиком в каком-то отделе киевских железнодорожных мастерских. Несмотря на его хорошую грамотность, он в начале моего с ним знакомства, как будто, немногим отличался от средних рабочих кружка. Через полгода он превышал их на целую голову. Через год на две головы. Он был исключительно одаренным, выдающимся человеком. Из занятий в кружке он сделал диалог. Без остановки вопрошающим был только он один. Вопросы его интересовавшие были столь разнообразны, что ответить на них мог лишь человек с энциклопедическим знанием. Таковым, конечно, я быть не мог. Чтобы иметь возможность более или менее удовлетворительно отвечать на вилоновский водопад вопросов, я потребовал от него заблаговременно давать мне списки интересующих его проблем. Списки Вилонова очень часто заключали 25-30 вопросов. Для отыскания освещающих их материалов и документации приходилось, прибегая к помощи извне (того же С. Н. Булгакова), тратить массу времени. У Вилонова была ненасытная, пожирающая страсть знать, учиться и трижды стахановская страсть читать. Но только социально-экономические и политические работы, отнюдь не беллетристику. К ней (за исключением некоторых вещей М. Горького) он относился с величайшим презрением: «это всё ненужный хлам». Его товарищи, жившие с ним в одной комнате, жаловались, что Вилонов, просиживая над чтением напролет целые ночи, мешает им спать. В самое короткое время он одолел все главные произведения марксистской легальной и нелегальной литературы и быстро приобрел марксистское «наречие», на котором говорили партийные люди. Случалось, что приходя в кружок, я приносил, завернутыми в газету, мне лично нужные книги. Вилонов немедленно развертывал сверток, с жадностью бросался перелистывать книги, каждый раз прося, чтобы я их оставил ему на несколько дней. Однажды

он нашел среди принесенных мною книг Штамлера «Хозяйство и Право» и только что вышедший № журнала «Вопросы философии и психологии». Как всегда он за них ухватился. Я мягко заметил ему, что эти книги для него будут несколько трудны (жевать Штамлера, действительно, было столь же трудно как грызть камень). Вилонов, обнаруживавший параллельно успехам, которые были действительно поразительны, болезненное самолюбие, делавшее не простыми, а очень тяжелыми с ним отношения, — вскипел: «Это намек, что я не интеллигент и не учился в университете? Не Боги лепят ваши горшки. Думаю, что хоть четвертушку из ваших книг да пойму. Странно, уже второй раз (sic!) вы некоторые книги мне дать не хотите».

Слова эти не были случайны. Вилонова, когда он кидался от одной книги к другой, не оставляла, несмотря на его большой ум, глупая, но назойливая мысль, что есть какие-то очень важные сочинения, книги, о существовании которых, по подозрительным причинам, интеллигенты рабочим не говорят. В этом отношении характерна фраза мне брошенная после прочтения книжки «Что делать» Ленина, произведшей на него сильнейшее впечатление.

«Моя судьба решена. Скоро брошу мастерские и уйду целиком в революцию, стану профессиональным революционером. Но, как пишет Ленин, чтобы стать «всезнающим» революционером, нужно действительно много знать. Я убедительно прошу вас **от меня не скрывать книг,** дающих мне возможно скорее необходимое знание».

Такие фразы, я, разумеется, не мог оставлять без «крепкого» ответа и потому отношения с Вилоновым были не из легких. Насчет интеллигентов и возможности, что они хитрят и что-то прячут, — Вилонов имел особые мысли.

«Никак не пойму, говорил он, вот какое явление. В рабочую среду идут для агитации, пропаганды, руководства движением, многие выходцы из буржуазного и даже помещичьего классов. Среди них есть люди из состоятельных слоев. Они могли бы прекрасно и спокойно жить, пользуясь всеми благами жизни. Они же сами себе ее гадят. Правительство их преследует, сажает в тюрьмы, ссылает в Сибирь. Говорят, что ими руководят идеальные мотивы. Марксизм нас учит, что в основе истории лежит борьба классов, борьба за классовые и групповые экономические интересы. Идеальный мотив без экономи-

ческого может быть у какого-нибудь отдельного лица, а если политически действует уже целая группа не может быть, чтобы у нее за идеальными мотивами не было каких-то свойственных ей экономических интересов. Я спрашиваю себя: какие экономические интересы у групп интеллигенции, идущей в рабочую среду? Эти интересы не расходятся ли с настоящими интересами рабочего класса? Вон «Искра» и «Заря» в статье Потресова и тот же Ленин в «Что делать» напоминают, что профессора Струве, Булгаков, Туган-Барановский сначала тоже бегали к рабочим, а потом стали либералами, противниками марксизма, **значит,** врагами рабочего класса. Представьте себе, что кое-кто **похитрее** из той же группы остался в рабочей среде и с помощью разных неверных теорий толкает ее в сторону для себя выгодную, но совсем неотвечающую интересам рабочих. Почему это немыслимо? По моему мнению, чтобы не было обмана рабочих и движение шло по ортодоксально-революционной линии, состав центральных учреждений партии, руководящих движением, должен **постоянно,** строжайшим образом, **проверяться*** наиболее образованным, наиболее революционным слоем рабочих».

В развитии этих идей Вилонов вскоре пошел дальше и, захватив область еще более обширную, стал доказывать, что падение царизма нужно обязательно связать с установлением социализма. В момент крушения царизма рабочие должны разрушить капитализм. Интеллигенты затемняют сознание рабочих, внушая им мысль, что эти две задачи следует разделить. У Ленина Вилонов прочитал, что «стихийное развитие рабочего движения есть трэд-юнионизм», идет к подчинению его буржуазной идеологии и задача социал-демократии в том, чтобы «совлечь» его с этого пути «под крылышко» социализма. Вилонов перевернул ленинскую формулу: стихийное движение рабочих в России идет, тянется, прямо к социализму, но приходящие к рабочим из других слоев люди (с язвительной улыбкой Вилонов их называл **«доброжелателями»** и **оппортунистами**) стремятся «совлечь их с правильного пути».

Создавая себе убеждение в необходимости и неизбежности крушения капитализма вместе с царизмом, Вилонов несомненно пользовался, переделывая их по-своему, какими-то

---

* Идея «чистки». Н. В.

произведениями народников. Он, например, доставал откуда-то старые номера журнала «Русское Богатство» Михайловского и когда я спрашивал — какие статьи он в нем читает, Вилонов, не желая отвечать, просто заминал разговор. Я только заметил, что в 1903 г. — и не я его этому «учил» — от него частенько можно было слышать такие фразы: «нам нечего ссылаться всё время на Европу. Пословица правильно говорит что немцу вред, русскому здорово. **Наш путь развития совсем иной. Не всё у народников глупо.** Мы русские, по-русскому, а не по-заграничному будем делать и революцию». В феврале или марте 1903 г. он ознакомился с «Революционной Россией» социалистов-революционеров и ухватив их лозунг: «вся земля крестьянам» нашел, что это много лучше, чем предложенная Лениным аграрная программа «возвращения земель, отрезанных у крестьян при уничтожении крепостного права». Программу «отрезков», продиктованную боязнью, что более обширные передвижения земли могут «задержать развитие капитализма» (сам Ленин ее выбросил в 1905 г.), я никогда не защищал и на этой почве диспутов с Вилоновым мне вести не приходилось. Долгие споры с ним происходили по другим более важным вопросам и велись они в очень тяжелой атмосфере, отравленной шпильками Вилонова и невоздержанностью его языка.

Мысли Вилонова резко противоречили общепринятой, никем в нашей среде не подвергаемой сомнению, социал-демократической, марксистской концепции социально-экономического развития России. Какова, в самом деле, была эта концепция? В нескольких строках ее превосходно выразил в 1905 г. тот же Ленин в книжке «Две тактики социал-демократии в демократической революции». Он называл: — «нелепыми и анархическими мысли о немедленном осуществлении программы-максимум, о завоевании власти для социалистического переворота. Степень экономического развития России (условие объективное) и степень сознательности и организованности широких масс пролетариата (условие субъективное), неразрывно связанное с объективным, делают невозможным полное освобождение рабочего класса. Только самые невежественные люди могут игнорировать буржуазный характер происходящего демократического переворота. Пытаясь немедленно поставить себе целью социалистический переворот, социал-де-

мократия, действительно, **осрамила бы себя.** Именно поэтому настаивала она всегда на буржуазном характере предстоящей России революции, именно поэтому строго требовала отделения демократической программы минимум от социалистической программы максимум. Забыть всё это могут во время переворота отдельные социал-демократы, склонные пасовать пред стихийностью, но не партия в целом. Демократические преобразования в политическом строе и те социально-экономические преобразования, которые для России стали необходимостью, сами по себе не только не означают подрыва капитализма, господства буржуазии, а, наоборот, они впервые очистят почву настоящим образом для широкого и быстрого европейского, а не азиатского развития капитализма. Совершенно нелепа мысль, что буржуазная революция не выражает вовсе интересы пролетариата. Буржуазная революция в высшей степени выгодна пролетариату».

Эту концепцию, впервые в самой отчетливой форме формулированную Плехановым в начале 80 годов и являвшуюся применением теории Маркса к анализу тенденций развития России, Вилонов стал решительно отвергать. Общую схему его речей могу передать почти дословно, пользуясь его выражениями, хотя он постоянно ее варьировал, принося на собрание кружка отысканные им новые аргументы. Схема эта врезалась в память потому, что она вызывала недоумение: «ортодоксальный марксист», каковым с огромной гордостью любил себя называть Вилонов, стремился разрушить **важнейшую аксиому русского марксизма.**

«Какой у нас сейчас политический строй? Мерзкий царизм, не дающий нам права открыто и легально иметь партию, союзы, собрания, рабочую печать. А какой у нас экономический строй? Еще более гнусный капитализм, нас непосредственно эксплуатирующий, убивающий нашу жизнь тяжелой работой. Чего мы хотим политически? Ответ совершенно ясен: уничтожения до тла царизма, полной свободы. А чего мы хотим экономически? Вот тут то и начинаются неясности. Наши «доброжелатели» подсказывают: мы должны желать продолжения того-же капитализма. Сейчас он маленький и слабенький, пусть он будет большим и сильным, а сильным он будет, как нам ясно объясняет Маркс, если мы будем производить много больше прибавочной стоимости, попадающей в

руки капиталистов. Выходит, что свободу мы должны завоевывать, чтобы у нас на шее остался не только нетронутым, а еще более сильным капитализм. Никогда с этим не соглашусь! Плеханов заявил, что русская революция победит как рабочее движение или совсем не победит. Без рабочего революция, действительно, невозможна. Ведь не студенты же и крестьяне ее сделают. Рабочий класс главная, решающая сила революции. Его кулак размозжит голову царизма. И вот когда рабочий это сделает, «доброжелатели» начнут его уговаривать: смотри, дальше не иди, не тронь капитализм, пусть он еще более жиреет. Это для этого нужно завоевывать свободу? Но это насмешка, это ложная свобода! Политическая свобода нам нужна для экономического освобождения и в этом пункте я нахожу, что интересы рабочих расходятся с тем, что хочет интеллигенция. Для нее падение царизма высшая и последняя цель. Когда царские министры, губернаторы, чиновники, услужающие старому строю, будут сметены, интеллигенты усядутся на их местах. Это превосходно устроит интеллигенцию, но не рабочий класс. Вместе **с свержением царизма** мы должны добиться и **свержения капитализма.** Говорят: «земля и воля». Против этого я ничего не имею. Но это для крестьян, для рабочих должна быть другая, параллельная программа: **фабрики в руки рабочих!** Это, а не разговоры о свободе, есть главное. Фабрики, заводы должны перестать быть частной собственностью. Они должны быть наши, — собственностью всего рабочего класса. Положение рабочего класса тогда немедленно и намного улучшится. Прибавочный продукт, поедаемый теперь капиталистами и их челядью, будет в наших руках. Говорят, что на такую полную победу мы не можем рассчитывать по причинам объективного характера. Рабочие, будто, не смогут без капиталистов вести фабрики и заводы. А кто это доказал? Говорят, что есть причины еще более важные. После падения царизма соберется избранное всем населением учредительное собрание, парламент и в нем вопрос относительно нового устройства жизни и, в том числе, о переходе в наши руки фабрик и заводов, должен решаться **большинством голосов.** Крестьян больше чем рабочих, избранники их будут в парламенте в большинстве. Выражая взгляды крестьян, являющихся собственниками, они будут стоять за сохранение собственности вообще, в том числе и капиталистической. Говорят, меньшинст-

во должно обязательно подчиняться большинству. Всегда ли? А если есть два умника, видящих ясно и далеко, и сотня темных людей, просто дураков, должны ли умники подчиниться дуракам? Сознательное меньшинство должно ли без боя всегда сдаваться пред решением совершенно несознательного большинства, пред миллионами крестьян, еще верящих в Бога, в чертей и ведьм? **Из демократического правила подчинения парламентскому большинству не делается ли просто петля, удушающая самые важные для рабочего класса требования?** С такой петлей на шее рабочий класс России выиграть революцию никак не может. Если интеллигенты будут пичкать такими взглядами рабочих, рабочие потеряют волю к борьбе, у них размякнет решимость вырвать, **достигнуть силою,** осуществление больших задач. Каждый раз, когда я на это указываю, меня немедленно тыкают носом в Европу, в Германию, в Англию. Вот, мол, смотри: там в этих свободных странах рабочая партия подчиняется всем законным требованиям парламентов, подчиняется большинству и худа от этого не получается. Рабочие Европы живут лучше чем мы и, постепенно завоевывая большинство, достигнут и социализма. Вам нравится Европа? Ну, и переезжайте туда! Мы русские, живем в России, и по русскому способу должны будем строить нашу жизнь и делать революцию. Пугают, что против рабочих пошлют войско, которое состоя из крестьян-собственников нас усмирит. Не так страшен чорт как его малюют! **Крестьянство надо купить.** Бросьте ему клич: «земля и воля», гони помещиков и дворян, бери всю их землю, поступай с нею как хочешь. Крестьянство упрется в эту землю, уйдет в нее на десятилетия, пока не пережует ее. Город его интересовать не будет. В нем мы останемся один на один с капиталистами и если в этих условиях, слушая советы «доброжелателей» и опортунистов, мы побоимся с ними покончить и установить социализм, тогда мы действительно, ничего не стоим».

Мои возражения Вилонову не представляют никакого интереса и кроме зевоты ничего другого у современного читателя вызвать не могут. То, что я мог бы сказать по этому вопросу теперь, ведь совсем не то, что я говорил тогда. Мне хотелось бы подчеркнуть только вот что: в мышлении и рассуждениях Вилонова меня раздражало непоборимое стремление уйти от признанной марксистской аксиомы, «прыгать» из ца-

ризма в социализм, решать социальные вопросы **«особым»** русским способом, якобы, намного лучшим чем всякие там европейские. Я смутно видел в этом «порчу» Вилонова какими-то произведениями народников и, вместе с тем, бессознательным национализмом. Мне казалось это восхвалением, выражаясь словами Белинского, русского «кваса» и «редьки», похвальбой. Это непоборимое стремление и направление мысли мне представляется теперь исключительно интересным явлением огромной исторической важности. Всё, что относится к этому вопросу требует большого, специального анализа. Для него здесь нет места.

Смотря с точки зрения гигантских, исторических событий потом происшедших, на мои маленькие споры с Вилоновым нужно заключить, что прав, разумеется, оказался он, а не я. Прав в том отношении, что события в основном развернулись именно так, как он думал и хотел, а не так, как я его «поучал», ссылаясь на марксизм и программу партии. За словами о «русском способе» делать революцию и «неевропейском пути развития», которые меня так раздражали у Вилонова, стояла мощная инерция национальной традиции мысли, особое самопонимание нации, ее вера в самое себя. Нельзя в то же время не видеть, что в 1902-3 г.г. двадцатилетний конторщик киевских железнодорожных мастерских, в сущности, в грубой форме **развивал именно ту социально-политическую концепцию, которой четырнадцать лет спустя Ленин руководил во время октябрьской революции.** Вилонов был большевиком раньше чем появилось и оформилось в партии это течение. Он был большевик не только в том смысле, в каком большевизм проявлял себя до 1917 г., а и в том, в каком он стал после 1917 г. **Вилонов, можно сказать, «ленинец» раньше самого Ленина.** Мысли, высказываемые Вилоновым в 1903 г., — самому Ленину, как и всей партии, казались тогда антимарксистскими и «анархическими».....

* * *

После долгих, утомительных, ни к чему не приводящих споров с Вилоновым, я решил случай с ним перенести на обсуждение Комитета Партии. На нем было решено, чтобы сделав предварительно соответствующее заявление, я бросил посещение кружка, но позднее постарался бы его вновь восстановить без рабочих, симпатизирующих «анархизму» т. е.

прежде всего без Вилонова. Заявление, сделанное мною от имени Комитета было приблизительно следующего содержания:

«Взгляды Вилонова на демократические свободы и основные принципы демократизма совершенно расходятся с воззрениями российской социал-демократической партии. Он не видит в них ценности и отводит им очень узкое, второстепенное, только служебное значение. Вилонов утверждает, что крушение царизма должно обязательно сопровождаться насильственным разрушением капитализма и что без этого завоеванные свободы, будто, мало чего стоят. Это взгляд не социализма, а анархизма. Я прихожу в кружок от имени социал-демократической партии и защищаю перед вами ее программу. Если несмотря на мои объяснения, вами она не разделяется, если вас вслед за Вилоновым, клонит не к социализму, а к анархизму, право ваше иметь эти убеждения я не отрицаю, но только мне у вас делать более нечего».

К этому я прибавил, что взгляды Вилонова, с оскорбительным подозрением смотрящего на приходящих в рабочую среду интеллигентов, дают основание предполагать, что на него в какой-то мере, без ясного в том отчета, повлияла реакционная антиинтеллигентская пропаганда, ведомая в Москве и Одессе царским агентом Зубатовым.

Демонстративно, прощаясь, пожав всем руку, при смущенном молчании Вилонова, я открыл дверь и ушел. Описывая это маленькое происшествие, не могу теперь не видеть великого, гигантского недоразумения в моей декларации. В самом деле: вопрос об еретических взглядах Вилонова и заявлении подлежащем оглашению в кружке, обсуждался четырьмя членами комитета. При расколе партии один из них (Пономарев) стал на сторону меньшевиков, три других — Мельницкий, Вакар и я, — примкнули к Ленину и большевикам. Если взгляды Вилонова относительно социалистического, а не буржуазного характера предстоящей революции, все мы имели право, по партийной аксиоме, называть «анархическими», какое право, на каком основании, имели мы, в особенности те, которые позднее примкнули к большевизму, объявлять взгляды Вилонова на свободы и принципы демократизма «совершенно расходящимися с воззрениями российской социал-демократической партии?» Программы, официально-принятой, тогда еще не было.

Был лишь проект, но в нем черным по белому значилось, что для успеха социальной революции необходимым условием являются «диктатура пролетариата», комментируя которую самый авторитетный из теоретиков партии Г. В. Плеханов писал, что в понятие диктатуры входит «подавление всех общественных движений, прямо или косвенно угрожающих интересам пролетариата». Читая это или говоря о диктатуре, мы, очевидно, просто не понимали, не отдавали себе отчета, что это фактически означает. Пункт о необходимости диктатуры был принят на съезде почти при отсутствии каких-либо на этот счет и обсуждений, и возражений. Он признавался бесспорным. Лишь один делегат — В. П. Акимов-Махновец — постарался теоретически отгородиться от него и в выпущенной им после съезда брошюре указал, что такого пункта нет в программах ни одной социалистической партии Европы.

Мое заявление и прекращение посещения кружка произвели впечатление гораздо большее чем то, на которое я мог рассчитывать. На Вилонова со стороны его товарищей посыпались нарекания, что он поссорил кружок с «человеком из Комитета», что он «склочник», «анархист» и почти «зубатовец». Вилонов нервничал, мучался в поисках выхода из создавшегося для него неприятного положения. Он искал возможности меня встретить, объясниться, «помириться», но не знал ни где я живу, ни моей настоящей фамилии: в кружке я был известен лишь, как «товарищ Владимир». Помимо меня у него была еще другая связь с Комитетом, через одного рабочего, но тот, по моей просьбе, моего адреса ему не дал. Манкируя службой, превратившись в сыщика, Вилонов недели две бегал по всему городу, разыскивая меня с свойственным ему упорством. В конце концов, случайно увидев меня издали на Бибиковском бульваре не в штатском костюме, а в форменной тужурке студента Политехнического Института (мы носили даже эполеты с вензелем императора Александра I!), он, пользуясь этой приметой и другими, смог узнать потом мое имя и где я живу. Через два дня после этого, хозяйка квартиры, в которой я жил, передала мне маленький пакетик и письмо. В пакете оказался флакон с духами, письмо же гласило:

— «Посылаем вам от нашего кружка сердечный привет. Просим принять, зная, что вы любите духи, наш подарок. С нетерпением ждем вашего прихода к нам **в гости** в 8 часов

вечера в ближайшую субботу. Будем крайне огорчены, если не придете. Особенно будет огорчен Вилонов, горько кающийся в своих политических ошибках и разных неуместных заявлениях».

Письмо, я тут же узнал столь хорошо известный мне по «списку вопросов» почерк Вилонова, было подписано фамилиями всех членов кружка (Вилонова в том числе). Трудно себе представить более неосторожный документ, выдающий нас всех полиции. Конечно, я его немедленно уничтожил. Флакон же духов, я действительно их очень любил, меня прямо растрогал и так как из письма следовало, что Вилонов смирился и, следовательно, я мог считать себя «победителем», — я с особенным удовольствием отправился «в гости». Комната, в которой мы обычно собирались, в этот вечер изменила свой вид. Посредине ее появился большой стол, покрытый скатертью, на нем огромный шипящий самовар, изрядное количество закусок и еще более внушительное количество бутылок с водками и наливками. Началось празднование примирения. Пропагандистский кружок исчез. Место его заняла наша великая русская «пьянка», с ее чествованиями при помощи качания, с переходом с «вы» на «ты», хмельными слезами, объяснениями в любви, неожиданными признаниями, пением вообще и, в частности, революционных песен, правда, вполголоса, чтобы не слыхали полицейские уши:

Вихри враждебные веют над нами
Темные силы нас злобно гнетут,
В бой роковой мы вступили с врагами
Нас еще судьбы безвестные ждут...

Здесь занавес, в сущности, можно опустить, отметив в происходившем лишь один «политический» момент. Под утро, когда солнце, сквозь плавающие в комнате густые облака табачного дыма, смотрело на пустые бутылки, тарелки с объедками и от бессонной ночи и напитков вытянувшиеся лица, Вилонов отвел меня в сторонку, к окну.

— «Слышишь, считай, что с нынешнего дня я вступаю в партию. Буду выполнять точно все ее поручения. Делаюсь профессиональным революционером. Не обижайся: **я совсем не уверен, что ты прав, а я во взгляде моем на революцию ошибаюсь.** Но теперь это совсем не важно. Думы мои запру в потайной ларчик, а ключ от него повешу тут на месте креста.

Раз я вступаю в партию никаких других взглядов и мыслей, кроме партийных, я знать и иметь не должен. Теперь мое евангелие — Ленина «Что делать». Даю нерушимый обет быть настоящим партийцем-ортодоксом. Партия мне скажет: Никифор Вилонов, **прыгай вот отсюда из окна с четвертого этажа головой вниз, — я без рассуждений прыгну».***

Несмотря на удовольствие слышать, что Вилонов отказывается от своих «ересей», не могу сказать, что всё мне понравилось в его заявлении. Партия требует дисциплины — это несомненно, но отнюдь не «прыгай без рассуждений с четвертого этажа вниз головой». В нашей среде (в Киеве) я не помню ни одного человека, кроме Вилонова, который бы тогда счел возможным так интерпретировать «Что делать?» Ленина. Об этом и разговора не было. Ни одного даже малейшего спора. Вопрос о праве, наряду с общепризнанными партийными мыслями, — иметь кое какие и свои — не подвергался ни малейшему сомнению. Такое сомнение показалось бы смешным. И если мы спорили, предмет спора лежал, так сказать, в смежной области и вот в чем заключался.

Активное участие в революции от каждого ее участника требовало больших личных жертв. Уходя «от ликующих, праздноболтающих, обагряющих руки в крови» в «стан погибающих» (эти слова Некрасова были очень в ходу) революционер оставлял отца своего, мать свою, жену, детей и отдавал себя на служение общественному благу. Как нужно было ощущать

---

* Известный английский социалист Вальтер Ситрин в своей кни-ге «В поисках истины в России» (франц. изд., стр. 120) передает следующий разговор в Москве в 1937 г. с одним партийцем по поводу характера партийной дисциплины. «Повинуясь этой дисциплине, — спросил Ситрин, — могли ли бы вы, например, выстрелом из револь-вера убить детей царя?» — «А почему нет?, — ответил тот с удив-ленным видом, — это и было во время гражданской войны». — «Скажите, неужели вы в самом деле могли бы это сделать?» — «Это может быть мне не очень понравилось бы, но если моя партия мне приказала, я сделал бы это без всякого колебания». — «Вы убьете павшего на колени около ваших ног ребенка потому, что ваша пар- тия вам приказала это сделать?» — «Да, если мне прикажут, я это сделаю, хотя я не совсем подхожу для такого рода дел». Партия, имеющая таких членов — партия совершенно особая и сила ее огромна. Н. В.

эту акцию? Каков ее аффекционал, ее эмоциальный знак? Многие в партийной и в студенческой среде товарищи указывали, что участие в революции есть священный долг пред народом, пред страною. Каждая морально здоровая личность без рассуждения ощущает **этот долг** под знаком категорического императива, принудительного веления совести. Тот же С. Н. Булгаков на лекциях часто говорил, что участие в социальной и политической борьбе должно почитаться «религиозной обязанностью, абсолютным приказом морального закона, велением Бога».

Другим, и мне в том числе (а споры о том у меня начались еще в VII классе реального училища) казалось, что служение общественному благу не должно чувствоваться извне диктуемым, принудительным, давящим долгом. Если это долг, то жертвы, которые личность, участвующая в освободительном движении, несет при царском режиме психологически неизбежно ей будут казаться тяжелыми. Нужно было теоретически организовать свою психику так, чтобы на все эти жертвы ответить безбоязненным, изнутри идущим: наплевать! Плеханов, идя куда дальше Булгакова, однажды сказал, что «революция как Саваоф говорит: Я Господь Бог твой и не будет у тебя других богов кроме меня». Саваоф Бог жестокий. Мои товарищи (Пономарев, братья Зеланд, я и другие) совсем не хотели, чтобы Бог с Синая или каких-либо других высот нас давил, ломал, превращал в рабов и — этого еще недоставало! — приказывал: «прыгай без рассуждений с четвертого этажа». **Принять Бога революции можно только свободно.** Навязывание его «долгом» для духа мучительно. Как реакция на это свободного человека — непременно произойдет бунт и, подобно Ивану Карамазову, человек возвратит жестокому Саваофу свой «билет». В этой деликатной психологической области ощущение «приказа», «веления» (**«ты должен»**) хотелось заменить чем-то более сложным, ощущением свободного: **«я этого хочу»**. Хочу, идущего не от «я» эгоиста, а от развиваемых личностью альтруистических, социальных и эксцентрических чувств. По этой причине в моей библиотеке (и на столе тюремной камеры) в соседстве с Марксом находился Гюйо («Очерк альтруистической морали») и Ницше «Так говорил Заратустра». А из «Заратустры» вот какое место по разным причинам привлекало мое внимание. «Кто этот великий дра-

кон, которого дух не хочет называть ни Богом, ни господином? **'Ты должен'** — называется великий дракон. Но дух льва говорит: **я хочу. 'Ты должен'** подстерегает его на дороге. Его чешуйчатое тело отливает золотом и на каждой чешуе блестит золотыми буквами: **'ты должен'.** Тысячелетние ценности блестят на его чешуях и самый могущественный из всех драконов говорит: всё, что имеет ценность блестит на мне. Всё, что имеет ценность уже создано и я представляю все созданные ценности. **Нет более места — 'я хочу'».**

Во время одиннадцатидневной голодовки в тюрьме, я читал и перечитывал «Заратустру» и цитированное место давало превосходную, волевую «зарядку», искру для утверждения, разжигания **«я хочу»**, позволявшего легче переносить физические страдания и, несмотря ни на что, идя до конца, добиваться победы .....

* * *

В начале лета 1903 г. Вилонов покинул Киев. Я совсем потерял его из виду и больше никогда с ним не встречался. Лишь спустя много, много лет я узнал, как прошла его жизнь. Вступив в партию, перейдя на положение профессионального революционера, он приехал в Екатеринослав, где почти немедленно стал видной фигурой в составе местного комитета.

Отсюда в «Искру» на имя Ленина он стал посылать письма о событиях и настроениях в рабочей среде. В ноябре 1903 г., узнав о расколе партии, он пишет Ленину большое письмо. В первый же день моего свидания с Лениным в Женеве, последний ссылается на это письмо, напечатанное им в послесловии к переизданной брошюре «Письмо к товарищу о наших организационных задачах».

— «Прочитайте вот это письмо ко мне одного рабочего из Екатеринослава — Миши Заводского. Письмо очень интересное. Оно показывает как тягостно отражается раскол в рабочей среде и в то же время свидетельствует, что мы не даром вели пропаганду и пробуждали сознание рабочих. Среди них начинают уже выделяться личности как Миша Заводской, глубоко интересующиеся организационными и другими вопросами, волнующими партию».

Вечером в тот же день я прочитал письмо. Но мне ни на одну секунду не пришла в голову мысль, что автор письма Вилонов. После весны 1903 г. произошло столько захвативших

меня событий, что он совершенно ушел из памяти. Что автор письма Вилонов, я узнал, кажется, только в 1928 г. из примечания к посмертному изданию сочинений Ленина. А между тем достаточно прочесть это письмо, чтобы почувствовать как из него выпирает специфическая психология Вилонова, с присущим ему подозрением, что партийные интеллигенты что-то «скрывают» от рабочих, о чем-то «умалчивают» и с убеждением, что нужно какое-то особое «крепкое устройство» партии для сохранения от этих интеллигентов ее «ортодоксального» направления.

«Нам объявили, писал Вилонов Ленину, что съезд раскололся на две части по вопросу об отношениях Центрального Органа (Ц. О.) к Центральному Комитету (Ц. К.). Всё это как тяжелый камень обрушилось на нашу голову и придавило нас всей своей тяжестью потому, что самый вопрос об отношениях Ц. О. к Ц. К. был для нас неожиданной новостью. Ведь до самого съезда, он не только не возбуждался ни в каких кружках и собраниях, но, насколько мне помнится, его **обходили молчанием** и в литературе. Вот это самое **замалчивание** его до съезда мне **непонятно.** Если предположить, что его совсем не существовало, то нужно признать, что товарищи, клавшие свои силы на объединение партии, не представляли себе ясно ее организацию, т. е. ее устройство. Но второе совершенно невозможно потому что вопрос, расколовший теперь партию, ясно показал, что взгляд на устройство партии был не у всех одинаков. А если это так, то **почему его скрывали?**»

Вилонов хочет такого «устройства» партии, которое ей «обеспечит ортодоксальное направление», но продолжает он: — «кроме устройства партии важен состав ее вождей, т. е. если они ортодоксы, то (sic!) и направление партии ортодоксально, если оппортунисты, то и партия будет такая же. Зная состав вождей партии, я безусловно высказываюсь за преобладание Ц. О. над Ц. К. в идейном руководстве партии. Высказываться за это еще более заставляет русская действительность: как бы ни был Ц. К. ортодоксален, но находясь в России, он не может быть застрахован от провала, а, следовательно, и от потери ортодоксальности помимо своей воли, так как преемники не всегда соответствуют тем, кого они замещают».

Высказавшись за преобладание Ц. О. над Ц. К. для «крепкого устройства партии» Вилонов, однако, спохватывается. Он

всегда во власти грызущей его подозрительности к «верхам», к интеллигенции. «А вдруг, спрашивает он в своем письме, Ц. О. изменится и из ортодоксального сделается оппортунистическим, как, например, «Вперед» в Германии? Можно ли тогда дать ему преобладание в идейном руководстве? Что бы стали делать **мы, воспитанные в ортодоксальном духе**, неужели должны бы соглашаться с ним? Нет, наша обязанность была бы отнять у него право на преобладание и передать его в руки другого учреждения. И если бы это не было сделано по какому-нибудь поводу, то все мы достойны бы были названия изменников рабочему социал-демократическому движению».

Разумеется, Вилонов примыкает к Ленину и кончает свое письмо резкими словами о «политических интриганах», желающих показать, «что дисциплина нужна только простым смертным, а не им, людям верха»...

После волны стачек в Екатеринославе, в организации которых Вилонов принимает активнейшее участие, его арестовывают, вероятно, в январе 1905 г.* Он сидит семь месяцев в тюрьме, потом высылается в Сибирь, в Енисейский округ, оттуда скоро бежит. В качестве пропагандиста, агитатора, организатора он появляется в Казани и разных городах Урала. В Пермской губернии он попадает в руки полиции и — в тюрьму, из нее бежит, его ловят, он снова в тюрьме. В дни октябрьской революции 1905 г. Вилонов по амнистии освобождается из тюрьмы, приезжает в Самару, где несмотря на свои 22 года, делается авторитетным председателем Самарского Совета рабочих депутатов. С наступлением реакции он снова в подполье. В 1906 г. он третий раз в тюрьме. Он задыхается в ней. Вечные столкновения с тюремной администрацией часто оканчиваются тем, что его связывают и запирают в карцер.

Доведенный до последней капли терпения, Вилонов хватает лампу, освещавшую его камеру, выливает из нее керосин на кровать, на стол, стул, свою одежду и поджигает всё это. Пожар удается быстро потушить, Вилонов отделывается ожогами. После этого происшествия тюремная администрация, уст-

---

* Я мог бы встретиться с Вилоновым потому, что в Екатерино-слав приехал прямо из Женевы в январе 1905 г., но не от большеви-ков, с которыми разошелся, а от меньшевиков. Интересна была бы эта встреча на противоположных сторонах партийной баррикады.

рашенная неукротимым арестантом, старается его не замечать. Он пользуется этим и в конце 1906 г. еще раз бежит из тюрьмы. Несколько позднее он завязывает сношения и переписку с Максимом Горьким. Совместно с известным экономистом и философом А. А. Богдановым (ушедшим после октябрьской революции от большевиков), Луначарским (будущим Комиссаром Народного Просвещения), экономистом Базаровым (унесенным в 1931 г. неумолимым Ураном революции), бывшим депутатом Гос. Думы Алексинским (после 1917 г. — правым эмигрантом) — Максим Горький в это время организует на острове Капри для рабочих-большевиков революционный университет, высшую социал-демократическую школу. У Вилонова идея такой школы вызывает восхищение. Она захватывает его и Н. К. Крупская в ее «Воспоминаниях о Ленине» передает, что именно Вилонов подбирал среди рабочих для школы «учеников крепких и надежных». В 1908 г. Вилонов оставляет Россию и появляется на Капри. Максиму Горькому не нужно много времени (он рассказывал мне об этом в 1915 г.), чтобы заметить три бьющие в глаза черты характера Вилонова: гигантское желание знать и читать, до крайней болезненности повышенное самолюбие и, хотя сам Вилонов превратился в «интеллигента», недоброжелательное и подозрительное отношение ко всем интеллигентам, выдвинувшимся не снизу, как он, а пришедшим к рабочим из образованных или буржуазных слоев. Это те самые черты, которые я знал у Вилонова еще в 1902 г.

Группа большевиков, профессоров школы на Капри, находилась во враждебной оппозиции к Ленину, жившему в Париже. Ее отделяли от него накалённые до точки кипения (особенно со стороны Ленина) споры по философским вопросам и, уже в другой области, разногласие следует или не следует бойкотировать Гос. Думу. Большевики на Капри назывались «отзовистами». Они считали, что в реакционной Гос. Думе социал-демократическим депутатам делать нечего и стояли за их «отзыв».

Максим Горький неоднократно приглашал Ленина приехать на Капри читать лекции в школе. Ленину претила мысль встречаться с людьми, не разделявшими его материалистической философии, особенно с Луначарским, стремившимся (как и Горький) усилить остов социализма религиозно-мистической

символикой, способной глубже захватить народные массы. Ленин отвечал Горькому: — «ехать (на Капри) мне бесполезно и вредно: разговаривать с людьми, пустившимися проповедывать соединение научного социализма с религией я не могу и не буду. Спорить нельзя, трепать зря нервы глупо».

К сожалению, я не знаю какой идеологический бунт, в какой обстановке, по какому поводу учинил в каприйской школе Вилонов. Шесть лет спустя я спрашивал об этом Максима Горького, но он, словно отмахиваясь от очень неприятного воспоминания, пожал плечами и ничего мне не сказал. Из слов Крупской (ссылаясь опять на ее книгу) можно понять, что бунт был очень велик, раз пять рабочих слушателей школы (всех их было 12) во главе с зачинщиком Вилоновым были в ноябре 1909 года исключены из школы, покинули Капри и приехали в Париж, чтобы видеть Ленина. Здесь на улице Мари Роз в 14 аррондисмане состоялось первое свидание Ленина с Вилоновым, — **ленинцем на 14 лет раньше самого Ленина.** При свидании Ленин узнал, что лицо, подписывавшееся «Михаил Заводской» и посылавшее ему письма из Екатеринослава, есть Вилонов. Он быстро заметил и другое, что Вилонов фигура незаурядная и об этом своем впечатлении Ленин вечером в тот же день писал Горькому. Ленин писал, что с Вилоновым он «поговорил по душам». **В этой беседе открыл ли Вилонов пред Лениным свой потайной ларчик?** Поведал ли он ему какие мысли о революции в нем были запрятаны? Ни для утвердительного, ни для отрицательного ответа у меня нет данных.

Быть долго в Париже и часто видеться с Лениным Вилонову не пришлось. Мытарства по тюрьмам разрушили здоровье этого крепкого человека. Он был тяжко болен туберкулезом и Цент. Комитет Партии, снабдив его деньгами, отправил для лечения в Давос (Швейцарию). Судя по сохранившимся письмам Ленина, опубликованным в «Ленинском сборнике» между ним и Вилоновым завязывается переписка по самым различным вопросам, в том числе по философии, ставшей в то время для Ленина «bête noire».

Ленин уже опубликовал свою книгу «Материализм и эмпириокритицизм», где излил свое презрение ко всем, кто не принимает материалистической теории познания. Но страсть его еще не остыла. Она бушует, он продолжает «драться» со всеми враждебными философами и, не стесняясь, называет их

просто «философской сволочью». Письма Вилонова к Ленину, касающиеся философии, а очевидно он ею интересовался, насколько мне известно, не сохранились, но вот весьма характерный и красочный ответ Ленина на одно из них:

«Очень рад, что знакомство с прагматизмом отталкивает вас от махизма. Теперь в России усиленно переводят эту «новейшую» **философскую сволочь:** Петцольта и К-о, прагматистов. Это хорошо: когда русская публика и особенно русские рабочие посмотрят в натуре на учителей наших, Богданова и К-о, они быстро отвернутся и от учителей и от учеников. Считать истину инструментом познания — значит переходить уже по сути дела на сторону агностицизма, т. е. покидать материализм. В этом и во всем основном прагматисты, махисты, эмпириомонисты одного поля ягода».

На это письмо Ленина, помеченное 7 апреля 1910 г., Вилонов не ответил. Вместо Вилонова к Ленину обращается его жена, извещая, что здоровье «Михаила» ухудшается и выданные ему на лечение деньги подошли к концу.

«Благодарю, что известили о положении Михаила, отвечал Ленин. Я сейчас предпринял шаги для проведения ему субсидии. Была оказия в Россию и я передал русскому Центральному Комитету, чтобы он провел субсидию Михаилу. Надеюсь недели через две иметь благоприятный ответ».

Письмо Ленина написано 30 апреля, а на следующий день Вилонова уже не стало. Он умер 27 лет.

Н. Валентинов

РУКОПИСЬ ИЗ СССР

О МАНДЕЛЬШТАМЕ

ВОСПОМИНАНИЯ Е. М. ТАГЕР

ПУБЛИКАЦИЯ И КОММЕНТАРИЙ Г. П. СТРУВЕ

Печатаемые ниже (впервые полностью) воспоминания об О. Э. Мандельштаме, записанные в 1962 г., принадлежат перу Е. М. Тагер, скончавшейся в Ленинграде в июле 1964 г.

Елена Михайловна Тагер родилась в Петербурге в 1895 г. Ее отец, еврей по крови, служивший по железнодорожному ведомству, принял православие, чтобы жениться на русской. Е. М. выросла в православной атмосфере и в молодости во всяком случае была очень религиозной. Окончив гимназию Стоюниной, где ее директором был известный педагог и естественник В. А. Герд, а учителем русского языка и литературы — поэт и критик Владимир Васильевич Гиппиус, она поступила на Высшие Женские Курсы, сначала на естественное отделение, но через год перешла на историко-филологическое. Стихи начала писать рано и печатала их во время Первой мировой войны под псевдонимом «Анна Регатт». Была связана с Кружком поэтов при Пушкинском обществе в Петербургском университете и с знаменитым Пушкинским семинарием С. А. Венгерова, дружа лично с несколькими выпестованными в этом семинарии и впоследствии прославившимися пушкинистами (Ю. Н. Тыняновым, Н. В. Измайловым, Ю. Г. Оксманом и др.). В 1916 г. вышла замуж за поэта и тоже пушкиниста (ряд его пушкиноведческих работ был напечатан в 1914-1917 годах) Г. В. Маслова (1895-1920), много обещавшего, но рано окончившего свой жизненный путь. Летом 1917 г. они с мужем уехали в Симбирск, где жили родители Г. В. Маслова, и вскоре Е. М. оказалась отрезанной от мужа: Г. В. поступил во время т. н. «чехословацкого восстания» в белые войска и ушел с армией на восток, а в марте 1920 г. при отступлении армии

Колчака заболел сыпным и возвратным тифом и умер в больнице в Красноярске.

Е. М. оставалась в Поволжьи и работала сначала у белых, а потом на советской службе в Самаре. Была также связана с созданной Гербертом Гувером американской организацией помощи (т. н. АРА), в связи с чем уже позже, по возвращении в Петроград (в конце 1920 г.), была обвинена в «экономическом шпионаже», и выслана в Архангельск, где прожила несколько лет и снова вышла замуж, за некоего Н. А. Авдеева. Брак этот оказался неудачным и был недолгим. Как от первого, так и от второго брака у Е. М. было по дочери.

В 1927 г. Е. М. вернулась в Ленинград и приняла участие в литературной жизни. В 1929 г. вышла книга ее рассказов «Зимний берег». Многие рассказы были навеяны впечатлениями от жизни на севере. Книга эта была переиздана в 1957 г., но без едва ли не лучшего рассказа («Попадья»).

В 1939 г. Е. М. постигла новая и куда горшая беда, о которой она упоминает лишь бегло в своих воспоминаниях: она была арестована, ей было предъявлено снова фантастическое обвинение в «экономическом шпионаже», но на этот раз и в сотрудничестве с «фашистской разведкой». Какую-то роль в ее деле сыграл поэт-футурист Бенедикт Лившиц, с которым ей была устроена очная ставка (сам он тоже вскоре после этого погиб). После десятиминутного разбирательства дела (при закрытых дверях) Е. М. была приговорена к десяти годам лагеря. Эти десять лет она провела на Дальнем Востоке (Колыма, Магадан), после чего прожила еще шесть лет «на поселении» в Западной Сибири и Средней Азии. В 1954 г. Е. М. вернулась в Москву, но только в 1956 г. полная «реабилитация» ее была оформлена, и ей назначена была пенсия.

В журналах изредка стали появляться ее стихи, ее книга рассказов — как уже было сказано — была переиздана, хотя и не полностью. В 1961 г. в «Ученых Записках» Тартусского Университета появились ее воспоминания о Блоке, которого она, правда, лично не знала, но от которого получила два письма. Ею была также написана книга об Афанасии Никитине и его пребывании в Индии. Книга эта была отвергнута советскими издательствами на том основании, что на ту же тему уже появились недавно две книги. Но возможно, что она будет издана посмертно.

Перед смертью Е. М. работала над романом «Светлана» — из жизни В. А. Жуковского, который почти закончила. Таким образом она вернулась к своей и своего мужа первой литературной любви — пушкинской поре.

Е. М. скончалась — повидимому, во сне, от разрыва сердца — около 12 июля 1964 г. Ее нашли мертвой, сидящей в кресле, когда взломали замок в квартире, где она жила, после того как приходившая к ней ежедневно делать уколы медицинская сестра два дня подряд не могла достучаться до нее. Е. М. жила в это время совсем одна — жившая с ней до того внучка (дочь ее дочери от второго брака) уехала на каникулы к матери на Урал.

Отдельные отрывки из воспоминаний Е. М. Тагер о Мандельштаме были напечатаны (частью анонимно, поскольку они набирались еще при ее жизни) в первом томе Собрания сочинений Осипа Мандельштама под редакцией Г. П. Струве и Б. А. Филиппова (Вашингтон, 1964). Два небольших отрывка под заголовком «Две записки» появились также в четвертом выпуске альманаха «Воздушные Пути» (Нью Йорк, 1965).

Глеб Струве

Честолюбивый сон он променял на сруб
В глухом урочище Сибири...

О. Мандельштам

Не вспомню точно — была ли я в последнем классе гимназии или уже на Бестужевских курсах, когда на каком-то литературном концерте мне показали худощавого юношу среднего роста с острыми чертами лица, с недоверчивым быстрым взглядом из-под длинных ресниц. Подруги-стоюнинки пояснили:

— Мандельштам, тенишевец. Пишет стихи.

Тоже мне сенсация! Да какой же тенишевец в начале десятых годов не выступал со стихами?

Писал стихи мечтательный сероглазый Виктор Жирмунский,[1] поклонник лирики Владимира Соловьева и знаток (уже в те годы) раннего немецкого романтизма. Он восклицал печально:

Не может быть, что нет тебя со мной,
Что я один остался в вихре бала.
Я все цветы отдам тебе одной
И всё отдам, что только сердце знало.

Писал стихи начинающий критик Юрий Никольский[2] — нескладный, сутулый, некрасивый, как гадкий утенок. И глаза у него загорались голубым огнем, когда он читал:

Всё полно тихими снами,
Закат стал пурпурный,
И протянулся меж нами
Сказочный мостик ажурный.
Только неслышно дремали
Под мостиком темные воды.
Звали в какие-то дали,
Ждали какой-то свободы...

И длинноногий Миша Пергамент, «как дэнди лондонский одет», с тщательной укладкой гладких черных волос, небрежно грассировал с эстрады:

В тишине ночных полей ждет моя могила,
Принеси мне орхидей с Голубого Нила...

А мы слушали. И не спрашивали, цветут ли орхидеи в дельте Голубого Нила, и зачем потребовалось Мише Пергаменту это редкое растение. Совершенно искренне мы принимали данные упражнения за поэзию. В самом деле, рифма налицо, метр соблюдается, — что же тут придираться?

И у многих, многих моих подруг братья родные и двоюродные, проходившие последние семестры Коммерческого училища княгини Тенишевой, писали стихи, — то чуть получше этих, то чуть похуже, то совсем хорошо, то совсем плохо. И вот еще этот остроглазый Мандельштам, — тоже тенишевец и тоже пишет стихи. Подумаешь, удивил!

Только он действительно удивил — и очень скоро, и очень глубоко. Появилась книжка — тонкая как революционная брошюра. Серозеленая обложка и на ней прямые черные буквы: КАМЕНЬ.[3] Обыкновенный камень, не самоцветный жемчуг-маргерит, не «кусок сбереженного кварца», как у Бальмонта, как у Брюсова, — а просто-напросто камень — неотесанный, нетраненый и, должно быть, тяжелый. Странное название для первого сборника молодого поэта...

Читаю страницу за страницей — и удивляюсь всё боль-

ше. Кое-что из этих стихов мне уже встречалось в журналах. Но, собранные вместе, они бьют по сердцу с неведомою силой. Ничего изысканного. Никаких голубых орхидей и ажурных мостиков. Все слова — общеизвестные, все взяты в их прямом и строгом значении. До чего это просто, Боже мой, до чего это просто!

В кустах игрушечные волки
Глазами страшными глядят...

Да, страшными, воистину страшными, хоть и игрушечные... Или еще: «Кинематограф. Три скамейки...» Точно — до прозаизма. А дальше — нарастающий гул урагана:

Разлука. Бешеные звуки
Затравленного фортепьяно.

Или это:

Над желтизной правительственных зданий
Кружилась долго белая метель,
И правовед опять садится в сани.
Широким жестом запахнув шинель.

Как непринужденно сменяются эти ясные образы! Нет, этот не будет звать в «какие-то дали», ждать «какой-то свободы». Он точно знает — **какие** дали и **какая** свобода. Он безошибочно назовет их, если будет нужно. Но — будет ли?

Ни о чем не нужно говорить,
Ничему не следует учить,
И печальна так и хороша
Темная звериная душа...

Нет, после Пушкина нам еще не встречалось такого пристального, такого сильного зрения. И такого совершенства в определении, в назывании предмета. Каждое явление высмотрено, понято, уложено в памяти, отпечатано в сознании, —

Как на фаянсовой тарелке
Рисунок, вычерченный метко...

Казалось бы, после творческого акта — как не оглянуть-

ся, как не залюбоваться сотворенным, как не сказать себе, что «это хорошо»? Нет, — **этому** оглядка не свойственна. Он сотворил, осознал, дал имя — и вот уже отошел, отвернулся.

И плывет дельфином молодым
По седым пучинам мировым.

Он совсем не дорожит достигнутым. Он даже согласен, чтобы оно, увиденное, осознанное — снова стало небывшим:

Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись...

И углубляясь в его открытия мира — я удивляюсь всё больше, всё больше — и ему, и миру, и себе, — как это я до сих пор этого не знала.

Самое глубокое удивление, самое знаменательное открытие оказалось для меня связано со стихами:

Сегодня дурной день,
Кузнечиков хор спит...

Я знала Пушкинские ямбы, знала Блоковские паузники, а с **такой** мелодикой еще не встречалась. Обычно, стихи я читала себе вслух. Но не искушенная в античных метрах — прочитала их не мудрствуя, как трехстопный ямб. Получилась бессмыслица: **так** эти стихи не существовали. Попробовала и так и эдак, и набрела на догадку: подчеркивать голосом удары ритма, не смущаясь тем, что два ударных слога приходятся рядом. И стихи Мандельштама зазвучали! Зазвучали как псалом, как торжественнейшая музыка!

Явлений раздвинь — грань,
Земную разрушь — клеть
И яростный гимн — грянь,
Бунтующих тайн — медь!

Какой-то толчок в сознании, какая-то минута просветления — и мне стало ясно, что значит ритм как основа поэтической речи. И это было уже навсегда. А в мое восхищение сти-

хом Мандельштама проник — и тоже навсегда — оттенок признательности за то, что он мне это открыл.

Познакомиться лично с поэтом было для меня неизбежно. Мы с ним принадлежали к одному поколению. Мы происходили из одного слоя петербургской русско-еврейской интеллигенции. У нас имелись общие друзья. Нас учили одни и те же учителя.[4] Мы были одного поля ягоды. Мы непременно должны были встретиться.

Как нередко бывает в больших городах — первое знакомство состоялось по телефону. Вот как это случилось:

Стояла чудесная солнечная сверкающая весна 1916-го года. Я задумала отпраздновать мой «день ангела» (21-е мая) новым способом. Отменив обычную именинную вечеринку, я пригласила двух-трех моих близких подруг и несколько знакомых студентов провести целый день за городом, в Павловске. Мы сели в утренний поезд, запасшись большим тортом и надлежащим количеством конфет. В полдень добрались до дворцовой Павловской фермы; там, в ожидании кофе со сливками, кормили тортом великолепного павлина и читали хором стихи — преимущественно ранние Гумилевские: «Орел летел всё выше, всё вперед...», «Он поклялся в строгом храме...», «Юный маг в пурпуровом хитоне...»

Нашим хором дирижировал очень милый юноша В. Г. Р.[5] — у него тоже была неистощимая память на стихи; на строфах Блока и Гумилева и завязалась в те дни наша дружба. Может быть, для придания себе весу в девичьих глазах, а может быть и от чистого сердца, Р. не раз упоминал своего хорошего знакомого, молодого поэта Осипа Мандельштама, — и даже вызвался пригласить его на наш пикник.

Много стихов было прочитано, много кофе выпито, и пышный торт заметно поубавился, когда я напомнила Р-у его намерение:

— А где ж ваш Мандельштам?

— Он как раз вчера приехал из Москвы. Я ему звонил, — он хотел примкнуть к нам. Наверное, всё забыл или перепутал. Чудак рассеянный... вот будет жалеть.

Я сложила в коробку остатки торта.

— Передайте это ему. Чтоб еще больше жалел...

На другой день меня попросили к телефону. Я не узнала

голоса, но узнала интонацию: где-то я слышала эту напевную, скандирующую речь.

— Говорит Мандельштам... Я вам благодарен. Я искренне тронут. Подумать только, — мне было страшно открыть коробку. А вдруг там какой-нибудь ужас? Вдруг — лягушка? Вдруг — крыса? И что же я вижу? — роскошный торт! Ах, как жалко! Ах, как жалко!

Напевные интонации переходят в патетические.

— Жалко — чего? — спрашиваю. — Что вам оставили мало торта?

— Ах, нет! Что я не попал на ваш праздник! Нет, я не мог... Ах, я не мог! Но мы еще увидимся с вами...

Мы и вправду увиделись — и очень скоро. Еще не прошла сверкающая, залитая солнцем весна. На Елагином в молодой траве еще мелькали белые ветреницы, а на Невском уже продавали сирень. И курчавые летние облака уже разгуливали «на бледноголубой эмали, какая мыслима в апреле...»[6]

В такое лучезарное утро меня «вызвонили» с Тучковой набережной в Саперный переулок к Анне Яковлевне Т.[7] С этой чудесной женщиной я была связана по организации Детского Городка. Это было нечто вроде клуба для детей воинов, ушедших на фронт, и вообще для безнадзорных детей городской бедноты. Мне там приходилось быть затейницей, сказительницей, экскурсоводом и лектором, — всё это, разумеется, в порядке чистого энтузиазма. Я с увлечением работала и сердечно привязалась к руководительнице и вдохновительнице этого дела.

Анна Яковлевна была примерно вдвое старше меня, «но как-то трогательно больно моложава». Неотразимо привлекали ее лучистые глаза, ее музыкальная, с легкой запинкой речь. Муж ее был видный адвокат с внушительной внешностью русского богатыря. У них подрастали две хорошенькие дочки. Несмотря на разницу лет и состояний, Анна Яковлевна держалась со мной как подруга. Вскоре приехала из Москвы ее младшая сестра Лиля и стремительно подружилась со мной. Красивая, темпераментная Елизавета Яковлевна была, видимо, причастна к революционному движению; похоже было, что кто-то близкий ей отбывал тюремное заключение; она всё время хлопотала о передачах, писала письма в «Кресты» и с трогательным вниманием вкладывала в них то цветочный ле-

песток, то стрекозиное крылышко. Мне это всё бесконечно нравилось. Мы с ней часами разговаривали о Блоке, с которым нам обоим страстно хотелось познакомиться, и о Максимилиане Волошине, с которым Елизавета Яковлевна была давно и дружески знакома. И, конечно, потоком лились стихи. Случалось, что поздно вечером Елизавета Яковлевна звонила мне: «Прочтите 'Что же ты потупилась в смущеньи'» — и я читала ей по телефону одно, другое, десятое, — и вешала трубку далеко за полночь...

Обе сестры с нежностью говорили про своего брата Сережу. Часто упоминали его замечательную жену Марину, своеобразные стихи которой, наделенные неистовой силой, печатались в петроградских и московских журналах. Сестры рассказывали, как Сергей и Марина, встретившись у Волошина в Коктебеле, поженились к изумлению и недовольству родных, хотя им было всего по 18 лет; как из-за этого раннего брака Сережа оставил гимназию и, женатый уже, сдавал экстерном на аттестат зрелости. Рассказывали и о том, как неумело и по-ребячьи беспомощно Сергей и Марина «рожали» свою первую девочку. Словом, я была уже заочно знакома с этой юной четой. Так что не удивилась, когда меня позвала по телефону Анна Яковлевна: «Сережа приехал. Приходите скорей». А Елизавета Яковлевна добавила: «И еще один его приятель сейчас придет. Погуляем все вместе. Вы смотрите, какое дивное утро!»

Утро дивное. И очарователен синеглазый стройный Сергей Эфрон, с отпечатком духовного изящества в каждом движении, в каждой черте. И как подкупает эта его сердечная манера, когда с первого слова человек вступает в ваш мир на правах старого друга. И весь он искрится шуткой, сверкает весельем. Так бывает лишь в начале жизни, только ante lucem, только в юности, неугнетенной и неискушенной...

А вот и приятель Сергея. Но ведь я видела уже — где-то уже видела я — этот быстрый недоверчивый взгляд и этот высокий лоб, и этот задорный петушиный хохолок надо лбом, и эту манеру — закинув голову, будто сверху вниз — разглядывать собеседника.

Сергей Эфрон называет своего друга:

— Это — Осип Эмильевич Мандельштам. Он вчера приехал из Москвы.

— Да? А мне еще на прошлой неделе говорили, что Осип Эмильевич вчера приехал из Москвы...

Но ведь это хроническое состояние Мандельштама, что он вчера приехал из Москвы, — поясняет Эфрон. — Вы, видно, мало его знаете...

— Мало? Совсем не знаю. Мы только раз говорили по телефону.

Мгновенно Мандельштам впадает в пафос и, закинув голову, становится как будто выше ростом.

— Как, это вы? Ах, это вы! Как я рад! Это было так грустно!.. Так неудачно!..

— Что случилось? — недоумевает Эфрон. — О чем он скорбит?

— Он опоздал на празднество Елены, — подсказываю я.

— Да... да! Я опоздал на празднество Елены! Ах, как жалко! Ах, как жалко!

— Опоздал? Это его второе хроническое состояние, — сообщает Сергей Яковлевич.

И хохочет, и по-мальчишески дразнит угрюмого Мандельштама. Но кто сказал, что Мандельштам угрюм? Он светел и добр, он смеется вместе со своим веселым другом. На них обоих играет золотой отблеск этого весеннего утра. Какое прелестное, воистину доброе утро! Какая прелестная, добрая юношеская дружба! Это чувства подлинные, это мир, очищенный от злобы, от гнева, от недоверия...

Елизавета Яковлевна тормошит нас и торопит:

— Одевайтесь! Одевайтесь! В такую погоду сидеть дома?! Грех, грех незамолимый!

Вчетвером шагаем по Невскому. Солнце, весенний воздух, торопливый поток прохожих, оживленных, нарядных, несмотря на то, что идет уже второй год войны.

Заходим в кафэ «Ампир». Занимаем уютный столик. Здесь, в кафэ — всё еще пытаются жить довоенным духом. Всё так же крепко варится кофе, всё так же сладки пирожные, услужливы официанты, элегантны дамы. И дамские шляпы так же огромны, и всё так же колышатся на шляпах «траурные перья» — это донашиваются громоздкие моды последних предвоенных лет.

Но приметы времени проникли и сюда. С бодрым возгласом: «Он бросил на стол кипу ассигнаций!» — Эфрон оставляет у своего прибора чаевые: несколько миниатюрных синих

чеков на плотной бумаге, с рисунком почтовой марки и со штампом на обороте: «Имеет хождение наравне с разменной монетой». Это «имеет хождение» настраивает нас на современную тему. Вспоминаем популярную формулу: «Прапорщик имеет хождение наравне с офицером», — и некоторое время разговор вертится около офицерских школ, прапорщиков и земгусаров. Я рассказываю услышанную накануне новость:

— Говорят, Блок ушел на войну добровольцем...[8]

— Не может быть! — срывается Елизавета Яковлевна. — Это было бы ужасно!

— Почему ужасно? — вдруг помрачнев, возражает ее брат. — Быть может, нам всем следует идти на войну?

— Я не вижу, кому это следует. Мне — не следует! Мандельштам закидывает голову; сходство его с молодым петушком увеличивается. — Мой камень не для этой пращи. Я не готовился питаться кровью. Я не готовил себя на пушечное мясо. Война ведется помимо меня.

— Война проигрывается, — зловеще шепчет Елизавета Яковлевна. — Идти сейчас на фронт — безумие, бессмыслица...

— Война проигрывается, — повторяет Сергей. — Тем больше оснований нам идти на фронт...

— Как, Сережа! Ты пойдешь защищать самодержавие?! — У Елизаветы Яковлевны даже слезы в голосе задрожали.

— Есть многое, помимо самодержавия, что я пойду защищать. Еще есть. Быть может, скоро не будет.

— Неудачные войны всегда ведут к переворотам, — заявила непреклонно Елизавета Яковлевна.

Мы все знали, что она хочет сказать. Кто-то из нас вымолвил — или мы все сразу произнесли — слово «революция». Это слово жгло нам губы. Оно висело в воздухе. «Революция будет!» — говорили в госпиталях раненые солдаты. «Революция готовится», рассказывали «милосердные сестры», побывавшие на фронте... «Революция назревает!» — утверждали приехавшие в отпуск молодые офицеры — прапорщики из студентов. Да, она близилась, мы слышали ее голос, и, словно Блоковские мистики, окликали друг друга:

— Ты ждешь? — Я жду. — Уж близко прибытие...

Мы верили — оно близко. Мы не представляли и не предполагали **— как** оно произойдет, и **что** — какие страшные кон-

кретности, какие потоки огня и крови польются на нас вслед за этим. Мы знали одно: это неизбежно. Близится животворящая буря, не останется камня на камне от старого мира, привычного нам с рожденья. И мы радостно — да, радостно! — приветствовали ее, эту бурю, это великое преображение жизни.

В то светлое утро мы четверо говорили о близости страшных событий, и речи наши были сдержанны, слова подобающе серьезны, а голоса помимо воли звенели восторгом, — как будто в канун великого праздника. Потому что мы все были в таком расцвете юности, в таком победном и радостном состоянии духа, когда не пугает никакая катастрофа, никакой переворот не страшен. В это время пугает только ровный путь без катастроф, страшно только прожить жизнь без переворотов.

Никто не предвидит своего будущего. Какое счастье!

А днесь... О, если бы тебе тогда приснилось,
Что будущность для вас обоих берегла...

Могли ли мы подозревать, какие удары обрушатся на нас всех — и как скоро, и как беспощадно. И как мало, какие жалкие крохи дано будет нам уберечь от нашего душевного богатства, от нашей молодой искренности, от бескорыстия наших сердец.

Гоголь учит: «Забирайте с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет, забирайте с собою все человеческие движения, — не оставляйте их на дороге». И я, пускаясь в долгие скитания, захватила с собой все светлые впечатления моих ранних лет. В ряду этих светлых впечатлений — солнечный день петербургской весны и освещенные душевным горением молодые лица Сергея Эфрона и Осипа Мандельштама.

* * *

Это я провожала мою последнюю девичью весну. Осенью 1916 года я вышла замуж.[9] Мы с мужем однолетки, оба студенты и оба филологи.

Мы встретили новый, 1917-й год в «Привале Комедиантов»,[10] в модном подвале у Марсова Поля. В «Привале» было людно и шумно, и очень красочно. Абстрактного искусства тогда еще не было, но самые видные из левых художников приложили руку к сводчатым стенам подвала, покрытым смелой и необычной живописью. На столиках вместо скатертей лежали деревенские цветные платки. Электрические лампочки загадоч-

но струили свет сквозь глазные отверстия черных масок. Столики обслуживали арапчата в цветных шароварах. Подобно гению этого места, улыбалась гостям хозяйка — молодая брюнетка восточного типа, в эфектнейшем платье, сочетавшем белое, красное и золотое. Ее муж, директор подвала Б. К. Пронин[11] ходил между столиками, а за ним брела какая-то беспородная шавка, изображая или символизируя «Бродячую Собаку», предшественницу «Привала Комедиантов».

Мы с мужем заняли отдельный столик. Нам никого не было нужно, нам нравилось «одиночество вдвоем». У нас не хватило денег на вино, но мы опьянели от этой причудливой обстановки.

Поблизости от нас, между стриженой белокурой головкой Марии Левберг[12] и темной высокой прической Маргариты Тумповской,[13] обозначился острый профиль Мандельштама, его высокий лоб. Пронин наклонился к Мандельштаму, что-то ему прошептал. Мандельштам сердито закинул голову, его длинные густые ресницы дрогнули, — он упорствовал, — но обе соседки, справа и слева, взяли его под-руки и заставили встать. Пронин своим приятным певучим голосом поздравил гостей с Новым Годом и объявил, что сейчас мы услышим новые стихи Осипа Мандельштама.

И мы услышали их. В то время все поэты, читая стихи, более или менее соблюдали законы ритма, — но чтение Мандельштама было больше, чем ритмично. Он не скандировал, не произносил стихи, он пел как шаман, одержимый видениями.

Мандельштам пел, не сдерживая сил, он вскрикивал на ударениях — и, вероятно, эти донельзя насыщенные, эти предельно эмоциональные стихи невозможно было бы донести до слушателей иными средствами. Прочитанные обветшавшим «выразительным» способом, эти стихи выглядели бы как пародия. У Мандельштама они звучали как заклинание. В ту новогоднюю ночь он пропел нам стихи о войне, — о европейской войне, что длилась с ранней осени 1914 года и теперь готовилась захлестнуть 1917-й. Патриотический лексикон военных стихов того времени начисто отсутствовал. Не было в этих ямбах ни коварных тевтонов, ни наших непобедимых штыков и ядер, ни даже сверхсовременных, не вполне еще освоенных дирижаблей и цеппелинов. Поэт пропел о том, как вступают в битву лев, петух, орел. Не лев из зоопарка, не петух из курят-

ника, а существа мистической силы — ведущие начала европейской истории в гриме геральдических зверей. Стихи были фантастичны, страшны, неотразимы. Они, кажется, никогда не появились в печати. Было в «Tristia» нечто похожее («Зверинец»), но не то.[14] Впрочем, он не раз переделывал стихи до неузнаваемости; нередко возвращался и к прежним замыслам.

Он пропел до конца: горящие глаза погасли, темные ресницы почти сомкнулись. Экстаз кончился. Осип Эмильевич сел рядом со мной, — уже будничный, уже не вдохновенный.

Я спросила, будут ли опубликованы эти стихи. Он ответил: «Во всяком случае не теперь. Может быть — после войны». И добавил:

— Боюсь, что мы все долго не будем появляться в печати. Идут времена безмолвия.

Я только повела на него изумленным взглядом. Ничего я не поняла. А над городом уже стояла голубая морозная полночь, — первая ночь первого революционного года.

Мы расстались на несколько лет.

* * *

Новая веха жизни и новая встреча с Мандельштамом. И так причудливо получилось, что опять мы встретились в святочный вечер на переломе 1920 и 1921 годов.

Три года я провела в Поволжьи, видела гражданскую войну, голод, разруху. В последний вечер 1920 года я, как из другого мира, возвратилась в Петроград. Поезда ходили вне графиков и расписаний, и никто не встретил меня. Извозчиков не было. На Московском вокзале нашелся бойкий гаврош с салазками. Я привезла родным неслыханный дар: три пуда муки. Мой мешок улегся на салазки, а я пошла за ними, направляясь к Летнему Саду. Я шла как оглушенная, едва узнавая пустые, неосвещенные улицы с их глухо запертыми парадными, с их сугробами снега до вторых этажей.

И вот я на родине, — но в чужой квартире, в незнакомой обстановке. Неуверенно спрашиваю о людях мне дорогих — и безрадостно звучат ответы. Мало кто уцелел из моих гимназических подруг, из университетских друзей. Одни покинули Страну Советов, другие ушли из жизни. Страшные годы пронеслись над Россией.

По приезде я разыскала Рождественских — Всеволода и Инну.[15] Они жили на углу Невского и Мойки — в Доме Ис-

кусств (бывшее Благородное Собрание — «Сумасшедший корабль» Ольги Форш).

Вечером в «Корабле» толпился народ. Туда запряталось всё, что еще уцелело от литературы, и туда прибилось всё новое, что в ней зарождалось (за исключением, разумеется, искусства Пролеткульта). Анфилада гостиных сияла огнями. Женщины удивляли развязным тоном. Для меня были новостью густо накрашенные рты, — они кроваво рдели, а поблекшие лица выдавали всю горесть, всё напряжение голодных и трудных лет. В кипучем людском движении я различила элегантный облик Николая Оцупа, милое лицо Кати Малкиной, гордый профиль Анны Радловой, узнала Акима Волынского, Я. Н. Блоха[16] и, наконец, Мандельштама. Все, все осунулись, все постарели, все смотрели беспокойно и невесело, и, глядя на каждого из них, я думала: «Живым, живым казаться должен он».[17] ...Люди усердно старались казаться живыми, а я не могла отделаться от ощущения, что брожу среди призраков. Уж очень не совпадали мои поволжские впечатления с этими нарядами, с этими яркими губами, с этими псевдобеззаботными разговорами.

У меня завязалась тихая беседа с Мандельштамом. Мы углубились в какие-то давние воспоминания, когда перед нами возникла блистательная Лариса Рейснер.[18] В живописном платье из тяжелого зеленого шелка, соблазнительная и отлично это знающая, она стояла как воплощение жизненной удачи, вызывающего успеха, апломба. Какой контраст с тем, что я видела в глубине России! Какой невыносимый контраст.

Я что-то сказала Мандельштаму относительно этого контраста, этого страшного разрыва между социальными группами, между теми неимоверными трудностями, с которыми борется русская провинция, русская деревня, и этим привилегированным, пресыщенным, беспечальным существованием.

Мандельштам из-под густых ресниц рассматривал великолепную Ларису и внушительно говорил:

— Совсем недавно еще она была в нашем положении. И надо сознаться, что она его переносила неплохо. А теперь...

— А теперь она блистает в вашем кругу.

— Мы приняли ее в наш круг не потому, что она занимает блестящее положение, а несмотря на то, что она его занимает.

Подошли Рождественский, Оцуп; наш разговор снова прервался — надолго, надолго.

* * *

«В Петербурге мы сойдемся снова...»[18а]

Почти семь лет прошло в жизненных битвах. Только в конце 1927 года я обосновалась опять в моем родном городе, теперь уже принявшем имя Ленинграда. Литература стала моей профессией.

Конец двадцатых годов прошел у меня без встреч с Мандельштамом. Он был то в Москве, то на Кавказе; если приезжал в Ленинград, то ненадолго и без широкого общения с людьми. Даже слухов о нем до меня не доходило. Или доходили самые невнятные.

Люди большой литературной культуры (Стенич)[19] говорили о Мандельштаме, не боясь слова «гениальность»; называли Осипа Эмильевича в ряду лучших русских поэтов. Литературные прихлебатели, которых в Доме Печати было хоть пруд пруди, — повторяли анекдотцы насчет его заносчивости, неуживчивости и даже невменяемости. Повидимому, друзей у него было немного.

Тон в литературных организациях задавали вожаки РАППА'а (у нас ЛАППА'а)[20]. Возникли высочайшие салоны, династически и идеологически связанные с органами госбезопасности. На этой почве культивировалась литература — в небольших количествах, и авантюра — в количествах чрезвычайных. Возникли убийственные методы литературной полемики. Судя по всему, в одном из таких высоких московских салонов зародилась формулировка «внутренний эмигрант» применительно к Мандельштаму. Спущенная сверху, формулировка эта вскоре докатилась до литературных коридоров. В условиях культа личности писатель с таким штампом мог смело считать себя обреченным.

Имя Мандельштама из печати почти исчезло. В 1928 году вышел сборник «Tristia»[21] — книга великой скорби и высокого мастерства, — и опять этот трагический голос умолк. Изредка на страницах журналов мелькали строфы, полные музыки, свежести и силы. Короткий праздник для тех, кто любил, кто лелеял Слово, — а потом снова глухое молчание. Только по рукам ходили шедевры: «За высокую доблесть грядущих веков»,

«Жил Александр Герцевич, еврейский музыкант...»[22] Их потаенно переписывали и с тщательной оглядкой читали.

В 1932 году мы дожили до ликвидации РАПП'а. То ли в порядке некоторой естественной оттепели, то ли по счастливому стечению обстоятельств, но в начале 1933 года стало известно, что Ленинградский Дом Печати предоставил свою трибуну для творческого выступления Мандельштама. Не было ни анонсов, ни афиш — никакой рекламы. Но довольно вместительный зал оказался набит битком. Молодежь стояла в проходах, толпилась в дверях.

Мандельштам читал, не снижая пафоса; как всегда, он стоял с закинутой головой, весь вытягиваясь, — как будто налетевший вихрь сейчас оторвет его от земли. Волосы, сильно уже поредевшие, всё так же непреклонно вздымались над крутым и высоким лбом. Но складки усталости и печали легли уже на этот чистый лоб мечтателя.

«Он постарел!» — говорили в толпе. — «Облезлый какой-то стал! А ведь должен быть еще молод...»

Мандельштам читал о своем путешествии по Армении — и Армения возникала перед нами, рожденная в музыке и в свете. Читал о своей юности: «И над лимонной Невою, под хруст сторублевой, мне никогда, никогда не плясала цыганка», — и казалось, что не слова сердечных признаний, а сгустки сердечной боли падают с его губ. Его слушали, затаив дыхание, — и всё росли, всё усиливались аплодисменты.

Но по залу шныряли какие-то недовольные люди. Они иронически шептались, они морщились, они пожимали плечами. Один из них подал на эстраду записку. Мандельштам огласил ее: записка была явно провокационного характера. Осипу Эмильевичу предлагалось высказаться о современной советской поэзии. И определить значение старших поэтов, дошедших до нас от предреволюционной поры.

Тысячи глаз видели, как Мандельштам побледнел. Его пальцы сжимали и комкали записку... Поэт подвергался публичному допросу — и не имел возможности от него уклониться. В зале возникла тревожная тишина. Большинство присутствующих, конечно, слушало с безразличным любопытством. Но были такие, которые и сами побледнели. Мандельштам шагнул на край эстрады; как всегда — закинул голову, глаза его засверкали...

— Чего вы ждете от меня? Какого ответа? (Непреклонным, певучим голосом): — Я — друг моих друзей!

Полсекунды паузы. Победным, восторженным криком:

— Я — современник Ахматовой!

И — гром, шквал, буря рукоплесканий...

* * *

Жизнь, как калейдоскоп, меняла свои стеклышки. Совершенно неожиданно я встретила Осипа Эмильевича на отчетном выступлении Гептахора.

Студия художественного движения Гептахор в тридцатых годах в Ленинграде имела хорошую репутацию. Работа Гептахора сливалась с ритмической школой Далькроза и со школой античного танца Айседоры Дункан. Ученики студии — преимущественно молодежь школьного возраста одетые в античные хитоны, с обнаженными руками и ногами, иллюстрировали вольными движениями классическую музыку. Это делалось с большим вкусом; детские тела, проникнутые музыкальными ритмами, выглядели очаровательно. Я была связана с Гептахором родственными отношениями, — моя старшая дочь,[23] которой в то время было лет 14-15, с увлечением, переходящим в энтузиазм, уже несколько лет участвовала в занятиях студии. К сегодняшнему концерту Гептахор хорошо подготовился; были показаны и сольные, и массовые, тщательно срепетированные этюды.

Возле меня оказался Мандельштам. В перерыве моя дочка подошла к нам, — радостная, возбужденная. — «Хорошо?» — спрашивала она всем своим видом.

— Мило, приятно, — сказал Мандельштам, — но насколько всё же искусство классического балета сильнее и глубже...

На лице у девочки изобразился ужас.

— Вы — за классический балет? А Гептахор, по-вашему, не искусство?

У нее было свое credo. В студии «свободного музыкального движения» начисто отвергали классический балет, — отвергали с отвращением, с негодованием...

Осип Эмильевич стал объяснять:

— Я не говорю, что Гептахор чужд искусства. Но в искусстве танца, как и во всех искусствах, есть первая ступень изучения, есть азбука, алфавит. И вот, если Гептахор усвоил пять-шесть первых знаков этого алфавита, то классический

балет — и особенно русская школа балетного танца — знает все тридцать или тридцать пять знаков. Судите сами, кто же свободнее и за кем мне больше хочется идти.

Он посмотрел на девочку, на ее негодование, ее волнение, — и остановился.

— Кажется, вы обиделись? Тогда — простите меня. Простите меня, — повторил он бережно, мягко. — Я не хотел порочить то, что вы так любите. Но, видите ли, искусство не знает полу-правды. А вы останетесь на второе отделение? — спросил он меня. — Я, к сожалению, должен идти.

Он сердечно простился с нами. Дочка смотрела ему вслед.

— Мама! — сказала она, обратив ко мне свои серьезные глаза, — ты знаешь, — он **действительно** большой человек.

* * *

Не всё хочется вспоминать. Но из песни слова не выкинешь.

В течение зимы 1932-1933 г. всё чаще говорилось о каких-то недоразумениях вокруг Мандельштама, о вечных ссорах, вспыхивавших по пустяковому поводу, о преувеличенном болезненном раздражении с его стороны. Он держал себя как человек с глубоко пораженной психикой. Литературные деятели Москвы держались с ним как недруги, как чужие люди. К тому же в это время Мандельштам материально был очень стеснен. И вот пронесся слух, что московский писатель Саркис Амирджанов (Сергей Бородин)[24] учинил дебош в квартире Мандельштама и оскорбил Надежду Яковлевну,[25] — его «нежняночку», его драгоценного друга. Товарищеский суд под председательством А. Н. Толстого вынес какую-то очень двусмысленную резолюцию, вроде того, что Мандельштамы сами де виноваты.

Приблизительно в середине 1934 года Мандельштам с женою опять посетили Ленинград. Я увиделась с ними у нашей общей приятельницы, Л. М. В.[26] Добрая Л. М. обращалась с Мандельштамом как с больным ребенком. В силу этого, разговор прошел сравнительно мирно. Но общий тон его беседы был невозможно тяжел. Чувствовалось, что желчь в нем клокочет, что каждый нерв в нем напряжен до предела.

Мы расстались, условившись завтра утром встретиться в «Издательстве Писателей в Ленинграде». Оно тогда помещалось внутри Гостиного Двора.

В назначенный час я приближалась к цели, когда внезап-

но дверь издательства распахнулась, и, чуть не сбив меня с ног, выбежал Мандельштам. Он промчался мимо; за ним Надежда Яковлевна. Через секунду они скрылись из виду. Несколько опомнившись от удивления, я вошла в издательство и оторопела вконец. То, что я увидела, — напомнило последнюю сцену «Ревизора» по неиспорченному замыслу Гоголя. Среди комнаты высилась мощная фигура А. Н. Толстого; он стоял, расставив руки и слегка приоткрыв рот; неописуемое изумление выражалось во всем его существе. В глубине, за своим директорским столом застыл И. В. Хаскин с видом человека, пораженного громом. К нему обратился всем корпусом Гриша Сорокин,[27] как будто хотел выскочить из-за стола, и замер, не докончив движения, с губами, сложенными, чтобы присвистнуть. За ним Стенич, — как повторение принца Гамлета в момент встречи с тенью отца. И еще несколько писателей, в различной степени и в разных формах изумления, были расставлены по комнате. Общее молчание, неподвижность, общее выражение беспримерного удивления, — всё это действовало гипнотически. Прошло несколько полных секунд, пока я собралась с духом, чтобы спросить: «Что случилось?» — Ответила З. А. Никитина,[28] которая раньше всех вышла из оцепенения:

Мандельштам ударил по лицу Алексея Николаевича.

Да что вы! Чем же он это объяснил? — спросила я (сознаюсь, не слишком находчиво).

Но уже со всех сторон послышались голоса: товарищи понемногу приходили в себя. Первый овладел собою Стенич. Он рассказал, что Мандельштам, увидев Толстого, пошел к нему с протянутой рукой; намерения его были так неясны, что Толстой даже не отстранился. Мандельштам, дотянувшись до него, шлепнул слегка, будто потрепал его, по щеке и произнес в своей патетической манере: «Я наказал палача, выдавшего ордер на избиение моей жены».

Издательство наполнилось людьми. Откуда ни возьмись, появился М. Э. Казаков[29] и со всех силенок накинулся на Толстого.

— Выдайте нам доверенность! — взывал он. — Формальную доверенность на ведение дела! Предоставьте это дело нам! Мы сами его поведем!

— Да что я — в суд на него, что ли, подам? — спросил Толстой, почти не меняя изумленного выражения.

— А как же? — кричал Казаков. — Безусловно в суд! В народный суд! Разве это можно оставить без последствий?

— Миша, опомнись, побойся Бога! — увещевал его Стенич. — Причем тут народный суд? Разве это уголовное дело?

— Это дело строго литературное, — изрек своим тоном философа Гриша Сорокин. И с тихой ехидцей добавил: — На чисто психологической подкладке.

Нет, я не буду подавать на него в суд, — объявил Толстой.

Алексей Николаевич! Да что вы! Да разве можно?

Уже не один Казаков, а двое-трое товарищей бросились убеждать Алексея Николаевича. Все жаждали крови, всем не терпелось как можно скорее, как можно строже засудить Мандельштама. Никто не вспомнил о его больных нервах, о его трудной жизни, о его беспримерном творчестве.

Суд этот, насколько я знаю, не состоялся или кончился ничем. Мандельштама ожидали другие испытания. Он очутился в поле воздействия мрачных сил.

Дальнейшая жизнь его — это цепь репрессий. Осип Эмильевич прошел тяжелую ссылку в Чердынь, потом — несколько легче — ссылку в Воронеж.

Всюду, куда только было можно, его верная спутница Надежда Яковлевна следовала за ним.

Летом 1937 года они вдвоем заглянули ненадолго в Ленинград. Мандельштам приехал с тетрадкой стихов «Воронежского цикла», покорил друзей их взволнованной музыкой. По инициативе Стенича была сделана небольшая складчина, — друзья собрали немного денег, белья, вещей, ибо Мандельштам был без копейки, он обносился, ходил чуть ли не босиком.

Настала минута прощанья. Несколько близких собрались на Московском вокзале. Мандельштам со своей «нежняночкой» спешили навстречу лишениям, навстречу, может быть, гибели. Имущество Осипа Эмильевича было увязано в неказистый узелок. В ожидальном зале возвышалась искусственная пальма трактирного типа. На ветвь этой пальмы Мандельштам повесил свой скудный узелок и, обратившись к Стеничу, сказал: «Странник в пустыне!» Друзья смеялись и плакали. Бедный узелок на пальме — в этом образе вдруг сконцентрировалась

судьба поэта, его страннически неумолимая судьба. И как было тут не вспомнить вещие слова другого великого русского поэта:

Странником в мире ты будешь.
В этом твое назначенье,
Радость-Страданье твое...[30]

В скором времени в Ленинграде узнали, что Мандельштам находится в заключении. И вот, слухи о нем прекратились.

* * *

Литературный быт трещал под ударами сталинских мероприятий. Уже гораздо больше друзей моих находилось по ту сторону решеток, чем по эту. Катастрофа приближалась, почва уходила из-под ног.

В марте 1938 года компетентные органы пристально мною занялись, а осенью 1939 года я была доставлена на берег Охотского моря.

Там, в лагпункте Балаганное я встретила очень доброжелательную, но — не тем будь помянута! — очень путаную Е. М. Н. [31]

Рассказывая мне свою страдальческую повесть, она упоминала, что в 1936 году[32] работала в Чердынской тюремной больнице; в это время там содержался один писатель.

— Как его звали?

— Иосиф Мендельштам.

Я ухватилась за эту ниточку, стала разматывать. Приметы, в ее описании, как будто совпадали.

Чем он болел?

Абсолютным психозом.

На какой почве?

А на такой почве, что сегодня в шесть часов его расстреляют. И каждый день к шести часам начинал психовать. Забьется в угол, трясется весь, кричит, что сейчас его возьмут на расстрел. Ну — трахнутый абсолютно, что вы будете делать?

— А лечили его?

— Лечить было нечем. Просто — переводили часы на два часа вперед. Он видит — восемь часов, а за ним никто не приходил. Посмотрит-посмотрит — и успокоится.

— Стихов он не писал?

Этого Е. М. не знала... Из Чердыни его куда-то увезли. Куда — неизвестно.

Такую сбивчивую информацию я получила в конце 1939 года. Летом 1943 года меня перевели в Магадан. Там я связалась с товарищем моей пушкиноведческой юности Ю. Г. О.[33] Началась наша «переписка из двух углов». В первом же письме Ю. Г. упомянул о смерти О. Э. Мандельштама! Я не могла поверить, просила подтверждения. Ю. Г. ответил: — «К несчастию, это верно. Я говорил с товарищами, бывшими при нем до конца, говорил с врачами, закрывшими ему глаза. Он умер от нервного истощения, на транзитном лагпункте под Владивостоком. Рассудок его был помрачен. Ему казалось, что его отравляют, и он боялся брать пайку казенного хлеба. Случалось, что он съедал чужую пайку (чужой хлеб не отравлен), и Вы сами понимаете, как на это реагировали блатари. Оборванный, грязный, длиннобородый, М. до последней минуты слагал стихи; и в бараке, и в поле, и у костра он повторял свои гневные ямбы. Они остались незаписанными, — он умер

За музыку сосен савойских,
За масло парижских картин».[34]

На этом кончалось письмо. В подслеповатом свете дежурной лампочки я разбирала кружевной почерк Ю. Г. Разобрать было нелегко: прежде, чем дойти до меня, письмо побывало и в потных подмышках, и в грязных ботинках. Зловонный барак распирало от человеческих испарений. На двухэтажных нарах «вагонной системы» копошились жалкие женщины, навязанные судьбой мне в подруги. Они вели свои бесконечные разговоры, в которых каждое второе слово было проклятие, каждое третье слово — непристойность.

А у меня из подспудной глубины сознания выступали бессмертные строки:

Ничего, голубка Эвридика,
Что у нас суровая зима!

Чтобы вечно ария звучала:
Ты вернешься на зеленые луга! —
И живая ласточка упала
На горячие снега.[35]

Ленинград, 1962 г. *Ел. Тагер*

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Жирмунский,* Виктор Максимович (р. 1891) — известный ученый, лингвист и литературовед, автор трудов о немецком и английском романтизме, о фольклоре, о поэзии Блока, о стихосложении и т. д. Профессор Саратовского, а затем Ленинградского университета.

[2] *Никольский,* Юрий Александрович (189?-1922), участник Пушкинского семинария С. А. Венгерова, друг Б. М. Эйхенбаума, критик и литературовед, автор работ о Тургеневе и Достоевском и о Фете. В 1920 г. эмигрировал из Крыма и жил в Белграде, но потом вернулся нелегально в Россию, кажется, с целью вывезти оттуда близких ему людей, заболел тифом в Харькове и там скончался. Некролог Ю. А. Никольского, написанный П. Б. Струве, был напечатан в пражской «Русской Мысли» (1922, кн. VI-VII).

[3] Речь идет о первом издании «Камня» в 1913 г. В 1916 г вышло второе, значительно дополненное издание.

[4] Общим учителем в гимназии Стоюниной и Тенишевском училище был во всяком случае В. В. Гиппиус.

[5] В. Г. Р.: кто обозначен этими инициалами, нам не удалось установить.

[6] Строки из стихотворения О. Э. Мандельштама.

[7] Анна Яковлевна Т., ур. Эфрон — сестра С. Я. Эфрона, мужа поэтессы Марины Цветаевой. Несмотря на опрос ряда друзей М. И. Цветаевой, нам не удалось узнать фамилию А. Я. Эфрон в замужестве. Судьба Е. Я. Эфрон, о которой говорится дальше, нам неизвестна. Она была причастна к литературе и театру, занималась переводами. Отец Эфронов был, повидимому, активным членом партии с.-р. Женат он был на племяннице министра внутренних дел Дурново, которая сама была революционеркой. С. Я. Эфрон, который в гражданскую войну воевал в Добровольческой Армии и попал в эмиграцию, был сначала близок евразийцам, а потом стал активным членом Союза Возвращения на Родину во Франции. Замешанный как-то в дело убийства И. Рейса в Швейцарии, он бежал из Франции и вернулся в СССР, где, повидимому, был вскоре расстрелян.

[8] То, что говорит здесь о Блоке Е. М. Тагер, не совсем точно: в 1916 г. Блок, подлежавший призыву, поступил в инженерно-строительную дружину Земско-Городского Союза и уехал на фронт. Это было 7 июля 1916 г. Похоже поэтому, что то, что описывает Е. М. Тагер, происходило не весной, а ранним летом, на что указывает и цветение сирени.

[9] Е. М. Тагер вышла в ноябре 1916 г. замуж за Г. В. Маслова, молодого поэта и пушкиниста, участника Венгеровского семинария. Шаферами на свадьбе, происходившей в университетской церкви, были проживающий ныне в Париже В. А. Злобин и известный впо-

следствии своими работами о Достоевском В. Л. Комарович (1894-1942).

[10] «Привал Комедиантов» — известное в Петрограде ночное кабарэ, заменившее во время войны еще более знаменитую «Бродячую Собаку», место встречи литературно-художественной богемы.

[11] *Пронин,* Борис Константинович — актер и режиссер, владелец и «хозяин» «Бродячей Собаки» и «Привала Комедиантов».

[12] *Левберг,* Мария Евгеньевна (1894-1934) — поэтесса и переводчица, печаталась в «Аполлоне» и других изданиях.

[13] *Тумповская,* Маргарита — поэтесса, сотрудница «Аполлона», где напечатала большую статью о «Колчане» Гумилева. Дальнейшая судьба ее нам неизвестна.

[14] Стихотворение «Зверинец» было напечатано в горьковской «Новой Жизни» в июне 1917 г., затем неоднократно перепечатывалось в разных альманахах между 1917 и 1922 г.г.; в переделанном виде вошло в книгу «Тристиа». Возможно, что слышанная Е. М. Тагер версия сильно разнилась от всех печатных.

[15] *Рождественские,* Всеволод Александрович (р. 1895), известный ныне советский поэт, и Инна Романовна, ур. Малкина, разошедшаяся впоследствии с Рождественским и вышедшая замуж за б. секретаря журнала «Аполлон» Валериана Адольфовича *Чудовского.* Вместе с мужем была арестована в Уфе по делу Польского католического центра и погибла в конце 30-х годов.

[16] *Оцуп,* Николай Авдеевич (1894-1958) — поэт, один из основателей второго Цеха Поэтов, позднее эмигрант, основатель и редактор журнала «Числа» в Париже.

Малкина, Катя — младшая сестра И. Р. Малкиной-Рождественской, ученица проф. Ф. Ф. Зелинского и одно время невеста его приемного сына Адриана Пиотровского. Стала в конце 1930-х годов жертвой грабителя, пробравшегося к ней в квартиру под видом электромонтера. В 20-х и 30-х годах выступала как критик в советских журналах (статьи о Блоке, об Иннокентии Анненском). Ей посвящено следующее неопубликованное шуточное стихотворение Б. М. Эйхенбаума:

Белый галстучек на груди
И за поясом финский нож.
Я единственная среди
Бестужевских книгонош.

Я напрасно не трачу слов
Говорят другие пусть...
Но господ профессоров
Я совсем, совсем не боюсь.

Жизнь — задумчивый старый парк,
Где *шелестят тополя.*
Я на курсах Жанна д'Арк,
У которой нет короля.

Радлова, Анна Дмитриевна (1891-1951) — поэтесса, переводчица Шекспира, жена известного драматурга и режиссера С. Э. Радлова. Во время войны 1941-1945 г.г. оказалась вместе с труппой театра своего мужа на захваченной немцами территории. Под конец войны она и ее муж были интернированы в лагере Борегар под Парижем, откуда по окончании войны добровольно репатриировались и попали в советский концентрационный лагерь под Рыбинском, где А. Д. и умерла. Муж ее, освобожденный в 1954 г. (?), скончался в 1958 г.

Волынский, Аким Львович (настоящая фамилия Флексер, 1863-1926) — известный критик, мыслитель, историк искусства и балета.

Блох, Яков Ноевич — владелец издательства «Петрополис».

17 Строка из стихотворения А. Блока.

18 *Рейснер,* Лариса Михайловна (1895-1926) — поэтесса. В 1915-16 г.г. основала и редактировала журналы «Богема», «Рудин». Вскоре после революции вышла замуж за известного большевика Ф. Раскольникова (Ильина). Вместе с ним командовала на Волге и Каме речной флотилией против белых. Когда ее муж стал советским послом в Афганистане, она сопровождала его туда. В последние годы жизни была близка к Карлу Радеку.

18а Первая строка стихотворения Мандельштама, написанного в 1920 г.

19 *Стенич* — псевдоним Валентина Иосифовича *Сметанича* (годы рождения и смерти неизвестны), поэта, переводчика, близкого друга Юрия Олеши. Стенич переводил Джойса и Дос-Пассоса, двух западных писателей, которые в конце 20-х и начале 30-х годов стали символом западного упадочничества. Переводы эти печатались в «Звезде» и других журналах. Первое упоминание о Стениче в литературе — в статье Александра Блока «Русские дэнди» (июнь 1918 г.). Здесь Блок передает подробно свой интересный разговор со Стеничем, не называя его. В краткой записи об этом разговоре в дневнике Блока под 31 января 1918 г. он назван «юноша Стэнч». Стенич был арестован и, повидимому, расстрелян в 1938 г.

20 РАПП — Российская Ассоциация Пролетарских Писателей. ЛАПП — Ленинградское отделение той же Ассоциации.

21 Автор воспоминаний, очевидно, допустил описку: в 1928 г. вышел последний сборник стихотворений Мандельштама под названием «Стихотворения». В него вошли стихи и из сборника «Тристиа», который вышел еще в 1922 г.

22 Эти стихотворения Мандельштама стали известны на Западе

сравнительно недавно; одно из них напечатано впервые в нью иоркском издании сочинений Мандельштама (1955), другое — в журнале «Опыты» (Нью Иорк), 1956. № 7.

[23] Речь идет о дочери Е. М. Тагер от брака с Г. В. Масловым, Авроре (названной так в честь героини поэмы Маслова, Авроры Карловны Шернваль). Аврора Маслова, родившаяся в 1919 г., умерла в 1937 г.

[24] *Амирджанов,* Саркис: имеется очевидно, в виду писатель Сергей Петрович *Бородин* (р. 1902), до 1941 г. печатавшийся под псевдонимом «Амир Саргиджан». Он прославился своим романом о Дмитрии Донском (1941), а также написал ряд романов из жизни и истории Средней Азии.

[25] Надежда Яковлевна (ур. Хазина) — жена О. Э. Мандельштама.

[26] Л. М. В.: кому принадлежат эти инициалы, нам неизвестно.

[27] *Сорокин,* Григорий — ленинградский поэт, выпустивший в конце 20-х годов сборник стихов.

[28] *Никитина,* З. А. — может быть, жена писателя Н. Никитина, одного из «Серапионовых братьев»?

[29] *Казаков,* Михаил Эммануилович (1897-1955) — автор романа «Девять точек», повести «Мещанин Адамейко» и рассказа «Человек, падающий ниц» (на тему об антисемитизме).

[30] Строки из пьесы Блока «Роза и крест».

[31] Е. М. Н.: к кому относятся эти инициалы, мы не знаем.

[32] Здесь в рассказе Е. М. Тагер, передаваемом с чужих слов, явная хронологическая путаница: в 1936 г. Мандельштам был уже в Воронеже. Рассказ, очевидно, относится к 1934 г., когда Мандельштам был сослан в Чердынь. Там он покушался на самоубийство, выбросился из окна и сломал себе руку. В том же году, в результате ходатайства его жены, ему было разрешено выбрать другое место ссылки, и он переехал в Воронеж.

[33] Речь идет вне всякого сомнения об Юлиане Григорьевиче *Оксмане* (р. 1894), известном литературоведе, пушкинисте, близком знакомом Масловых в 1915-17 г.г. Он был арестован в конце 30-х годов и сослан, как и Е. М. Тагер в Магадан. Возвратился из лагеря в 1948 г. — сначала в Саратов, а позже (в 50-х годах) в Москву, где был связан с Институтом Мировой Литературы имени А. М. Горького. В конце 50-х и начале 60-х годов напечатал ряд новых работ — о Пушкине, Тургеневе, Герцене, декабристах и др.

[34] Не совсем точно по памяти восстановленные строки из одного тогда еще не напечатанного стихотворения Мандельштама, где эти строки читаются так:

За музыку сосен савойских, Полей Елисейских бензин,
За розы в кабине роллс-ройса, за масло парижских картин.

Стихотворение это впервые напечатано в альманахе «Воздушные Пути» (1961, II). В 1934 г. известный советский критик А. Селивановский цитировал эти строки как пример того, что у Мандельштама «страстное желание вырваться из круга старых дум и привычек и сблизиться с советской действительностью... перешибается старинными воспоминаниями об ушедшем прошлом».

[35] Строки из стихотворения Мандельштама «Пусть мерцает призрачная сцена...» (1920).

О ЦАРЕ НИКИТЕ

СТИХИ ИЗ СССР

Эти стихи мы получили с оказией из СССР. Там они ходят по рукам в списках, без подписи автора. Мы печатаем их, как политический документ, говорящий о настроениях среди советского населения. РЕД.

Все мы маленькие были
Слушать сказочки любили
Про Кощея, про Дадона,
Про царевича Гвидона.
В этих сказках как никак
Побеждал Иван-дурак.
Злые духи погибали
Людей добрых выбирали.
И сажали на престол,
Накрывая к пиру стол.
Нынче всё переменилось,
Царство наше обновилось,
Чудо зеркало у нас
Телевизоры сейчас.
А перо от той жар-птицы
Стоит лишь копеек тридцать.
Самолет, автомобиль
Мчатся так, что только пыль.
А короче, век двадцатый
Очень техникой богатый.
Да чего там говорить,
Только б людям жить да жить.
И скажу вам без прикраски
Нынче б жизнь была как в сказке,
Если б не был как и встарь,
На Москве Никита-царь.
Не читали сказки этой,

Так поведаю я свету,
Чтобы не было сомненья
Ради правды разъясненья
Век двадцатый опишу
Сказку новую скажу.
Принц Никита жил когда-то
Не высоко, не богато,
И за море не летал,
И имел, подобно принцу,
Киев-град — одну станицу.
В ней он жил да поживал
Да о будущем мечтал.
А в Москве на главном троне
Жил Кощей, но не в короне,
А надел на китель он
Высший воинский погон.
Он крестьян с земли согнал
Власть народа расстрелял,
Воевать любил как лев,
Только сам не очень смел.
И в войне он, как Ирод
Утопил в крови народ.
Потому Кощей бессмертный
Был умишком неприметный.
Но давно уж знает свет,
Что людей бессмертных нет.
Вот пришел конец злодея
А наш принц мечту лелеял
И имел одну он страсть
Захватить скорее власть.
Не промчалось и полгода,
Как нашлись враги народа,
Осудили, расстреляли
И Никите власть отдали.
В Кремле слезы утирали
Меж собою враждовали
Маленкова отстранили
Николая посадили,
А Никита, словно птица,
Стал летать по заграницам,

И куда бы не летал
Всем подарки раздавал.
Тем дворец, тому заводик,
Там пшеницы пароходик.
Так он грабил свой народ,
Что б другой кормился сброд.
Раз однажды царь-Никита
Пригласил в Россию Тито
И сказал: «Прости нам, брат,
Немарксистский наш разлад
Палачом тебя прозвали,
И собакой рисовали.
В том Кощей был виноват,
Чтоб ему поганцу в зад.
Потерпи-ка Тито, милый,
Дай-ка мне набраться силы,
И увидишь, я злодея
Уберу из мавзолея,
А пока пускай лежит,
Никуда не убежит».
Улыбнулся маршал Тито,
Обнял тут его Никита,
Самолетик подарил,
И деньжаток посулил.
Вот он царь всему Союзу,
Посадил он кукурузу,
Дескать, кушайте, друзья,
Всё о вас забочусь я.
Царь-Никита был мордастый,
И расчетлив и зубастый,
Кукурузу сам не ел,
А других кормить велел.
Вот мы вспомним для примеру:
Полетел Никита к Неру,
С ним Булганин полетел,
Улизнув от разных дел.
Долго в Азии гостили,
Ели плов, мускаты пили.
Залетели в ту страну,
Где хозяином У-Ну.

И куда б не заходили,
Обещали и дарили.
Из России уплывал
Трудовой наш капитал.
И как только царь-Никита
Нагулялся там досыта,
Неру дал ему слона,
(Мол, не жалко нам г....).
Чтоб кормить нам всех китайцев,
Негров, немцев и малайцев,
Царь подумал: «Как тут быть,
Где бы денег раздобыть».
И нашел, мы это знаем,
Прекратил огромный заем.
То-есть в долг с народа взял,
А обратно не отдал.
А сказал: «Пока терпите,
Облигации храните,
К коммунизму подойдем,
Снова розыгрыш введем»...
Двадцать лет не двадцать дней,
Дальше будет нам видней.
Правда, люди пошумели,
Но перечить не посмели.
Царь с трибуны воду льет:
«Вот сознательный народ».
Тут заметил царь-Никита,
Что ему мешает свита,
А командовать ему
Захотелось одному.
Сразу всех нельзя прогнать,
Могут люди заорать,
«Выгнать всех поодиночке»,
Так решил, и без отсрочки
Царь-Никита ночь не спит,
Звать Булганина велит.
«Ты Булганин Николай,
Как скажу я, так и лай,
Дескать царь у нас хорош,
Каганович — это вошь,

Маленков — тот интриган,
А Шепилов шарлатан.
В общем пыла не жалей,
Всякой грязью их облей.
А не то получишь бучу,
Полетишь и сам в ту кучу.
А поднимешь на них лай,
Будешь третий Николай».
И с поклоном тот ответил:
«Ладно, службу сослужу,
Всё на пленуме скажу».
Царь собрал скорее пленум
И промолвил: «Я измену
Начинаю замечать,
Разрешите показать:
Маленков с дороги сбился,
Каганович заблудился,
Влево Молотов свернул
И Шепилов к ним примкнул.
Чтобы не было раздору,
Нужно выгнать эту свору».
Снова люди пошумели,
И по разному галдели,
Не вопили, не ругали,
Потому — не понимали.
Царь-Никита окопался,
И кричит: «Опять напасти,
Маршал Жуков лезет к власти».
Но и тут схитрил Никита,
Отослал героя к Тито,
И на пленуме опять
Стал Никита выступать:
«Мы министру доверяли
И в президиум избрали
Управлял военным строем,
Стал четырежды героем,
И зазнался наконец
Наш военный удалец».
И Булганин молвил слово,
В подкрепленье царских слов.

С речью выступил Козлов.
Назван он авантюристом,
И военным карьеристом.
Выгнан Жуков из ЦК
И московского кремля.
Снова люди зашумели, Только
силы не имели,
На устах у всех печать, Научил
Кощей молчать. Царь-Никита
не болтая
Снял с поста и Николая,
Из-под зада выбил трон,
Растоптал и выгнал вон,
И отправил, как навоз,
В ставропольский совнархоз.
Стал хозяин тут и там,
Всё теперь решает сам.
Сам придумал семилетку,
Приказал пустить ракетку
На далекую луну,
Разбудить там сатану.
Стаж имея за плечами,
Жизнь хорошую су лил:
«Мы Америку догоним,
А по мясу перегоним,
По одежде, по руде
Будет рай у нас везде».
Сам счастливо поживал,
Коммунизма и не ждал.
С мертвым Сталиным таскался,
Да с китайцами ругался. Культ
со всех сторон громил, Да себя
то позабыл.
Звезд героя аж с избытком,
Нахватал себе Никитка,
В каждой книжке и журнале
Был портрет его вначале. Кто
бы что бы не освоил, Всё
Никитушка присвоил.
Он и пахарь, он и жнец,

И шахтер, отменный спец.
Хоть неважный дипломат,
Но везде он кум и сват,
Так он жил да не тужил,
Часто речи говорил.
Больше попусту трепался,
Пустозвонством занимался.
В Гане строил он заводы,
Покорял в Египте воды,
Со своих три шкуры драл,
За границу посылал.
Ордена как побрякушки
Раздавал за побегушки,
Щедро сыпались награды
Даже тем, кому не надо.
Деньги всем дарил он сходу
Не свои, за счет народа.
А народ то всё терпел,
Хоть и досыта не ел.
Всю казну пустил в развал,
Даже Зверев дуба дал.
Помогал в работе сей
Зять Никиты Аджубей.
Тоже ездил за границу
Да проматывал пшеницу.
И Петровна не зевала,
Что могла, то раздавала,
То машину, то завод,
То новейший самолет.
Так и жили не тужили,
Белый хлеб мы уж забыли,
Наконец понял народ,
Что так дальше не пойдет,
Что с правителем таким,
Мы как шведы погорим.
Вместо ленинских идей
Нас морочил Аджубей.
А Никиткин аппетит,
Всю Россию разорит.
Отобрал он кур и скот,

О ЦАРЕ НИКИТЕ

Сам разъелся словно кот. Деньги
новые он ввел,
На расценках всех обвел.
И такой нам создал рай,
Хоть ложись да помирай. Вдруг
нашлись хитрее принцы, Что
поняли: в силе принцип, Говорят:
«Пиши Никита, Откровенно и
открыто,
Может мы тебя простим,
Но с поста тебя сместим.
Ты простой народ морочил, Дело
партии порочил,
Светоч ленинских заветов
Ты проматывал в банкетах,
И марксистский «капитал»
На подачках размотал. Братской
дружбой прикрывался, Сам
расколом занимался.
Делу партии во вред
Курс твоих последних лет». Он
сначала упирался,
Но потом во всем сознался,
Заявленье написал,
На здоровье всё кивал. Дескать
слаб я был мозгой,
Недомысливал порой,
И прошу меня простить,
И у вас то может быть.
Тут уж Брежнев говорит:
«А народ то не простит, Правил
только 10 лет,
А наделал столько бед.
Нет, браток, сдавай нам дело,
Доведем его умело,
Выпрем твой хрущевский сброд
И поверит в нас народ.
А за жизнь свою не бойся,
Не дрожи и успокойся,
Рук марать своих не станем,

Вы с родней судитесь сами,
Наш народ сказал давно:
Не тревожьте вы г.....
Аппетит свой поумерь
Без работы ты теперь.
На муку и макароны
В ЖКО возьми талоны,
Мемуары не пиши
Не продашь их за гроши.
Восвояси убирайся
Под ногами не мешайся». Не
скорби народ-творец, Что
слетел твой царь-отец, Не
ликуй пока, не время, Не
слетело с шеи бремя, Пока
партия жива
Не пойдут у нас дела.
Ведь теперь цари скромнее,
На словах, но им виднее, Как
сказать и что сказать, Чтоб
тихонько поживать По
крупице, словно липку,
Обобрать народ до нитки.
Профсоюзы, даже те
На партийном поводке. Знать
Россия такова,
Что не может без ярма,
Но когда-нибудь придет
К революции народ.

Расписал я по листочку
И пока поставлю точку. Это
быль не быль а мука Добрым
молодцам наука. Сочинил ее
в наш век
Свой рабочий человек.
Он достойный гражданин И
России верный сын.

ВОСПОМИНАНИЯ О СЕМЕНЕ ЛЮДВИГОВИЧЕ ФРАНКЕ*

Впервые мы встретились 2 ноября 1934 г. в Валериусовой клинике в Амстердаме. Я был приглашен в Голландию Союзом голландских студентов-медиков прочесть ряд докладов по психиатрии. Ван дер Хост — заведующий Валериусовой клиникой — любезно воспользовался этим случаем, чтобы пригласить меня в свою клинику прочесть доклад и на не-психиатрическую тему. Я читал о Гераклитовом понятии человека. В течение всей лекции я видел две пары глаз, так напряженно и с таким пониманием направленные на меня, что я и сейчас живо вижу их перед собою. Это были глаза пожилого человека и другого — более молодого. Младший был проф. Поз, по приглашению которого С. Л. Франк приехал в Амстердам, старший был сам С. Л. Франк. Но не только тогда, но и при каждой встрече, при каждом разговоре, во всем облике С. Л. Франка самое сильное впечатление производили его глаза. Это были самые благостные, самые ясные, самые восприимчивые глаза, которые мне случилось видеть на своем веку; но в то же время чувствовалось: это были глаза, направленные только на истинное, правдивое, вечное, так что их мягкий взгляд как бы обязывал собеседника к правдивости и искренности.

После лекции в доме нашего любезного хозяина состоялся прием, на котором Франк пополнил мою интерпретацию Гераклита со «стихийной» и мистической сторон, исходя из понятия огня и «сухого блеска» и его причастия божественному Свету.

* 10 декабря исполнилось 15 лет со дня кончины большого русского философа С. Л. Франка. Мы отмечаем эту дату напечатанием воспоминаний о С. Л. его друга, известного швейцарского ученого, психиатра д-ра Л. Бинсвангера. Эти воспоминания любезно присланы нам вдовой С. Л. — Татьяной Сергеевной. Они были написаны по-немецки для сборника памяти С. Л. РЕД.

Это было началом нашей дружбы, длившейся до его смерти, и ни разу не омрачавшейся хотя бы малейшей размолвкой.

Вскоре после этой первой встречи я получил — с надписанным посвящением — его статью «Ich» und «Wir» (Zur Analyse der Gemeinschaft). И эта тема была затронута нами уже в Амстердаме. Так как я тогда работал над статьей «Основные формы и познание человеческого существования», статья Франка упала на благодарную почву. Когда-то позже С. Л. написал мне, что моя лекция о Гераклите доставила ему большую радость, потому что я высказал в ней некоторые из его любимейших мыслей о Гераклите; но в его названной выше статье я нашел не только свои «любимейшие мысли», но и глубоко радостные прозрения о единстве «Я» и «Ты» в любящем «Мы», о глубокой разнице между «Я и Ты» и «Я и Оно» и многое другое. Но это была всего лишь одна сторона нашего согласия. Другой стороной, притом совершенно неотделимой от первой, была характерная для русского философского мышления вообще, для С. Л. Франка же в особенности, «склонность к онтологизму» и, таким образом, к «металогическому» обоснованию проблемы познания. «Русскому мышлению», говорит он в своей работе «Die russische Weltanschauung» путь от cogito к sum всегда кажется совершенно искусственным; для него правильный путь, наоборот, ведет от sum к cogito. Под онтологизмом русская философия — еще задолго до метафизики познания Николая Гартмана и фундаментальной онтологии Гейдеггера — понимала точку зрения, что «сознание покоится в бытии, что, следовательно, каждый шаг сознания, каждое углубление и обогащение познания по существу является реальным действием, процессом в самом бытии». А в статье «Das Absolute», которую я вскоре получил от него, С. Л. писал:

> Научное познание является в конце концов простым — хотя и достигаемым лишь через сложные познавательные средства — установлением качества или состава бытия. Философское размышление начинается лишь, когда встает головокружительный вопрос, составляющий истинную сущность философского: А что же такое само бытие? Каким образом вообще что-то есть?

Этим «преодолены» не только Декарт, но, конечно, и Кант и неокантианство, преодолены в том смысле, что — как однажды выразился Франк — в трансцендентализме должен быть

преодолен идеализм. Так как уже тогда я находился под сильным влиянием Гейдеггера, то и это учение пало на чрезвычайно плодотворную почву.

Наша вторая встреча состоялась уже в следующем (1935) году. С. Л. Франк гостил у меня в моей санатории. Ко времени этого посещения приходится действительно «потрясающий» доклад о Достоевском, прочтенный им в Объединении психиатров побережья Боденского озера, на котором присутствовали также Леопольд Циглер (из Юберлингена) и Теодор Хэринг (из Тюбингена). Франк подчеркнул между прочим, что для Достоевского (как, к слову сказать, и для него самого) человеческая душа не представляет замкнутой в себе самой области, но обладает бесконечными глубинами, которыми она коренится в безднах бытия и непосредственно соединена и с Богом, и с диаволом, так что в мгновения действительной страсти она затопляется общими метафизическими силами самого бытия. Представление о замкнутой в себе индивидуальной сфере личности русскому мышлению вообще чуждо. Об этой же мысли напоминает и одна из записей Франка в нашем альбоме под 13.7.1935:

> Попробуйте отделиться и определить, где, собственно, кончается ваша собственная жизнь, и где начинается жизнь другого.
>
> *Из записной книжки Достоевского*

Вторая запись свидетельствует о другой теме, занимавшей нас во время его посещения, отвечавшей одному из основных философских убеждений Франка, собственно говоря, самому существенному из них:

> К психологическому познанию
> Только тот знает его, кто его не познает;
> Тот кто думает, что познает его, не знает его;
> Оно не познается познавающим;
> Оно познается не-познавающим.
>
> *(Кена-Упанишады)*

Следующим летом (1936 г.) мы опять провели несколько недель совместно в Крейцлингене: Наша переписка никогда не обрывалась, и кроме того я смог — изучая его статьи в немецком журнале «Logos» о бытии и познании, глубже проникнуть в его учение. Эти статьи представляют собой отрывки из книги Франка «Предмет знания», вышедшей на русском языке в 1915 г., с ее знаменательным подзаголовком «Об основах и

границах (!) отвлеченного знания». Эта книга появилась в 1937 г. во французском переводе под названием «La connaissance et l'être» в серии Collection philosophique de l'esprit, редактировавшейся Л. Лавеллем и Р. ла Сенном.

Если мышление Франка, как вообще русское мышление, «антирационалистично», то этот «антирационализм», выражаясь его же собственными словами, «не идентичен с иррационализмом, т. е. с некоей романтически-лирической расплывчатостью и неясностью, с логической недифференцированностью духовной жизни; не означает он и отвращения от точной науки вообще или же неспособности к ней». «Одна из существеннейших психологических предпосылок для точной научности — некая рассудочная трезвенность и логическая ясность — для склада русского ума весьма характерна». Всё это необходимо учитывать, чтобы понять, каким образом С. Л. Франк, несмотря на его «христианский платонизм», в котором я не мог следовать за ним, стал одним из моих учителей философии.

Запись С. Л. в наш альбом при его втором посещении в 1936 г. была следующая: «Attingitur inattingibile inattingibiliter» (Николай Кузанский): Эпиграф моей посвященной Вам книги». Книга, о которой здесь идет речь — к сожалению появившаяся только на русском языке в печати — столь же глубокий, как и ясный труд «Непостижимое», законченный в 1937 г. в Берлине. Ей дан подзаголовок: «Онтологическое введение в философию религии». Хотя целью этих воспоминаний и не может быть изложение философии Франка, считаю нужным указать в дополнение к вышеприведенной цитате, что в предисловии к этой книге С. Л. говорит, что основой всего его мышления является philosophia perennis, которую он усматривает в платонизме, особенно в его неоплатонической и христианско-платонической формах, в которых он продолжает действовать сквозь всю европейскую философию — от Плотина и бл. Августина до Франца Баадера и Соловьева. При этом он особенно выделяет имя одного мыслителя, «который, прекрасным образом соединяя духовные элементы античности и средневековья, заложил краеугольный камень философии нового времени». В нем европейский дух достиг синтеза, который никогда более не удавался ему впоследствии. С. Л. имеет в виду Николая Кузанского. Николай Кузанский был для него в каком-то смысле

его единственным учителем философии, и в своей книге — говорит Франк — он задается только одной целью: систематически развить основной принцип мировоззрения Николая Кузанского, идя новыми путями и пользуясь новыми средствами мышления. Опасение, что его книга будет чем-то половинчатым, стоящим на полпути между объективно-систематической «непредвзятой» философией и выросшим из веры богословием, Франк отстраняет замечанием, что эта книга как раз и является ответом на такое опасение. Если эта книга стала одной из моих любимейших, то не потому только, что в ней для меня наиболее глубоким и исчерпывающим образом отражается его духовная личность и, так сказать, содержится весь мир его идей, но и потому, что она захватывает читателя в силу чисто «русского» соединения христианского созерцания и самого трезвого и четкого мышления.

В конце 1937 г. и в начале 1938 г. Франк в последний раз был в Крейцлингене. К этому времени относится его лекция в философском обществе в Цюрихе под председательством Гризебаха на особенно близкую ему тему: «Я» и «Ты». Под 6 января 1938 г. я снова нахожу запись в нашем альбоме — стихотворение Вл. Соловьева — особенно характерное для нашего друга, в последней строфе которого опять содержится свидетельство о нашей главной теме, теме о «Я» и «Ты», о явлении «Мы», о его подлинной реальности. Последняя строфа перепечатана в немецком переводе в моей книге. Вот это стихотворение:

Милый друг, иль ты не видишь,
Что всё видимое нами —
Только отблеск, только тени
От незримого очами?

Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий —
Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?

Милый друг, иль ты не чуешь,
Что одно на целом свете —
Только то, что сердце сердцу
Говорит в немом привете?

После этого последнего посещения в Крейцлингене С. Л. более не возвращался в Германию. В качестве «христианина — не-арийца» он вынужден был покинуть Берлин, в котором обрел свою вторую родину. Он неоднократно говорил, что двух революций слишком много для одной жизни. В 1922 г. он со многими другими деятелями науки и культуры был выслан из Советской России; 15 лет спустя национал-социалистическое правительство гнало его из Германии, и даже во Франции, куда он переселился, подвергло его в скором времени — после начала войны — тяжелой опасности, в полной безвестности о судьбе детей, с которыми он был разлучен. Я посетил его в мае 1939 г. в Фонтене-о-Роз, очаровательном предместьи Парижа, где он чувствовал себя, несмотря на легкое сердечное недомогание, сравнительно хорошо. Затем мы провели целый вечер в Париже вместе с моим другом Евгением Минковским и его женой.

Наша следующая и последняя встреча произошла семь лет спустя, в августе 1946 г. в тихом доме дочери С. Л. в Лондоне. Я был счастлив, что мне довелось несколько дней быть гостем семьи, которая приняла меня так дружественно, что этот домик с его узеньким садиком в предместьи шумной мировой столицы стал мне родным. Сам С. Л. страдал теперь от разных старческих недомоганий, он особенно жаловался на быстрое утомление при работе. Но до самой своей смерти, последовавшей 4 года спустя, он сохранял полную ясность ума, казался моложавым и не прекращал литературной работы. И теперь, как на яву, вижу его устремленные на меня глаза, и его слова еще явственно слышатся мне.

Мои воспоминания о С. Л. Франке отнюдь не ограничиваются нашими личными встречами и разговорами; в значительно большей мере они связаны с его письмами. Сравнительно с нашей регулярной перепиской, длившейся более 15 лет, те немногие слова, которыми мы смогли обменяться в ходе личного общения, дают весьма скромный материал для воспоминаний. Ввиду объема нашей переписки я могу рассказать о ней только отдельными мазками.

При этом я сразу должен отметить, что С. Л. раскрывался перед собеседником в своих письмах гораздо полнее, чем в разговоре. Весьма характерным для его склада души является его собственное замечание на этот счет:

Странно, пишет он уже в 1936 г., что в письмах можно быть гораздо откровеннее, чем в разговоре. Для любящих и для друзей расстояние — великое благодеяние, потому что они только тогда и могут действительно высказываться. И требуется много такта, чтобы при последующем свидании промолчать о том, о чем откровенно говорилось в письмах.

В начале нашей переписки С. Л. неоднократно выражал свою радость по поводу того, что ему — «человеку, внутренне очень замкнутому и уединенно живущему» еще суждено было, несмотря на значительные разногласия, различие характеров, умственного склада и национальности, ощутить «осчастливливающее чувство истинного Мы». Это становится понятным, учитывая, что С. Л., несмотря на лекционные поездки, «жил весьма одиноко». Берлин был для него, по его словам, своего рода пустыней, в которой он жил отшельником. После смерти Макса Шелера, с которым он за последние годы его жизни жил в интенсивном духовном общении, у него не было тесного и плодотворного контакта с немецкими философами. Чтобы показать, в какой мере жизнь и учение соединялись у С. Л., приведу следующие характерные строки:

...При прощании Вы мне сказали, что можно потерять родину и всё же ее обрести. Эти слова меня глубоко тронули, и они соответствуют тому, что и я чувствую. В философской формулировке: если — в чем мы согласны — экзистенциальная основа личности вообще покоится в отношении «Я-Ты», то в жизни всё же имеется два совершенно различных рода «Ты». Помимо «Ты», как члена замкнутого коллектива (семьи, народа и т. д., перечтите, пожалуйста, соответствующее место у Бергсона), «Ты» появляется прежде всего и как правило, как «иной-нежели-я», как чужой, нечто непонятное, только лишь претендующее быть «тоже-Я», с «моей» же точки зрения не имеющее на то права. Это то «Ты», которое для меня сразу же становится «Он». И, наоборот, (это бывает исключением, редким счастьем), когда нам открывается «Ты», которое — «также-как-Я», «мне родственно», «Ты», в котором я самого себя узнаю в Ты. Это отношение и есть любовь, дружба, «чувство родного» в «Ты». Уметь ощущать нечто подобное в каждом «Ты» — великий и редкий дар. В призыве к этому и состоит заповедь любви к ближнему. Но если не считаться с этим идеальным требованием, то встретить такое «Ты» этого второго рода — счастье, незаслуженный дар...

Феноменология явления «Мы» в смысле дружбы и любви

занимает много места в начале нашей переписки. Мы сходились в понимании любви, как «самораскрытия реальности». Вообще его понимание «откровения» было для меня весьма поучительным. Отвечая на мое возражение против его трактовки понятия «откровения» в «Непостижимом», он развил следующую мысль:

> Основоположное для меня понятие «откровения» я принимаю отнюдь не только в религиозном, тем менее не только в богословском смысле. Наоборот, мой метод также и феноменологически-онтологический (хотя я и неохотно пользуюсь словом «феноменология», как приобретшим весьма специфическое значение). Чтобы пояснить дело вкратце:
>
> ...Предметному познанию я противополагаю «откровение» в самом общем смысле, определяемом двумя существенными признаками: 1) «данность», «откровенность» реальности, которая при этом или через это не «познается», а пребывает «трансрациональной» и в этом смысле «непостижимой». 2) Познание, осуществляемое не через активность познающего взгляда субъекта, а через активность направленной на «меня» реальности. Реальность, как «голос», «зов», обращение». Основоположное значение «явления Ты» (как и его объяснения) состоит в том, что «Ты» является «откровенной реальностью», а не объектом познания. И это и является — или должно было бы являться — образцом всякого истинного, глубокого философского познания. Sapienti sat.

Несмотря на свою антипатию к слову «феноменология», Франк в большой мере воздавал должное именно феноменологии Гуссерля. Так в своем и теперь еще актуальном докладе «Zur Metaphysik der Seele» (Das Problem d. philosophischen Anhtropologie) он заявил (отметив, к слову, ценность психопатологии, как науки— в противоположность к теоретической психологии — «действительно обращенной к душе, взятой в целом, к явлениям душевной жизни, как таковым»), что «в этом отношении феноменологию можно назвать первой попыткой сблизить современную психологию с ее истинным предметом». А когда я порекомендовал ему книгу моего друга Е. Минковского «Vers une cosmologie», книгу определенно феноменологического направления, он мне написал, что кроме Бергсона он не знает никого, что обладал бы таким даром изображать непосредственно опытно постигнутое — совершенно вне научно-предметного истолкования. Но Франк всегда подчеркивал, что феноменология немыслима без онтологии; он заме-

тил и здесь: названием книги собственно говоря должно было бы быть не «Vers une cosmologie», а «Vers une ontologie», так как постижение душевного в его непосредственной сущности относится к основной структуре бытия. В связи с его неуклонной феноменологически-онтологической ориентировкой (также в отношении религиозного опыта!) стоит и тот факт, что в сущности платонизм никогда его вполне не удовлетворял. Об этом свидетельствует, например, его замечание в одном из писем о «слабой стороне» романов Чарльза Моргана, которая, как ему кажется, заключается «в соблазне, свойственном платонизму всякого рода, именно в соблазне духовной гордыни, ложного духовного аристократизма». О том же говорит и то обстоятельство, что в **христианском** платонизме он не видел того решения, на которое, как он считал, способен человеческий дух; хотя и причислял, как будет показано ниже, Платона к тем великим умам, которым было дано достичь «подлинного синтеза» философии и религии. Здесь мы касаемся духовной трагичности последних лет жизни С. Л. В ответ на оговорку, с которой я принял его книгу «God with us», написанную в тяжелые годы страданий и ужасов во Франции, и вышедшей в свет на английском языке, книгу, содержащую его религиозное исповедание, основанное целиком на его опыте и восстающей, между прочим, против всякого рода «поверхностного» гуманитаризма и гуманизма. В ответ на эту «оговорку» он написал мне следующие строки, характерные для его дружеского понимания, острой самокритики, высоты предъявляемых к самому себе требований, весьма характерные, наконец, для всей его духовной личности, строки, представляющие интерес не только для изучения его личности:

> Каждого, даже самого благосклонного читателя моих работ, должна смущать во мне двойственность философской и религиозной установки — потому что я и сам до сих пор не преодолел этого дуализма, а скорее лишь предчувствую последний синтез, как недостижимый идеал, и лишь стремлюсь к нему. Действительно трагично, как поздно люди (или, быть может, я!) достигают последней зрелости — именно, когда психофизический инструмент духа уже начинает сдавать в работе. Уже закончив эту книгу, я основательно понял мудрость Паскаля, именно его утверждение, что между чистым мышлением и областью религиозного, как конкретно духовным, лежит такая же пропасть, как между мышлением и материальным бытием. Мно-

гие из моих трудов страдают от нечеткости в отношении этой пропасти, хотя моя основоположная интуиция, о которой я Вам писал, как я надеюсь, хотя бы в зачатке, содержит возможность действительно перекинуть мост через эту пропасть. Хорошо уж и то, что теперь я это по крайней мере понял. Лишь величайшим из мыслителей — Платону, Плотину, Николаю Кузанскому, в новейшее время может быть и Канту — было дано достичь здесь действительного синтеза. Даже у Фомы Аквинского чисто религиозное подавляется его грандиозной метафизической системой (что он сам признал в такой трогательной форме, отказавшись закончить свою Сумму и сказав: «всё, мною до сих пор написанное — всего лишь солома!»). Мое творчество и мышление движется теперь в двух преимущественно, довольно резко разграниченных направлениях: философско-систематическом, чисто созерцательном, и экзистенциально-религиозном, хотя я сам рассматриваю это, как некий духовный соблазн, и перед моим умом носится образ последнего синтеза, написать который у меня, вероятно, не будет ни времени, ни сил. (Письмо от 28.3.1946 г.).

Беру на себя смелость утверждать, что Франк судит здесь о себе слишком строго; потому что, если он и не выполнил этого обязательства (перед самим собой и нами) — написать этот «последний синтез», то он не только в своих трудах дал зачаток возможности преодоления пропасти между религией и философией, но и в своей **жизни** (а это еще более существенно!) этот синтез действительно **осуществил.** Этот синтез проявляется, с одной стороны, в его понимании сущности интуиции и духовной жизни вообще, с другой же стороны — в «соответствующем в одинаковой мере и философии и (христианской) религии» реалистическом отношении к «неискоренимой в эмпирическом ходе судеб мироздания силе зла, страдания и боли», а также в вытекающей из этого критике всякого «рационально-планового утопизма и оптимизма». Так как мы здесь касаемся самой сути учения Франка, следует несколько подробнее привести его собственные заявления на этот счет.

Уже в 1941 г., т. е. к началу трудного периода его жизни во Франции, в одном из писем он формулирует следующую мысль, в равной степени учитывающую как религиозный, так и философский опыт:

> Весь внешний жизненный опыт в конце концов имеет лишь побочное значение, в лучшем случае он служит для того, чтобы вызвать к жизни внутреннюю интуицию.

Здесь мы стоим перед дуализмом (вскрытом и обоснованном в статьях в «Логосе» и в «Предмете знания») между знанием интуитивным и знанием отвлеченным, между «внутренней духовной реальностью» и «эмпирически-рациональной действительностью», выражаясь в религиозных понятиях: между Царством Божиим и «миром сим». При этом для него — бывшего в своей юности страстным поклонником Спинозы (!) — всё здешнее в его коренной сущности является не чем иным, как откровением Потустороннего в его инородности. Таким образом, для Франка Бог «не только трансцендентен, но и имманентен твари», почему он по праву говорит о панэнтеистическом моменте в своем учении. «Преодоление разрыва между религией и философией», однако, проявляется у него не только в отношении проблемы родов знания и незнания и «действительности», но и в отношении понимания личности, как видно хотя бы из того, что еще в 1946 г. он заявляет, что его «основная интуиция состоит в том, что в своих глубинах она укоренена в Абсолютном», почему ему и чужд Киркегардовский «страх и трепет». И здесь следует чрезвычайно значительное для нашей темы замечание:

> «Христианское откровение» означает для меня — при категорическом отрицании всякой догматической узости (и, мы должны прибавить, всех видов богословия!) — просто сверхчеловечески глубокое и точное — выражение этого убеждения.

Общим же как для его религиозной, так и его философской установок является отрицание всех форм субъективизма и притом в полном соответствии с вышесказанным. Так в 1947 г. он пишет:

> Я пытаюсь обосновать среднюю (и, как мне кажется, в какой-то степени новую) установку между философией, как объективной онтологией (что Кант называет «догматической метафизикой», и возможность которой я, как и он, но по другим причинам, отрицаю) и всякого рода чистым антропологизмом, экзистенциализмом, короче, любой формой субъективизма. Основой моей установки является четкое различение между «объективной действительностью» и реальностью, причем последняя (также трансцендентная человеку, но в ином смысле, нежели объективное бытие) раскрывается внутренней интуиции. Человек — соединительное звено между обеими. Основная тенденция — привести трагическое в человеческом бытии (которое я вполне признаю) в равновесие путем раскрытия его духовной укорененности в реальности. (30.9.47 г.).

Мы видим: и **трагическое,** о котором уже неоднократно говорилось, — не «субъективное дело», но глубоко обосновано в сущности и «реальности» человеческого бытия. Об этом С. Л. говорит в письме, написанном в следующем году, в особенно сжатой и яркой форме. Я переслал ему мою статью под названием «Uber den Satz v. Hoffmannsthals: Was Geist ist, erfasst nur der Bedrängte». На это он мне ответил, что сам уже высказывал подобные мысли, не зная этой цитаты. Свою точку зрения он выражает лаконически словами, «что дух осознает себя самого как реальность, только ощущая в **страдании** свою неоднородность с действительностью». И это относится в равной степени к философскому и религиозному «духу».

Проблема **трагичного** и **скорби** подводит нас, наконец, к отношению Франка **к страданию** «от неискоренимой силы» зла и горя «в эмпирическом ходе судеб мироздания». Уже в 1937 г. он пишет из Берлина:

> Меня близко тронули Ваши слова о положительном значении боли. Я уже давно ношусь с подобными мыслями о «смысле страдания». Но мне сдается, что здесь следует делать различие. Очищенная боль, «светлая печаль» (выражение Пушкина) — это самое глубокое и ценное, что может быть даровано человеку. Это как-то соответствует самой глубокой сущности реальности, оно блаженнее, потому что глубже и ближе к Богу, чем всякое ликование, всякая восторженная радость. Я думаю, что мы можем представить себе Божество не в состоянии чистого «блаженства» в обычном смысле слова, а лишь как-то именно в несказуемом состоянии тихой светлой печали. Идеальное духовное состояние и есть — быть «чистым, печальным и спокойным» (тоже слова Пушкина). Наоборот, проявление боли, соединяющееся с унынием и граничащее с отчаянием, является признаком слабости; Церковь совершенно правильно говорит, что уныние и отчаяние собственно и есть основной грех, потому что выявляют неверие, душевную замкнутость. Оно ценно лишь, поскольку оно преодолевается и ведет к «светлой печали». Путь через страдание к тихой, очищенной, ясной печали есть именно «узкий путь», ведущий в «Царствие Небесное». Я, по крайней мере, стараюсь им идти.

Следовательно, «светлую печаль» ни в коем случае нельзя смешивать с сентиментальностью или чувствительностью, но также и с квиетизмом. В одном из писем, написанных значительно позже, Франк говорит о «трезвой деловитости при оценке всех человечески-земных планов и возможностей», ко-

торая следует именно из укорененности в Абсолютном. Из этой же укорененности он выводит и принципиальную установку против демонии утопизма во всех ее формах. С этой точкой зрения для Франка — как и для его великого предшественника Вл. Соловьева — отнюдь не связано толстовское требование о непротивлении злу. Именно потому что он, как человек восточной культуры, обладает гораздо большим опытом о власти зла и хаоса — почему он и «испытывает необходимость держаться за метафизически-последнее, т. е. за Божественное» — он и проповедует «необходимость энергичного отражения сил зла» и притом «в случае необходимости — физической силой».

Почти все затронутые религиозные, религиозно-философские и онтологические темы представлены уже в письме от 1942 г., содержащем разбор моей книги «Grundformen und Erkenntniss des menschlichen Daseins». В этом письме имеются особенно ясные и сжатые высказывания по альтернативе «философская антропология или теоантропология?» Я не задерживаюсь на любовном разборе моей книги, как таковой и отмечу из вопросов, по которым между нами царило полное единодушие, лишь вопросы в части отношения между любовью и («психологическим») познанием в вопросе значения художественной литературы для философии. «Использование идейного содержания художественной литературы для систематической философии» предносилось ему уже с давних пор (об этом свидетельствуют его прекрасные работы о Тютчеве, Пушкине, Толстом, Гоголе и Рильке). «Поэты и писатели», пишет он, «выражают, именно как поэты и писатели, коренную гармонию между человеческим духом и миром — или реальностью».

Но перейдем к критике. Анализ «бытия в мы», «двойственного числа» был для него «весьма полезен», но он понимает дело «несколько иначе»:

> Любовь в Вашем («эротическом») смысле, думается, является скорей высшим цветом, а не корнем бытия. Основное в «бытии в мы» для меня — сопринадлежность *моего* существования и Бытия или Сущего вообще, единство «Я с Богом» или мое существование, как укорененное в «родине», в (истинной!) «основе»; отсюда следует существование, как принадлежность к миру духовному, последним цветом или плодом чего является любовь.

После критики Гейдеггера, при которой не обходится без

недоразумений, и которая заканчивается существенным вопросом (не оставленным, однако, Гейдеггером вне рассмотрения): «Почему же страх, а не доверие?», он продолжает:

> Истинной основой может быть лишь то, что шире, нежели мое собственное существование. Истинная основа, это «родина», почва, «бытие в Мы» и т. п.; вся изолированность и трагика происходит уже в рамках этой первичной основы и поэтому имеет выход. Уже «забота» является чем-то вроде выхода; забота о самом себе есть уже разумное преодоление беды, тем более забота о других, которая есть выражение любви. Кроме того, основная трагичность вовсе не в нужде, заботе, временности; Библия считает всё это последствием *греха,* и, позвольте заметить, в этом вполне права, так как это — последствие отъединения. Гейдеггер вообще не знает истинного источника всей трагики (?) — демоническое, злое, хаотическое, разрушительное, (да и Вы отмечаете это только совсем мимоходом в разделе о «ужасе»). И это вовсе не «богословская» и не чисто «этическая» идея, но самая основная онтологическая черта человеческого существования; совершенно произвольно Гейдеггер сосредотачивается только на «man», на лживо-повседневно-пошлом; но это всего лишь одно, и может быть не наихудшее проявление зла, «диавола», как «отца лжи». Главный враг, который должен быть преодолен — это ослепляющие и сбивающие страсти (чувственные и духовные), которые бушуют во *мне* и стремятся оторвать меня от основы, уничтожить меня и опустошить.

Тогда как я, как ему сдается, лишь смутно чувствую, «что в области религиозного имеется нечто антропологически в высшей мере существенное», его собственная точка зрения следующая:

> Так как человеческое в человеке — это его *Богочеловечность,* то антропология по существу является *теоантропологией.* «Бог» при этом мыслится не как богословское понятие, даже не как религиозная идея в общераспространенном смысле, а как истинная «основа», «родина», как сама идея «Ты», как Святыня, Твердыня, «Альфа и Омега», благодаря чему мое существование оказывается не замкнутой изолированной точкой, но становится корнем, через который в меня проникают питательные соки Перво-основы. Если не учитывать этого взаимоотношения, антропология всегда останется необоснованной. Религиозное является таким образом не чуждой, связующей и съужающей меня инстанцией, а как раз освобождающей родиной человеческого существования, коротко говоря — моей

собственной точкой опоры. Поэтому, — наряду с поэтами и писателями — и религиозные умы должны были бы быть использованы для антропологии. (12,7.42).

Наша переписка затрагивала, конечно не только религиозные и философские проблемы. Во время его одинокой жизни во Франции практические житейские вопросы — наладить переписку с детьми, жившими в Англии и совершенно отрезанными от родителей, и т. п. — занимали, разумеется, много места. Но несмотря на все трудности и заботы, даже серьезную опасность для собственной жизни и страх за жену и детей, умственная работа С. Л. никогда не прекращалась. Что ему при этом мешало, был с одной стороны вопрос, **для кого** он собственно еще писал то, что он имел сказать из самой глубины души, с другой стороны — чисто физическая перегруженность. Ему «приходилось уж признаться», что — несмотря на всю философию — его нервная система «едва выносит страшное напряжение». При этом он имел в виду особенно события, ожидавшиеся в Англии, и неуверенность в том, живы ли еще его дети. В ожидании предстоящих ужасов, писал он, легко склоняешься к пассивности. Единственное, что еще дает смысл его существованию и обнадеживает его — это, действительно, только его работа. В остальном он живет по русской пословице: двум смертям не бывать, а одной не миновать! Внутренне он совершенно спокоен, и ничто не может помешать ему в его философском спокойствии, но для его нервной системы современное состояние мира представляет, как говорилось, большое испытание. Глубокая религиозность его жены — «прекрасного русско-православного склада» — помогала ему во многих трудностях. В 1945 г. С. Л. с женою наконец смог перебраться в Англию и соединиться с детьми. Как сообщает Франк, в Лондоне сразу же дала себя почувствовать напряженная потребность творчества. Он работал над книгой, названием которой намечено было «Реальность человека». Его последняя, появившаяся на русском языке и написанная во Франции книга названа «Свет во тьме», что очень показательно для его тогдашнего душевного состояния.

В начале 1948 г. скончался «последний из его старых единомышленников» — Н. А. Бердяев. Из старой гвардии, давшей начало «идеалистическому движению» против позитивизма и материализма в России в начале нашего века, Бердяев был

предпоследним. «Последним остаюсь теперь я на этой планете». В декабре 1950 г. и «последний» покинул эту планету.

С. Л. Франк до самой смерти отличался необыкновенной духовной бодростью. Всего за несколько дней до своей кончины он спросил меня через своего сына, что мне известно о последних годах Николая Гартмана, с которым он был знаком с 1913 г., и смерть которого его очень огорчила. В ноябре 1949 г. он писал мне о тяжелом сердечном припадке, признанном врачами за жизнеопасный. Он уже давно страдал сердцем. Но кончина его последовала не от сердца, а от болезни легкого. Сам он предчувствовал близящуюся кончину, хотя и не знал точного диагноза. 31 августа 1950 г. он написал мне одно из наиболее потрясающих писем, которые мне случилось когда-либо получить, потрясающее не только из-за его благодарности и готовности к смерти, но и из-за прямо юношеской духовной гибкости и готовности приятия нового явления на философском горизонте. Чтобы начать с последнего: дело идет о книге Мартина Гейдеггера «Holzwege», прочесть которую я ему незадолго до того посоветовал. Он, дразнивший меня прежде моим «гейдеггерианством», и относившийся к Гейдеггеру, как мы видели, очень критически, писал теперь, после прочтения «Holzwege»:

«Считаю, что это поистине крупное событие в истории европейской мысли, для меня же особенно значительное». Франк считает, что в этой книге Гейдеггер вырвался «из тюрьмы точно в безвоздушном пространстве заключенного существования» (хотя этого никогда у Гейдеггера не было) и нашел путь на волю, к истинному бытию. Это направление было закрыто всей немецкой философии последних ста лет. Поэтому этот труд и является событием! Особенно радует его то, что Гейдеггер приходит к тому же выводу, что и его тезис о «Богочеловечности человека, как человечном в человеке». Это согласие он видит в том, что человеческое бытие «имеет смысл и завершение только в отношении к открывающемуся ему и в нем осуществляющемуся Бытию».

> Со мной не могло случиться ничего более значительного и радостного, чем узнать под конец моей жизни, что крупнейший немецкий мыслитель своим собственным путем пришел к выводу, который, как основная интуиция, как некое откровение, руководил всем моим творчеством в течение сорока лет.

Вы понимаете, что это удовлетворение не имеет ничего общего с личным тщеславием, от которого я чувствую себя свободным. Охотно я признаю и то, что по-своему Гейдеггер изложил эту интуицию гораздо более убедительно, чем это удалось мне. Если европейская культура действительно близится к своей гибели, то книга Гейдеггера — ее лучшее прощальное слово, правда, только для тех, кто имеет уши слышать.

Если Франк и слишком сближает основной замысел Гейдеггера со своим, то всё же весьма важно видеть, что такое сближение возможно, и каким именно образом. Я же хочу указать на другую, общую обоим мыслителям философскую интуицию — на вскрытие господствовавшей переоценки «разума». В своей замечательной статье «Nikolai Gogol, als religiöser Geist» Франк говорит о борьбе Гоголя против «гордыни разума» и его утверждении: «Во всем сомневается современный человек, только не в своем разуме». В противоположность ожиданиям, что зло будет изгнано из мира путем нравственного и умственного образования, оно снова вступает в мир иным путем — путем разума. Разум становится модой и, как мода, снова овладевает разумом и т. д. Я не знаю никого, кто способен так поколебать современного человека в его гордыне разума и вселить в него сомнение в его всемогуществе.

В конце этого письма С. Л. пишет с таким спокойствием и выдержкой, как если бы дело шло о повседневной мелочи, что он не знает, когда он сможет еще раз написать мне, и сможет ли это сделать вообще. Во всяком случае он хочет проститься со мной. О нашей дружбе он говорит, как о глубочайшем удовлетворении последних своих пятнадцати лет. Хотя он тогда был уже недалек от своей кончины, я получил от него еще одну открытку, помеченную 16 сентября 1950 г., написанную чрезвычайно ясно и разборчиво, следующего содержания:

Дорогой друг, спасибо за участие. Об объективной стороне дела Вас известит Виктор (его старший сын). Сам я считаю крайне невероятным, чтобы мой организм на 74-м году жизни смог справиться с такой болезнью, как дегенерация легкого. Я и сам чувствую, что постепенно всё слабею, хотя и не испытываю особых страданий. С точки зрения моего внутреннего бытия мне кажется едва ли еще желательным вернуться на короткий срок в сферу этого мира, когда я внутренне уже нахожусь на пути в иное бытие. Ваш С. Франк.

Но и эта открытка не была последним знаком его жизни. В ноябре того же года он переслал мне свою антологию из творений Владимира Соловьева, только-что вышедшую на английском языке. Введение к жизненному труду этого великого русского мыслителя, замечательное по содержанию, объемом в 22 страницы, свидетельствует о полной свежести и живости ума. На книге было написано посвящение: «Людвигу Бинсвангеру с любовью и приветом из области уже недалекой от иного мира».

10 декабря 1950 г. Семен Людвигович отошел в иной мир.

Людвиг Бинсвангер

ВЕРА И ЗНАНИЕ В ФИЛОСОФИИ С. Л. ФРАНКА*

Осенью 1922 года Семен Людвигович Франк в числе других выдающихся ученых должен был в административном порядке покинуть Россию. Перед его отъездом из Москвы группа студентов поднесла ему адрес, в котором горячо благодарила его за его лекции, соединявшие в себе «строгость науки с вдохновенным исканием жизненной правды». Благодаря его, студенты высказывали надежду, что им придется встретиться в научной работе со своим любимым учителем. Эти мечты не сбылись — в 1950 году С. Л. Франк скончался в эмиграции в Лондоне. И всё же мы смеем надеяться, что мечты московских студентов еще сбудутся, что вырастающая в Советском Союзе духовная Россия будет пристально и напряженно изучать философию Франка, быть может, наиболее значительного русского мыслителя рубежа двух столетий и первых десятилетий 20 века.

Как вся значительная и оригинальная русская философия, так и философия С. Л. Франка своими корнями уходит в религиозную веру. Глубина этого ухода соответствует той широте, с которою Франк исследовал сложные связи между религиозным центром русской культуры и всеми ее областями и проявлениями. О широте этого исследования свидетельствуют многие работы, вышедшие из-под пера С. Л. Франка. Назовем главные: — 1) «Демократия на распутье», 2) «Крушение кумиров», 3) «Основы марксизма», 4) «Материализм, как мировоззрение», 5) «Личная жизнь и социальное строительство», 6) «Духовные основы общества», 7) «Пушкин, как политический мыслитель», 8) «Свет во тьме».

* Этот небольшой очерк Ф. Степуна о философии С. Л. Франка — радиопередача. Она была передана в СССР радиостанцией «Свобода». РЕД.

Отличаясь религиозной глубиной русская философия отнюдь не всегда отличалась живым интересом к мысли, как таковой: к ее научной четкости, логической требовательности и объективной доказуемости. У многих мыслителей она как бы преждевременно утопала в несказуемом и непостижимом. Непостижимое является центральным понятием философии Франка, темою его основного труда, носящего то же заглавие, и представляющего собою вершину его религиозного созерцания, выношенного в тайниках личного, но и **церковного опыта.** Философия непостижимого зрела в душе Франка и строилась как система очень долго и медленно, — вырастала на пути тщательной, научной работы. С. Л. Франк никогда не присоединился бы к мысли Киреевского: «Пока понятие ясно, оно еще не зрело». И не начал бы своей книги так, как Бердяев начал свой труд о назначении человека: «Я не собираюсь начать по немецкой традиции с гносеологического оправдания». Франк с такого оправдания и начал свою философскую работу.

В 1915 году он выпустил исключительно серьезный и научно ответственный труд: «Предмет знания» — об основах и пределах отвлеченного знания. Труд этот переведен на французский язык, а частично и на немецкий. В Германии он вышел в лучшем философском журнале «Логос». Франк является, если не учеником Владимира Соловьева — у Соловьева гносеологической серьезной работы нет, — то всё же защитником его мысли что «безусловно независимая и в себе уверенная деятельность человеческого ума есть собственная стихия философии». Что такая независимая деятельность ума отнюдь не должна приводить к рационалистической запальчивости, доказывает как философия Соловьева, так и философия Франка: последним словом их метафизических размышлений и построений является мысль, что **абсолютная истина умом не постижима.**

Являясь последним словом теоретической философии, «Непостижимое» всё же не является у Франка последним словом его религиозного миросозерцания. Закрытый **разуму** вход в Непостижимое открывается вере, которая войдя в Непостижимое, **обретает** его как живого Бога. Этот акт превращения Непостижимого в опыт постигаемого верой Бога, является **мистическим центром** философии Франка. Неразрешимый в порядке отвлеченного богословствования вопрос **теодицеи**, т. е. вопрос оправдания мирового зла, разрешается у Франка дан-

ным ему опытом, что Бог узнается только в трагическом борении и в муках человеческого существования. Этот спасительный опыт неосуществим, однако, односторонними человеческими усилиями; он возможен только потому, что Бог сам открывается человеку, молитвенно устремленному к Нему, как к своему спасителю.

Как у всех подлинных мистиков, т. е. людей **свыше облагодатствованных** религиозным опытом, так и у Франка наблюдается отнюдь не отрицательное, но всё же критическое отношение к догматическим умствованиям. Задачу разума он видит прежде всего в том, чтобы **расчищать дорогу** к вере, но отнюдь не в том, чтобы **создавать** веру или разумом оправдывать ее.

Такое отношение Франка к отвлеченному богословствованию слышится часто в его писаниях. Он откровенно признает, что не **любит** богословской псевдоверы, и предостерегает ищущих Христа людей против «роскоши былых догматических учений и споров». Такое отношение к догматам отнюдь не означает, конечно, их отрицания, но лишь их понимание как символических ознаменований тех путей, которыми верующие восходили ко Христу-Богу.

Люди детской веры могут, конечно, поставить вопрос: если последняя истина раскрывается только вере, то зачем идти к ней длинными обходными путями гносеологических исследований и метафизических построений. Не может ли это привести к ненужным сомнениям и к охлаждению живого ощущения Бога? Ответ на этот вопрос в сущности уже дан всем тем, что мною было сказано о взаимоотношении разума и веры в философском творчестве Франка. Обходный путь к вере необходим в наше время прежде всего потому, что только разум может опровергнуть те лжепрепятствия, которые он же ставит человеку на пути к вере, когда, падая ниже своего уровня, начинает сам превращаться в лжеверу.

Этот процесс превращения разума в веру, начавшийся в 17 столетии и одержавший первую политическую победу на баррикадах французской революции, подменившей веру в личного Бога верою в анонимное великое бытие, еще далеко не изжит: наоборот, он всё еще развивается, всё шире захватывая народные массы, мешая тем передовым людям, которые тоскуют о Боге и взыскуют о Нем, мужественно и смело идти к вере.

Таким запуганным разумом, не понимающим своей под-

линной природы не обойтись без философии того типа, которую защищал Семен Людвигович Франк с целым рядом близких ему мыслителей.

Несколько десятилетий тому назад в России было много просто и крепко верующих людей. Революция смутила многих из них, многих лишила веры. Вернуться к простой вере без углубленного понимания, укорененного в Боге и в мире содружества между верой и знанием будет невозможно, а потому и нельзя сомневаться в том, что надежда провожавших Франка студентов будет новыми и быть может неожиданными для них путями всё же осуществлена.

Ф. Степун

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИБЕРАЛИЗМ

Целеустремленность русской революции 1917 года — и по целям и по методам — была во многом отлична от целеустремленностей предшествовавших ей революций на Западе. Отличия эти наложили особую печать не только на ход революции, но предопределили и ее исход. В чем же эти отличия?

Для понимания смысла событий семнадцатого года, нужно отметить, что концепции, позиции, предрассудки и взаимные неприязни российских политических партий, сложились задолго до революции. Их программы вырабатывались, их прогнозы, оценки и взгляды на революцию устанавливались не в процессе самой революции. Уже лет за пятнадцать до революции, вожди и идеологи этих партий предвосхищали ее характер, развитие, «этапы» и развязку. Они заранее «знали», когда и где революция должна остановиться, что она призвана осуществить, чему должна содействовать и чему противиться. Вложенная заранее в прокрустово ложе схем, русская революция была, таким образом, лишена, в большой степени, элемента непосредственности.

Каковы же были эти схемы и как они отражались на действиях людей, течений и партий их усвоившихъ?

Дилемма либерализма: возможен ли в России третий выбор?

Из всех партий, участвовавших в революции, наименее отягощенной теоретическими схемами, несомненно, была конституционно-демократическая партия. Работая до революции в земствах, думах, военно-промышленных комитетах, кадетская партия обладала штабом людей, которых во Франции называют «министрабль». В отличие от социалистов, либеральная кадетская партия не имела цельного и ортодоксального мировоззрения и законченного взгляда на революцию.

Как почти все другие крупные российские политические объединения, кадетская партия образовалась в начале двадцатого века в результате слияния социально-разнородных, но

объединенных общими идеями, групп. В основном, русский либерализм двадцатого века определился как союз земскихъ либераловъ и деятелей городской интеллигенции. Как и все другие российские политические течения, либерализм претерпел расколы, отколы, увлечения, иллюзии, уклоны влево и отталкивания вправо. К русскому либерализму начала века принадлежали и лидер земцев, славянофил и консерватор, Дмитрий Шипов и конституционалист Петрункевич; в разное время либерализм возглавляли бывший марксист П. Б. Струве, социал-демократы «экономисты» Е. Кускова и С. Прокопович и легальные народники Пешехонов и Анненский; умеренные либералы из интеллигенции — профессора Муромцев и Чупров и более радикальный представитель той же интеллигенции проф. Милюков.

Уже в конце девяностых годовъ, руководство в либеральном лагере переходит от умеренного славянофила Шипова, которому свойственны и отталкивания от царской бюрократии и идеализация царского самодержавия, к радикалу Петрункевичу, выставляющему на нелегальных и полулегальных земских собраниях и съездах требования о конституции и выборах в Учредительное Собрание. Уже тогда, при самом его зарождении, перед либерализмом вставала дилемма, которая так и осталась не разрешенной. «Возможен ли в России, как в экономически-неразвитой стране, третий выбор, т. е. выбор, исключающий самодержавие и народную революцию; выбор исключающий максимализм справа и максимализм слева; есть ли в стране «третья сила», которая могла бы такой выбор сделать и соответствующее движение возглавить?»

Эта дилемма, разумеется, отнюдь не была теоретической. В «освободительном движении», в котором накануне первой русской революции либерализм начал играть всё более значительную роль, дилемма эта предстала во всей своей практической настоятельности. Либерализм в России был слишком слаб, чтобы позволить себе тактику «блестящей изоляции». Поэтому практически ставился вопрос: «С кем идти? С кем и против кого объединяться?»

В создавшихся тогда условиях, выбор был небольшой. П. Б. Струве, который в те предреволюционные годы стал одним из главных идеологов либерализма, считал, что, в интересах борьбы с самодержавием, либерализм должен использовать

народное движение и в первую очередь движение рабочих, которые тогда в большой степени находились под влиянием двух ветвей социал-демократии — большевизма и меньшевизма. «Не против социал-демократии, а рядом и в союзе с ней», формулировал Струве эту тактику в издававшемся им тогда заграницей известном журнале «Освобождение». Этой тактикой, которую при радикализации движения 1903-1905 г.г. старались применять либеральные организации в России, группировавшиеся вокруг «Союза освобождения» и «Союза союзов», объясняется и относительно радикальная программа либерализма тех лет. Программа «Союза освобождения» включает не только ряд радикальных политических требований, имеющих целью уничтожение самодержавия и демократизацию страны, но выставляет и такие требования (конкурируя, в некотором смысле, с социалистическими партиями) о «защите интересов трудящихся масс». «Pas d'Ennemis à Gauche», выражает эти тогдашние настроения либералов Петрункевич, повторяя известную фразу Клемансо.

Разумеется, в какой-то мере, перед либерализмом открывался и другой путь. Не развязывание революции снизу, в союзе с революционными партиями, а ориентация на реформы сверху, со стороны самодержавия. Именно в те годы появляется надежда, что альтернативой революции могут быть реформы сверху. С назначением (после убийства Плеве в 1904 году) либерального министра внутренних дел кн. Святополк-Мирского, самодержавие начинает идти на некоторые уступки и положение как будто, благоприятствует либералам умеренного толка. Беда, однако, была в том (и, по свидетельству Милюкова, беда эта была хронической), что уступки самодержавия были неискренними, «тактическими», целью которых было выиграть время путем использования, если не натравливания, одного лагеря на другой.

«Использование», «лавирование» было тогда излюбленной тактикой многих политических сил. Если либерализм стремился использовать «народ» как элемент давления на самодержавие, то последнее пыталось использовать другой «народ», равно как и дворянство и крупных буржуа, против либерализма. С одной стороны были царские рескрипты и указы, возвещавшие о намерении царя покончить с самодержавием; с другой — манифесты, призывающие «благомыслящих людей» всех

сословий к искоренению крамолы: с одной стороны давались успокоения фрондирующим земским либералам; с другой — массовый расстрел петербургских рабочих 9-го января, событие, знаменующее собой формальное начало первой русской революции.

Двойственность политики власти, разумеется, только заостряла дилемму либерализма. При этом нужно подчеркнуть, что дилемма эта не была исключительно политического характера. Наиболее влиятельные вожди либерализма отдавали себе отчет в том, что одновременно с политическим вопросом — уничтожения абсолютизма — необходимо разрешить вопрос социальный, сводящийся, главным образом, к передаче крестьянству большей части земли, находившейся в собственности государства и помещиков. Объединяя, таким образом, вопросы политический и социальный, кадеты пытались вовлечь в политическую борьбу широкие массы крестьянства; с другой стороны, они понимали, что своей аграрной программой они толкают дворянство на союз с самодержавием.

Двадцать лет спустя, касаясь этой «двуединой» ключевой проблемы русского социально-политического бытия тех лет и тогдашней тактики либералов, П. Н. Милюков писал: «Политический вопрос нельзя было разрешить, не нарушая интересов самодержавия. Социальный вопрос нельзя было разрешить, не нарушая интересов дворянства». Эти «двуединые» интересы попытался нарушить (во имя сохранения монархии и империи) Витте, этот, по выражению Милюкова, «наиболее выдающийся из наших государственных деятелей после Сперанского». Но самодержавие сместило Витте и отказалось от его политики.

Вопрос о тактике в отношении самодержавия и одновременно в отношении революции и «народной стихии», был центральным для кадетской политики и в период так называемого «лжеконституционализма», т. е. в период Государственных Дум. Этой дилеммой — как предупредить революцию реформами сверху, как осуществить либеральную перестройку общества в сугубо-антилиберальной стране — кадеты были заняты и во время войны и накануне Февральской революции. Кадеты видели опасность в двух направлениях: во-первых, в самой революции и ее возможной и даже неизбежной радикализации; во-вторых, в возможном торжестве реакции, которая

опять-таки неизбежно должна была придти на смену исчерпавшему себя радикализму и, как следствие, — к потере (как это было в 1905 году) тех завоеваний, которые кадеты считали для страны необходимыми.

Таким образом кадетская партия пришла к революции 1917 года как партия антиреволюционная. Тот факт, что вначале возглавить новый революционный порядок пришлось именно ей, партии, которая революции не хотела и старалась ее сдержать, является одним из многих парадоксов Февраля. Можно привести множество высказываний, сделанных до, во время и после революции, из которых явствует, что влиятельнейшие кадетские лидеры революцию отвергали и ее боялись. Милюков предупреждал еще до революции, что руководимый им думский Прогрессивный Блок будет действовать только словом, что он предпочитает получить власть не снизу, а сверху. В. А. Маклаков, выразитель более правых настроений в кадетской партии, говорил в мае 1917 года: «Если потомки проклянут эту революцию, то они проклянут и нас, не сумевших во время переворотом сверху предупредить ее».

Тем не менее, несмотря на эти и многие другие заявления, правы также и те, кто утверждали, что «антиреволюционная» кадетская партия, стремившаяся к мирным реформам, к созданию правового порядка, боявшаяся настоящей революции, в действительности активно содействовала возникновению революции. И никто это парадоксальное, на первый взгляд, положение не подтверждает лучше, чем сам П. Н. Милюков. Николая II низложили, согласно Милюкову, не солдаты, рабочие, женщины в очередях, превратившие обычное «уличное движение» в революцию, а Четвертая Государственная Дума, в которой главную роль играли П. Н. Милюков, его кадетская партия и руководимый им Прогрессивный Блок. Сама революция началась, согласно Милюкову, не в феврале-марте 1917 года, а 1-го ноября 1916 года, когда Милюков и другие ораторы Прогрессивного Блока произнесли в Думе свои знаменитые речи против «глупого» или «изменнического» ведения войны старым режимом. Запрещенные цензурой речи этих ораторов, расходившиеся в огромном количестве в списках, начали период брожения в стране и армии, которое достигло высшей точки в февральско-мартовские дни. «Русские реакционеры», признал Милюков десять лет спустя после революции, «совер-

шенно правы, когда они считают думских лидеров ответственными за успех революции».

Однако, это представляется парадоксом только «на первый взгляд», ибо такие парадоксы были свойственны и другим большим революциям. Французская революция началась как революция фрондирующих аристократов, пытавшихся ограничить власть короля. Лидер первой фазы этой революции, Мирабо, был такой же революционер по недоразумению, какими были Милюков, Маклаков и его друзья.

Война — и причина успеха и причина поражения Февральской революции

Борьба за демократизацию страны — эту основу программы кадетов — сильно осложнялась войной. Кадеты, октябристы и даже более правые элементы, как Шульгин, Родзянко, Пуришкевич и некоторые великие князья считали, что именно война так, как она велась тогдашним правительством, может привести к революции. И когда революция вспыхнула, эти круги восприняли ее, главным образом, как протест против «преступного» ведения войны.

Интересно, что от этой весьма спорной концепции о причине возникновения Февральской революции, как протеста против «преступного» ведения войны, Милюков не отказался до конца своей жизни. Много лет спустя, в своих «Воспоминаниях», написанных в 1943 году, Милюков повторял: — «Старое правительство было свергнуто ввиду его неспособности довести войну «до победного конца». Именно эта неспособность обеспечила содействие вождей армии при совершении переворота членами Государственной Думы. Считалось, что освобождение России от царского гнета само по себе вызовет энтузиазм в стране и отразится на подъеме боеспособности армии».

Таким образом, в интерпретации Милюкова, революция произошла, а затем и удержалась, благодаря войне, точнее, благодаря поддержке, которую ей оказали, во-первых, либеральная, но анти-революционная, в большинстве своем, монархически-настроенная Дума; во-вторых, благодаря нейтралитету высшего руководства армии. Однако, та же война или, вернее, продолжение войны, в создавшихся после Февральской революции условиях, привела, по признанию того же Милюкова, к торжеству большевиков. «Война», говорит Милюков,

«приготовила народ к Октябрьской революции». Другими словами, война оказалась одновременно — главной причиной и успеха и поражения Февральской революции.

Это — противоречие Милюков не мог разрешить ни тогда, как лидер кадетов, министр иностранных дел и фактический руководитель Первого Временного Правительства, ни впоследствии, как историк и мемуарист. Красноречиво описывая, как разложение армии делало продолжение войны невозможным, Милюков не менее убедительно доказывает, что заключение сепаратного мира было столь же невозможно по психологическим соображениям. «Возникал вопрос», пишет в своих «Воспоминаниях» Милюков, «может ли Россия вообще продолжать войну. А если не может, то может ли она продолжать прежнюю политику? Оба вопроса, военный и дипломатический, тесно связывались вместе. Но так обнаженно они никогда не ставились. Поставить их так — значило бы выйти из войны посредством сепаратного мира. А это рассматривалось, как позор, несовместимый с честью и достоинством России». Это противоречие в вопросе о войне, в большей или меньшей степени, тяготело над всеми деятелями Февраля. Но с особой силой оно проявлялось у такого последовательного оборонца как Милюков.

Милюков и «исторические предпосылки революции»

Если рассматривать революцию в более общей исторической перспективе, приходится сказать, что «противоречия», которых не сумели разрешить ни кадеты, ни другие, более левые умеренные партии, не исчерпывались только вопросом о войне или даже другими внутренними проблемами, стоявшими в порядке дня во время Февральской революции. «Противоречия» были несомненно более глубокого происхождения. В его трудах, в которых «историк преобладает над политиком», («Очерки по истории русской культуры», «Россия на переломе» и, отчасти, «История Второй русской революции») Милюков, стараясь обнаружить «корни русской революции, приходит к весьма фаталистическому выводу, а именно, что, в результате соединения целого ряда «фактов и обстоятельств», которые были свойственны дореволюционной России «большевизм явился специфическим русским продуктом, выросшим на национальной почве и невозможным в этом виде нигде кроме России».

Таких завещанных русской революции историей России

«фактов и обстоятельств» содействовавших торжеству большевизма, Милюков насчитывает множество. Из них он, однако, выделяет четыре «специфически русских» черты, которые, по его мнению, более всего предопределили большевистскую развязку революции. Это, во-первых, самобытный анархизм русских народных масс; во-вторых, отсутствие в русском обществе достаточно сильных групп, которые могли бы ограничить самодержавную власть; в-третьих, максимализм, незрелость и неопытность русской интеллигенции; в-четвертых, центробежные стремления интеллигентских вождей национальных меньшинств.

Нужно сказать, что в поисках корней революции и в объяснении того, что он называет «внутренними причинами переворота», Милюков, в большой степени, следует по традиционному пути его предшественников, русских историков девятнадцатого века. Самобытный анархизм народа традиционная русская историческая мысль объясняет поздним происхождением государственности, которая в России, в отличие от Запада, была принесена извне и насаждалась сверху. Скудно населенную российскую равнину было трудно защищать сначала от азиатских кочевников, потом от вожделений европейских соседей. Необходимость обороны трудно защищаемой страны вызывала к жизни централизованную власть, которая, в целях той же обороны, вынуждена была закрепостить население. Отсюда община, круговая порука, природный анархизм народа, который, пассивно сопротивляясь, должен был также пассивно повиноваться. На этой «примитивной социальной структуре» выросли и другие вышеперечисленные корни революции.

Самобытный анархизм масс, слабость привилегированных классов, вырождение самодержавия, нерешенные социальные вопросы, в первую очередь, вопрос о земле, осложнялись сепаратистскими стремлениями вождей национальных меньшинств. Хотя Милюков и указывает, что, наряду с объявившимися в революции центробежными силами, существовали и силы центростремительные, поддерживаемые общими интересами, и вытекавшие из географического единства территории и из взаимной экономической зависимости разных ее частей, он всё же полагает, что «сцепление этих частей с целым, скорее поддерживалось пассивной привычкой подчинения, чем со-

знательным выбором и желанием быть вместе» и, что «система крайней централизации и подавления национальных особенностей», обострившаяся со времен Александра III, «возмущала национальное чувство». «Уже к концу девятнадцатого столетия», пишет Милюков, «стало совершенно ясно, что при первом же толчке, который переживет государство, вожди национальных групп, пробудившихся к национальному самосознанию, будут искать вне России поддержки и союзников в своей борьбе против бюрократической централизации и русского национализма».

Был ли у русского либерализма другой выбор?

Почти полвека спустя после революции, когда страсти более-менее улеглись, когда, за некоторыми исключениями, главные протагонисты этой драмы уже ушли из жизни и когда идеологию и политическую практику российских политических партий позволительно подвергнуть критическому анализу, — в исторической перспективе уместно поставить следующий вопрос. В какой мере общая политическая программа и целеустремленность русского либерализма, а также его позиции по таким важнейшим вопросам, как война, вытекали из взглядов его вождя П. Н. Милюкова, и из его оценки политической обстановки того времени?

Теоретически, вне конкретных условий тогдашней России, «война до победного конца в тесном единении с союзниками» была, вероятно, позицией не только наиболее совместимой с честью страны, но и позицией соответствовавшей национальным интересам России. Однако, в **конкретных** условиях Февральской революции эта позиция оказывалась гибельной, ибо продолжение войны, по признанию самого Милюкова, подготовляло страну к Октябрьской революции. «Всё для войны» — значило игнорировать чаяния тех солдат, крестьян и рабочих, которые стали главной силой революции; это значило (а для политика это самое опасное), потерять чувство реального соотношения сил в стране и, принимая желаемое за сущее, действовать утопически.

В стране, где народ склонен к «природному анархизму», где правящий класс политически бесправен и немощен, где интеллигенция исповедует максималистские идеи и где центробежные силы ждут только толчка, чтобы развалить многона-

циональную империю, — в такой стране, конституционно-демократический строй, проповедываемый кадетами, едва ли мог стать реальной альтернативой для сметенного революцией старого порядка. Как же объяснить противоречие или несоответствие между анализом историка Милюкова и политическими целями руководимой им партии? Если либерализм был на русской почве обречен с самого начала революции в силу «специальных факторов и обстоятельств», соединение которых непреодолимо должно было (как утверждает Милюков-историк) привести к торжеству большевизма, почему же Милюков-политик так упорно боролся за заранее проигранное дело? Ведь менее чем кто-либо другой, лидер кадетской партии был похож на Манилова...

Чтобы попытаться ответить на эти вопросы, или, по крайней мере, внести в них какую-то ясность, необходимо обратиться не только к Милюкову, но и к некоторым из его весьма многочисленных критиков. Таковые были и в его собственной партии и, еще более, в других партиях и группах. В. А. Маклаков, никогда не считавший себя особенно связанным партийной дисциплиной (которая, кстати, была в кадетской партии гораздо менее строга, чем в левых партиях), был одним из наиболее красноречивых критиков Милюкова справа.

Интересно отметить, что главным предметом спора между официальным руководством партии и его правым крылом, были не расхождения программного и идеологического характера, а скорее вопросы тактические. Спор между Милюковым и Маклаковым шел не по вопросу о войне и не по вопросу является ли кадетская программа подходящей для переживаемого периода, а, главным образом, по вопросу об оценке революции 1905 года и тех политических возможностей, которые в результате революции появились.

Более глубокие расхождения философско-идеологического характера обнаружились у руководства кадетов с П. Б. Струве, проф. Новгородцевым и другими, которые группировались вокруг сборника «Вехи». Здесь разногласия приняли весьма острый характер, ибо «веховцы» подвергали переоценке ценностей самые основы либерального интеллигентского миросозерцания, пытаясь по-новому осмыслить роль «народа», «интеллигенции», «самодержавия» и других «движущих сил» пореволюционного общества. По существу, Маклаков «идеоло-

гически» был близок к «Вехам», ибо вопрос о тактике или средствах борьбы, на чем он ставил ударение, переплетался с переоценкой существа основных движущих сил в стране.

Спор между Маклаковым и Милюковым шел главным образом вокруг возможностей сотрудничества либерализма с царизмом в период так называемого «лжеконституционализма». Отрицая распространенное тогда убеждение о «неизбежности» новой революции, полагая, что кадетской партии положено быть «партией эволюции» и, что вся ее деятельность должна быть поэтому направлена к предотвращению новой революции, Маклаков считал, что, «при всех своих несовершенствах», уступки, сделанные монархией «заслуживали лучшего приема», ибо они были всё-таки «огромным шагом вперед, по сравнению с эпохой легального самодержавия». Принципиальный противник революции, которую он считал «глупостью» и «преступлением», Маклаков полагал, что даже, если бы Февраль и утвердился, то «получилось бы только то, к чему Россия шла и без того эволюционным путем, к чему она и без революции всё равно пришла бы, хотя и позднее, но зато гораздо более верным путем и с бесконечно маньшими жертвами».

Уже под конец своей жизни, в своих «Воспоминаниях», вышедших в 1954 г., Маклаков напоминая, что главное расхождение между ним и большинством партии, было «в отношении к желательности и возможности у нас революции», писал: «Не хочу сказать, будто кадетские лидеры ее (революцию, **Д. А.**) хотели, и даже просто с нею мирились, как с неизбежностью; но в отличие от меня **они ее не боялись.** Одни просто потому, что в ее возможность не верили; другие рассчитывали, что революцию можно было использовать против власти, а потом остановить в самом начале. А так как угроза революции могла заставить власть идти на уступки, то они эту карту продолжали играть, не отдавая себе отчета, что играют с огнем. Революционеров они продолжали считать не врагами конституционного строя, а «союзниками слева». И тут же он добавлял: «У меня лично было другое отношение к революции. Я считал ее не только «несчастьем», но и очень реальной опасностью».

Известно, что в период «лжеконституционализма» с властью вели переговоры не только такие правые либералы, как Маклаков, Струве, Шипов, но даже и сам Милюков. Перего-

воры велись не только с Витте и Столыпиным, но даже и с Треповым. Как бы ни толковались результаты этих неудачных переговоров, каковы бы ни были взаимные обвинения за ответственность этих неудач, эти эпизоды существенно не изменили ни положения, ни ориентации кадетской партии. И в 1917 году этой «партии эволюции» пришлось возглавить первое революционное правительство.

Либерализм под ударами максимализма справа

Конечно, чтобы осуществить сотрудничество с царским режимом, которое рекомендовали Маклаков, Струве и другие и, которого, может быть, хотели и Милюков и более прогрессивные царские сановники, как Витте, может быть Столыпин и такие министры, как Сазонов, Поливанов и кн. Щербатов, недостаточно было, разумеется, одной доброй воли кадетов. Нужно было также желание и согласие наиболее влиятельных людей царского режима. Нужно было, чтобы царь и они считали, что соглашение с либеральной оппозицией может быть выгодным и правительству и стране. Но в действительности, (и в этом, несомненно, слабость аргументации Маклакова) наиболее влиятельные сановники самодержавия расценивали либеральную оппозицию весьма низко, Либерализм, по их мнению, не имел корней в народе. И либералы, если им дать власть, были бы, согласно их прогнозу, быстро сметены и на место их пришли бы крайние социалисты и анархисты, выражающие социальные вожделения народа.

Такой взгляд на либерализм, как на что-то чужеродное для русской почвы, как на что-то несовместимое с «незыблемыми основами» строя и с укладом жизни России, укоренился среди влиятельной царской бюрократии уже давно. Это был взгляд Победоносцева. А еще в 1884 году граф Дмитрий Толстой, один из наиболее реакционных министров внутренних дел Александра III, говорил князю Бюлову, будущему канцлеру германской империи: — «Всякая попытка ввести в России западно-европейские, парламентские формы правления обречена на неудачу. Если царский режим... будет низвергнут, на его место придет коммунизм, чистый, неприкрытый коммунизм господина Карла Маркса, который недавно умер в Лондоне и теории которого я изучал со вниманием и интересом».

Еще точнее и, нужно признать, с даром поразительного предвидения угадал «диалектическое» развитие русской рево-

люции и роль уготованную в ней либерализму, известный царский министр внутренних дел П. Н. Дурново, один из усмирителей революции 1905 года. В секретной записке поданной им Николаю II за несколько месяцев до начала войны в феврале 1914 года, Дурново, предвидя, что война вызовет в побежденных странах революционные потрясения, писал: — «Что эти потрясения будут носить социальный, а не политический характер, — в этом не может быть никаких сомнений... Особенно благоприятную почву для социальных потрясений представит, конечно, Россия, где народные массы, несомненно, исповедуют принципы бессознательного социализма. Несмотря на опозиционность русского общества... политическая революция в России невозможна, и всякое революционное движение неизбежно выродится в социалистическое... За нашей опозицией нет никого; у нее нет поддержки в народе... Русский простолюдин, крестьянин и рабочий одинаково, не ищет политических прав... Крестьянин мечтает о даровом наделении его чужою землею, рабочий о передаче ему всего капитала и прибылей фабриканта... Наша опозиция никакой реальной силы не представляет. Русская опозиция сплошь интеллигентская, и в этом ее слабость, так как между интеллигенцией и народом у нас глубокая пропасть взаимного непонимания и недоверия».

Заключает же свою записку Дурново таким предсказанием: — «Если война окончится победоносно, усмирение социалистического движения, в конце концов, не представит затруднений... Но в случае неудачи... социальная революция, в самых крайних ее проявлениях, у нас неизбежна... Начнется с того, что все неудачи будут приписаны правительству. В законодательных учреждениях начнется яростная против него кампания, как результат которой в стране начнутся революционные выступления. Эти последние сразу же выдвинут социалистические лозунги, единственные, которые могут надеяться сгруппировать широкие массы населения; сначала черный передел, а засим и общий раздел всех ценностей и имуществ. Побежденная армия, лишившаяся к тому же за время войны наиболее надежного кадрового своего состава, охваченная в большей ее части стихийно общим крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализованной, чтобы послужить оплотом законности и порядка. Законодательные учреждения и лишенные действительного авторитета в глазах народа опо-

зиционно-интеллигентские партии будут не в силах сдержать расходившиеся народные волны, ими же поднятые, и Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддается даже представлению».

Свои предупреждения и предсказания Дурново повторяет и во второй секретной записке, поданной им царю в ноябре 1916 года, т. е. за несколько месяцев до революции. Выступая вновь против каких бы то ни было уступок либералам, которые «столь слабы, столь разрознены и, надо говорить прямо, столь бездарны, что торжество их было бы столь же **кратковременно,** сколь и непрочно... Слабость главной из опозиционных партий, «конституционно-демократической», определяется уже ее именем: она назвалась демократической, хотя по существу своему буржуазна; будучи в значительной мере партией либеральных помещиков, она вписала в программу принудительный выкуп земли... Без этих козырей из чужой, не ихней колоды, кадеты есть не более, как многочисленное общество либеральных адвокатов, профессоров и чиновников разных ведомств — ничего более... Иное дело — революционеры. Опасность и силу этих партий составляет то, что у них есть идея, есть деньги, есть толпа, готовая и хорошо организованная... Революционные партии вправе рассчитывать на сочувствие подавляющего большинства крестьянства, которое пойдет за пролетариатом тотчас же, как революционные вожди укажут им чужую землю. Что дало бы при этих условиях установление ответственного министерства? Полный и окончательный разгром партий правых, постепенное поглощение партий промежуточных: центра, либеральных консерваторов, октябристов и прогрессистов партией кадетов, которая по началу и получила бы решающее значение. Но кадетам грозила бы та же участь... А затем? Затем выступила бы революционная толпа, коммуна, гибель династии, погромы имущественных классов и, наконец, мужик-разбойник...»

Разумеется, как во всяком документе, который пытается доказать определенный тезис и оправдать определенную политическую линию, краски в этих «записках» сгущены. Либералы, как это подтверждали результаты выборов в Государственную Думу, в самоуправления, в земства и т. д. имели довольно глубокие корни, если не в «рабоче-крестьянском народе», то, по крайней мере, в интеллигенции и у средней обыва-

тельской массы. Нельзя, однако, отрицать, что общий ход революции, ее радикализация и определение роли войны, как катализатора революции, предсказаны у Дурново с исключительной прозорливостью.

Либерализм под ударами максимализма слева

Для российского предреволюционного политического климата показательно, что столь же резкую анти-либеральную позицию занимали максималисты слева. Резумеется, считая себя частью марксистской социал-демократии, большевизм до поры до времени отдавал дань общей для социал-демократии аксиоме о буржуазно-либеральном характере грядущей русской революции. Экономически отсталая Россия считалась в обеих ветвях социал-демократии (большевизме и меньшевизме) — страной для социализма неподготовленной. Революция в России должна была, по мысли марксистов, главным образом, расчистить путь для «широкого, быстрого, европейского, а не азиатского развития капитализма». Казалось, что при такой постановке вопроса, логичным наследником царской власти после революции должна бы стать буржуазия и те либеральные партии, которые ее интересы охраняли.

Но уже задолго до революции 1917 года Ленин повел свою атаку на русский либерализм. Особенно заостренную антилиберальную линию Ленин взял во время и после революции 1905 года, когда либерализм, согласно его интерпретации, испугавшись революционного пролетариата и бунтующего крестьянства, предал революцию и пошел на «постыдную» и «жалкую» сделку с царизмом. Либерал-буржуа становится для Ленина «врагом № 1».

Со свойственной ему последовательностью, Ленин обосновывает свой ярый антилиберализм в книге «Две тактики социал-демократии в демократической революции», вышедшей в самый разгар первой революции, в августе 1905 года. Эта книга, которая вместе с «Что делать?» может считаться ключевой для познания истинного ленинизма, важна, во-первых, потому, что изложенные в ней идеи, равно как и предложенные в ней тактические приемы, Ленин повторил с успехом в 1917 году.

Продолжая утверждать, что в виду отсталости России, революция в ней может быть только буржуазная, Ленин, однако, всё с бóльшим упорством подчеркивает, что, во-первых, настоящая буржуазная революция, которая «по плебейски», «по

якобински» сметет все остатки прежнего, более выгодна пролетариату, чем буржуазии; во-вторых, что в такой революции либерализм вовсе не заинтересован. «Буржуазии», пишет Ленин, «выгодно, чтобы буржуазная революция была не вполне последовательна, не дошла до конца, не была решительна и беспощадна». Надо уметь поэтому различать «между непоследовательным буржуазным и последовательным пролетарским демократизмом»; между «предательскими лозунгами г-на Струве и Ко» и между «передовыми демократическими лозунгами». Суть вопроса — не перестает утверждать Ленин — в том, «завершится ли наша (буржуазная **Д. А.**) революция действительной грандиозной победой или лишь жалкой сделкой» (между господами Струве и Булыгиным).

Как видим, схема Ленина, привезенная им в Россию в 1917 году и изложенная им в «апрельских тезисах» (схема так удивившая многих, в том числе, и большевиков своей новизной) была в сущности во многих своих чертах уже изложена в 1905 году. Правда, была существенная разница. В 1905 году Ленин говорил о **демократической** диктатуре; а в 1917 году Ленин уже признавал, что, при известных условиях, Россия созрела для **социалистической** революции.

С таким же сарказмом обрушивался на буржуазных либералов и их вождей Троцкий. В отличие от Ленина и меньшевиков, Троцкий отрицал и необходимость и даже вероятность длительного существования либерально-демократического режима в России. Уже в 1905 году Троцкий и его единомышленник Парвус полагали, что по причине ее запоздалости русская революция, начавшись как буржуазно-демократическая, быстро перерастет в социалистическую. Отсюда, из этого прогноза вытекал вывод об «обреченности», «безысходности» буржуазно-либерального строя.

В книгах Троцкого немало страниц посвящено русскому либерализму и его «бесспорному лидеру» Милюкову. Троцкий особенно подчеркивал (и это весьма характерно для русских революционных кругов вообще) не столько силу буржуазного либерализма, сколько его «слабость» и «несостоятельность».

К Милюкову, к этой «оси Временного Правительства», Троцкий, (на которого Милюков-историк оказал заметное влияние) относится двойственно. С одной стороны, он с одобрением цитирует кадета Набокова, писавшего, что «Милюков

был несоизмерим с прочими своими товарищами по кабинету как умственная сила, как человек огромных, почти неисчерпаемых знаний и широкого ума». С другой стороны, несмотря или благодаря его неоспоримому превосходству, Милюков у Троцкого «полнее и законченнее других выражал историческую безысходность буржуазии». Милюков был, по характеристике Троцкого, «совершенно свободен от той несносной, отчасти барской, отчасти интеллигентской черты политического диллетантизма, которая свойственна большинству русских политиков...»

Либерализм и «революционная демократия»

Отвергнутый максимализмами справа и слева, русский либерализм, однако, не оказался изолированным ни среди весьма широких кругов его приверженцев, ни среди центро-левых группировок страны. Приобретшие популярность, как яркие представители думской оппозиции, некоторые вожди кадетов даже в начале февральского периода стали, в известной степени, олицетворением революции. Милюков был недалек от истины, когда в одной из своих речей, произнесенных в первые дни революции, в ответ на недоброжелательный выкрик из толпы «кто вас выбрал?», он ответил: «нас выбрала русская революция!» Кадеты заняли командное положение в Февральской революции и вовсе не потому, что их «поддерживали цензовые элементы»; решающим фактором их выдвижения была поддержка их двумя наиболее влиятельными социалистическими партиями: эсеров и меньшевиков.

Надо отметить, что **теоретически** вожди эсеров не так уж расходились с Лениным и Троцким в вопросе об отношении к буржуазно-демократической революции и либерализму в России. Наследникам моральных и идейных постулатов старого народничества, эсерам было свойственно и отталкивание от капитализма и презрительное отношение к либерализму. «Народу не нужна ваша барская конституция!» — заявил задолго до революции Михайловский Петрункевичу и несмотря на то, что в 1917 году они примкнули к «соглашательскому» блоку, сотрудничавшему с кадетами, эсеры теоретически продолжали отрицать возможность в России настоящей буржуазной революции. Последней они противопоставляли не переход к немедленному социализму, а переходную эпоху «трудовизма». В. М. Чернов — наиболее видный теоретик эсеров — проповедывал

этот трудовизм в виде союза крестьян, рабочих и интеллигенции, который параллельно с «последовательным политическим демократизмом» стремится к «кооперативной эволюции» и к «постепенному вытеснению из хозяйственной области личного произвола организованной хозяйственной демократией».

Однако, практически в февральский период первостепенную роль играли не теоретические построения «конструктивного социализма» вождя эсеров, а конкретные взаимоотношения эсеро-меньшевистского блока с кадетами по таким жгучим вопросам как война, цели войны, земельный вопрос и созыв Учредительного Собрания. В этих вопросах либерализм кадетов и особенно его лидера принимал для их союзников слева часто форму правого максимализма. Милюков, который в вопросе о сохранении старых целей войны был непреклоннее даже октябриста Гучкова (последний был готов отказаться от проливов, Константинополя и т. д.), вызывал у своих союзников слева непонимание и явную неприязнь. Лидер революционной демократии в Совете, И. Г. Церетели его назвал «гением бестактности»; Чхеидзе, председатель Совета, «злым духом революции»; А. Ф. Керенский объяснял его «негибкость» преувеличенно-развитым «чувством истории». Рассматривая события в исторической перспективе, Милюков, по мнению Керенского, глубже понимал и «чувствовал» книгу или исторический документ, чем живую жизнь. «Проанализировав событие, сообразно своей исторической логике, выработав стратегический и тактический план, Милюков начинал приводить его в исполнение со всей убежденностью в своей правоте, но без учета реальной действительности и, что еще важнее, без учета возможных будущих последствий». Разумеется, Милюков мог всегда возразить своим критикам, что после его ухода из Правительства, политика в вопросе о войне, как и в других вопросах, мало изменилась...

Как это показали выборы в Учредительное Собрание, состоявшиеся уже после октябрьского переворота, эсеры были той российской политической партией, которая пользовалась наибольшей поддержкой населения, в частности, крестьянства. Однако, несмотря на их огромное влияние на народ, руководящая роль в «революционной демократии» — в смысле определения политики и ее идеологического обоснования — принадлежала не эсерам, а меньшевикам. Объяснялось это, на первый

взгляд, странное явление не только тем, что у меньшевиков был популярный лидер в лице И. Г. Церетели (популярны были и Керенский и Чернов), но главным образом тем, что наиболее законченная и «логичная» концепция о тактике демократических социалистов в буржуазной революции, каковым признавался Февраль, была у меньшевиков.

Можно сказать, что из всех российских политических формаций, меньшевизм «по своей ментальности» был наиболее близок к либерализму. «Классовый» меньшевизм пытался внедрить в российское рабочее движение и в российский социализм западное сознание, западные нормы, практику и обычаи. В известной степени «надклассовый» российский либерализм пытался внедрить аналогичные западные нормы в стране в целом. Между меньшевизмом и либерализмом существовал, таким образом, известный параллелизм целей.

Разумеется, у русского либерализма несомненно было много общего с либеральными движениями Запада. Эта общность объяснялась не только привязанностью к определенным идеям, но и общностью занимаемого места в расстановке социально-политических сил. Как среднее, прогрессивное, но эволюционное течение средних классов, либерализм всюду и всегда был зажат между максимализмами справа и слева. По специфически русским условиям это «зажатие» между крайностями давало себя чувствовать в России с исключительной силой. Третий путь, к которому стремился либерализм — путь, исключающий и абсолютизм и народную социальную революцию, путь, который преобразовал бы страну на основах права и порядка путем реформ — оказался для России закрытым и страна вступила в революцию 1917 года.

Было ли крушение февральской революции неизбежно? Мы видели, что Милюков склонялся к этой мысли, когда говорил, что «большевизм явился специфически русским продуктом, возросшим на национальной почве и невозможным в этом виде нигде, кроме России». Из этого как бы следует, что большевизм был предопределен и что его антиподы — либерализм и демократизм — обречены.

Фаталистические объяснения совершившегося обычно свойственны побежденным, ибо они как-то умаляют или даже снимают ответственность побежденных за совершившееся. Суть вопроса, однако, не в объективных «факторах и обстоя-

тельствах», существование которых никто, не оспаривает; суть в том, были ли кадеты («мозг страны», как их когда-то назвал Столыпин), их общая политическая целеустремленность, их позиция по отдельным вопросам того времени, и в первую очередь по вопросу о войне, правильным компасом для страны.

Позволительно предположить, что если революция произошла бы в мирное время, то умеренная программа кадетов и их постепенные, «легалистские» методы для ее осуществления, были бы совместимы с обстоятельствами. Но революция произошла во время войны и народу (крестьянам и рабочим надевшим солдатские шинели) было предложено повторить, по известному выражению Керенского, «сказку французской революции»; другими словами, от народа ждали, чтобы он выказал патриотический энтузиазм для защиты совершившейся революции. В таких условиях, когда революционная власть должна была, в целях самосохранения, рассчитывать на активную и беззаветную преданность миллионов людей, умеренная политика кадетов, выражавшаяся в откладывании мер, которых народ ждал от революции, могла только привести и привела к радикализации революции.

Д. Анин

ИДЕЯ СВОБОДЫ — В РУССКОМ НАРОДЕ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Идея свободы, так же как влечение к лучшему будущему, как стремление к переустройству своего общежития, присуща всякому человеку, всякому обществу и всякому народу. Говоря о борьбе русского народа за свою свободу, выдающийся государственный деятель эпохи царствования императора Николая II, граф С. Ю. Витте, в «Записке» представленной им государю 9/22 октября 1905 года, писал: — «Не год назад, конечно, зародилось нынешнее освободительное движение. Его корни в глубине веков — в Новгороде и Пскове, в Запорожском казачестве, в низовой вольнице Поволжья, в церковном расколе, в протесте против реформ Петра с призывом к идеализированной самобытной старине, в бунте декабристов, в деле Петрашевского, в великом акте 19-го февраля 1861 года и говоря вообще, в природе всякого человека. Человек всегда стремится к свободе».

Но осуществления идеи свободы в исторически-сложившихся биографиях народов — не одинаковы, и зависят от целого комплекса причин. История борьбы русского народа за свою свободу, народа, создавшего великое государство, раскинувшееся и в Европе, и в Азии, несет на себе печать глубокого трагизма на протяжении всей своей истории, от времен татарского ига (1224-1430) до теперешнего тоталитарного коммунизма.

Драма развития государственной жизни древней Руси заключается прежде всего в том, что в начале 13 века, защитив собой Западную Европу от великого монгольского нашествия, Россия в течение **двух с половиной веков** отдавала все свои силы борьбе с этим поработившим ее вторжением. Только в 1430 году, в результате неоднократных войн, Россия окончательно освободилась от татарского ига.

Но если взять и этот древний период русской государственности, так называемый, удельно-вечевой период, когда от-

дельные княжества на Руси силились сохранить свою самостоятельность, то мы увидим и там, что жизнь этих княжеств не исчерпывалась только внешними войнами. Одновременно внутри княжеств шла ожесточенная борьба и за то, кому властвовать в их пределах: единолично ли князю или ему совместно с представителями знатных родов, дружины, духовенства и т. д.

Веяние свободы и борьба народа за нее в Древней Руси еще явственней проявились в жизни тогдашних самоуправляющихся городов, где испокон века вся полнота власти принадлежала всему населению, осуществлявшему ее на всенародном собрании — **вече.** В этом смысле чрезвычайно характерна государственно-политическая жизнь самого крупного древнего русского свободного города — «господина Великого Новгорода».

Территория тогдашнего Новгорода была огромна. На западе Новгороду принадлежало немало значительных городов, как Торжок, Ладога, Старая Руса, некогда и сам Псков. Здесь выросли знаменитые русские монастыри — колыбель русского искусства и культуры — Валаам, Соловки, Кириллов, Ферапонтов на Белом Озере. Именно здесь фольклористы всегда находили лучшие песни и былины, старинные костюмы и интереснейшие памятники древнего русского зодчества. На востоке под властью и под правом Новгорода жила вся Северная Русь, вплоть до Урала и даже захватывая край Сибири. Торговавший тогда с Ганзой Новгород был главным окном Руси в Европу. И позднее, прорубая это окно, царь Петр Великий сознавал, что он фактически возвращает Россию на ее старые новгородские рубежи.

Был ли Великий Новгород республикой? Да, в течение трех с половиной веков своей истории (12-15 в.в.). В половине 12 века вече Великого Новгорода считало своим неоспоримым правом призывать князей только по собственному выбору, заключая с таким князем формальное соглашение, определявшее взаимные отношения между князем и вечем. Если же выбранный вечем князь нарушал установленное соглашение, вече «указывало князю путь» — за границы Новгорода, чему князь должен был подчиниться. Но не только князя — вече в ту эпоху присвоило себе право выбирать и главных княжьих помощников — посадского, тысяцкого и др. Оно избирало и епископа, только утверждавшегося киевским митрополитом. Вече

участвовало в решении вопросов войны и мира и во всех основных вопросах государственной жизни Великого Новгорода.

Приглашенный со стороны вечем, без всяких династических прав, подобно подеста итальянских средневековых республик, князь легко включался в систему республиканских властей, «господ» правивших Новгородом. В течение столетий Новгород фактически был республикой или, по выражению историка Ключевского, народоправством.

Верхняя палата «господ», состоявшая из выборных вечем сановников, ведшая все текущие дела и подготовлявшая всё для решения веча, заседала не под председательством князя, а под председательством архиепископа. И если искать современных аналогий, именно он, архиепископ, был президентом республики, стоя выше партий и выражая единство республики. И мы видим, что новгородские владыки достойно защищали не только свободу церкви, но и свободу «града», то есть, республики. Так, архиепископ Иона, накануне падения Новгорода, уже в глубокой старости, едет в Москву, чтобы отвратить угрозу против своего отечества и увещевает великого князя Василия II-го: — «тихими очами смотри на своих подданных и не начинай обращать свободных в рабство».

В конце 15 века (1478 г.) новгородская республика пала, раздавленная военной силой Московского великого князя Ивана III-го. Но не только ему, но и царю московскому Ивану IV-му не раз железом и кровью приходилось подавлять свободолюбивую новгородскую вольницу.

При вступлении на царство Ивана IV-го, процесс образования в России самодержавной власти усилился. Но в народе всегда оставались силы, стремившиеся ограничить царское самодержавие. В рамках московского государства такими силами были: — 1) церковь, 2) боярство и 3) земские соборы. В низах, в народе, его стихийное влечение к свободе выражалось как в бегстве крестьян, раскольников и всех недовольных на юг, за границы Московского Государства, так и в бунтах и восстаниях народа, некоторые из которых, как восстание Степана Разина (1667-1670), иногда угрожали всей твердыне Московского Государства.

Остановимся сначала на силах нереволюционных, на силах государственно-положительных: церкви, боярстве и земских соборах. В древней Руси в сознании народа духовная

власть всегда считалась выше светской. Положение — «не от царей священство приемлется, но от священства и на царство помазуются» — вплоть до 17 века сохраняло свою полную силу. И пока на Руси существовал патриарх, самодержавия не могло быть ни фактически, ни в сознании народа. У патриарха была не только громадная и неоспоримая моральная сила и авторитет христианства, но он был одновременно и главой огромной организации — белого духовенства и монастырей, он ведал церковным и монастырским имуществом, землями и людьми и влиял на семейные и наследственные отношения.

Другим конкурентом царской власти — по преимуществу в управлении на местах — было боярство. В 16 веке среди титулованных бояр укрепился взгляд на участие в управлении, как на унаследованное от предков право, а не как на милость пожалованную московским государем. И московский царь фактически делил власть с боярством, аристократией того времени. Помимо командования полками, боярство выполняло политические задачи власти, сидя в Царевой Думе и все существенные дела в 17 веке решались формально «по боярскому приговору и указу государя», «царь указал и бояре приговорили». Правда, надо признать, что в России 17 века дело не дошло до признания за боярством определенных прав и привилегий по образцу Хартии, исторгнутой в начале 13 века английскими баронами у Иоанна Безземельного.

Третьим соучастником в осуществлении верховной власти царей на Руси были Земские Соборы. В них принято видеть прообраз русского народоправства и русского представительного собрания. В отличие от былых вечевых собраний Новгорода и других самоуправляющихся городов, Земские Соборы действительно были представительными собраниями от различных разрядов населения, но в большинстве случаев не столько по выбору населения, сколько по вызову власти. Участие в вече было правом, участие в Соборе было обязанностью. Соборы, как правило, не обладали решающим голосом. «Будучи не политической силой, а правительственным пособием, — говорит историк Ключевский, — собор не раз выручал правительство из затруднений».

Эти Соборы составлялись из членов Боярской Думы, приглашавшихся лично или поголовно и из служилых людей не

менее высокого ранга, приглашавшихся по одному, по два от каждого города. Видную роль в соборах играло и духовенство — высшее (патриарх, митрополиты, архиепископы, епископы), приглашавшееся поголовно и низшее, приглашавшееся по выборам. Третий элемент Соборов составляли тяглые люди — зажиточные купцы (гости, посадские) и крестьяне. Заданием Соборов было всегда иметь голос «всей земли».

Созывались Соборы по самым разнообразным поводам — для обсуждения вопросов внешней и внутренней политики; избрания царя, составления Уложения, но чаще всего для финансирования власти. Так называемое «Смутное время» — т. е. конец 16 и начало 17 веков — было периодом особенного расцвета влияния Соборов, ибо в тот момент царская власть оказалась слаба. В это время выборные члены преобладали над назначенными. Когда поляки заняли Москву, шведы — Новгородскую Область, а англичане собирались высадиться на побережьи Ледовитого Океана и русское государство, казалось, обреченным на гибель — Земский Собор, собравшийся в 1612 году в Ярославле способствовал организации сопротивления иностранному нашествию. В воззваниях, которые читались тогда в церквах, раздавались выражения — «доверенные люди», «Совет всей земли», «Всенародное Собрание». Это был подлинный всенародный демократический пафос. Для спасения гибнущего отечества в городах стали устраиваться съезды, чтобы выбрать «лучших людей». И собор 1613 года, избравший на царство Михаила Романова, был собранием всесословным и учредительным, то-есть, он положил конец Смуте и дал легальное начало новой династии на триста лет. Но в последующие годы, при укреплении царской власти, Земские Соборы созывались всё реже и наконец при неограниченном самодержавии Петра I-го прекратили свое существование.

Говоря о революционных низовых силах народа, в многочисленных восстаниях и крестьянских бунтах рвавшихся в то время к свободе, надо прежде всего остановиться на восстании 1667 года Степана Разина. Оно вспыхнуло на юге России, на Дону, куда от крепостного права сбегался всякий люд, искавший прежде всего свободы. Здесь на Дону создался совершенно особый, свободный уклад жизни казаков. В 1667 году казак Степан Разин, сорганизовав отряды из всяческих вольных людей, поднял большое восстание, целью которого

была борьба с крепостным состоянием крестьян. Двинувшись с своим отрядом с Дона на север Разин в течение года захватил ряд крупных городов на Волге и поднял крестьян Поволжья. На 200 судах он поплыл по Волге на север, нацеливая свой главный удар на Москву. Его армия достигала тогда 20.000 человек. Его агитаторы распространяли среди населения, так называемые, «прелестные письма», в которых Разин звал крестьян на восстанье против помещиков. Он писал, что идет освободить народ от ига помещиков, чтобы народ стал «вольными людьми». В 1670 году восстанье Разина охватило уже половину Российского Государства, докатившись до Рязани и Тамбова и угрожая непосредственно Москве. И только в конце 1670 года войскам Московского царя удалось нанести Разину решительное поражение под Симбирском. В 1671 году раненый Разин бежал на Дон, где был схвачен, выдан московским властям и 6 апреля 1671 года четвертован в Москве. Имя Разина не было забыто народом, о нем пели песни, его именем на Волге названы утесы и острова (Стенькин Остров, Утес Стеньки Разина).

Из беглецов, искавших себе свободы, в 16-м и 17-м веках не только на Дону образовывались свободные своеобразные поселения. Стихийная жажда свободы гнала русских людей и в Приднепровские степи, где в 16 веке образовалась крупная казацкая организация, известная в истории под названием Запорожской Сечи. Это было своеобразное поселение военного образца, созданное вольными людьми. Русский историк Мякотин характеризует Запорожскую Сечь как «общину, у которой внутренний быт был построен на строго демократических началах, общинном землевладении и полном самоуправлении». А историк Ключевский называет Запорожскую Сечь «военным братством». В 16-17 веках, выросшая в Приднепровских степях, вольная Запорожская Сечь была настолько крупным образованием, что с ней заигрывала не только Москва и Польша, но и турки. По тем временам прекрасно вооруженная Зопорожская Сечь не раз совершала походы внутрь турецких владений, воевала и с Москвой и с Польшей. И только в 1709 году Петр I-й нанес Запорожской Сечи сильное поражение, а в 1775 году Запорожская Сечь, при Екатерине II-й, была окончательно уничтожена.

При Петре I-м самодержавие, достигшее апогея, уничто-

жило все силы его так или иначе ограничивавшие: патриаршество, морально конкурировавшее с властью царя, Боярскую Думу и Земские Соборы. Петр I-й стал управлять самолично путем указов.

Но уже после его смерти, при вступлении на престол его племянницы Анны Иоанновны, придворными кругами была произведена первая попытка ограничения самодержавия. Образовавшийся из придворных Верховный Тайный Совет — кн. Голицын, Долгоруков, Головкин и др. — поставил вступавшей на престол Анне Иоанновне ряд условий, взятых ими из шведского документа времен Фридриха I-го. При восшествии на престол Анна Иоанновна обязывалась без согласия Верховного Тайного Совета не вступать в новый брак, не начинать войны, не заключать мира, не жаловать никого в чины выше полковника и пр. Считать этот акт придворных кругов первой попыткой введения конституционализма в России можно, конечно, лишь с большой натяжкой, тем более, что из него ничего и не вышло, ибо вступив на престол и воспользовавшись разногласием среди придворных, Анна разорвала подписанный ей документ.

В царствование Екатерины II-й (1762-1791), в пору ее свободомыслия, переписки с Вольтером и французскими просветителями, ею была создана Комиссия для выработки Нового Уложения, для которой сама императрица писала «Наказ», сочетая в нем идеи самодержавия с началами законности, религиозной свободы и даже, при некоторых условиях, со свободой печати. Депутаты явившиеся в эту комиссию для заявки «о нуждах и недостатках каждого места» представляли страну в гораздо большей степени чем Земские Соборы 16 и 17 веков. Это были депутаты отдельных сословий и групп населения — дворян, горожан, казаков и не находившихся в крепостной зависимости крестьян. Дворянские и городские депутаты избирались прямо, крестьянские — путем трехстепенных выборов. Депутаты привезли с собой наказы с мест и из этих наказов видно, что население относилось тогда к делу со всей серьезностью. Но своего дела эта комиссия не довела до конца, несмотря на то, что именно это царствование было потрясено новым страшным народным восстанием казака Емельяна Пугачева.

Восстание Пугачева вспыхнуло в 1773 году, начавшись бунтом уральских казаков. Во главе его встал беглый с Дона

казак Емельян Пугачев. На Урале к восстанию сразу стали примыкать все недовольные властью — беглые крестьяне, раскольники, инородцы. Но главным образом начались восстания среди русских крестьян, недовольных крепостным правом. Так, в течение двух лет восстание охватило всё Приуралье, Прикамье, Юго-Западную Сибирь, Нижнее и Среднее Поволжье вплоть до Казани. Везде крепостные крестьяне восставали против помещиков. Горели усадьбы, города, заводы. С обеих сторон было много жертв.

Из Поволжья, захватив Тамбов, Воронеж, Пензу, Нижний-Новгород, Пугачев начал «подкрадываться к Москве». В течение двух лет царские войска не могли подавить это восстание и только по заключении мира с Турцией, сняв с фронта войска, правительству удалось ими усмирить восстание. Пугачев был казнен в Москве на Болотной площади в 1775 году.

Но не только Пугачевское восстание, снизу потрясшее всю Россию, указывало, что не всё благополучно в России. В царствование Екатерины II ярким порывом к свободе прозвучали голоса двух людей, принадлежавших к элите тогдашнего русского общества. Это были голоса Н. И. Новикова (1744-1818) и А. Радищева (1749-1802), родоначальников русской интеллигенции. Один из основателей русского масонства Новиков и поэт и писатель Радищев оба были европейски образованными людьми, основоположниками русского освободительного движения. Новиков в царствование Екатерины II-й создал кружок «вольнодумцев», что и привело его к заключению в Шлиссельбургскую крепость на 15 лет. Радищев же выступил против самодержавия и крепостного права в своей, ставшей знаменитой, книге «Путешествие из Петербурга в Москву». «Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние», писал он, ратуя за раскрепощение крестьян, за торжество закона, за достоинство человеческой личности. Радищев утверждал теорию естественного права в духе Руссо и французских энциклопедистов. Его книгу Екатерина II оценила, как «совершенно ясно бунтовщицкую, где царям грозят плахой», а самого Радищева назвала «бунтовщиком хуже Пугачева». Книга Радищева была сожжена. Сам он был арестован, приговорен к смертной казни, которая ему была заменена десятилетней ссылкой в Сибирь. После смерти Екатерины II Радищев был возвращен из ссылки. А когда император Алек-

сандр I создал Комиссию, долженствовавшую представить проект конституции, Радищев представил свой проект с отменой крепостного права, равенством всех граждан перед законом, публичным судом, свободой вероисповеданий и пр. Этот проект из-за своей радикальности даже не был принят к рассмотрению и пришедший в отчаянье Радищев покончил самоубийством.

Александр I не раз поручал составить проекты конституции — Розенкампфу (1804 г.), Сперанскому (1808 г.), Новосильцеву (1819 г.), но результат был одинаков: проекты не получали высочайшей санкции, хотя Александр I и считал истинной монархией лишь монархию ограниченную, конституционную, самодержавие же относил к виду деспотического правления.

В 1809 году по приказу царя выдающийся государственный деятель М. М. Сперанский составил «План государственного преобразования», в котором он предлагал организовать народное представительство с одной стороны на основе владения недвижимым имуществом, а с другой — путем многостепенных выборов. Этот проект не был осуществлен также, как и предшествующие. Борьба же за свободу ознаменовалась новым и чрезвычайно тревожным для самодержавия явлением.

На этот раз порыв к свободе пришел не в виде Пугачевского крестьянского бунта. О свободе заговорили продолжатели идей Радищева и Новикова, офицеры царской гвардии, молодежь, побывавшая заграницей, как участники войны с Наполеоном. Эти заговорщики известны под именем «декабристов».

Воодушевленные идеями французской революции эти офицеры-заговорщики создали тайную революционную организацию, раскинувшуюся по всей России и имевшую два больших ответвления — Северное Общество и Южное Общество. Проект будущей конституции, написанный Никитой Муравьевым и принятый Северным Обществом исходил из положения, что «источник верховной власти — народ, которому принадлежит исключительное право делать основные постановления для самого себя». Заговорщики подробно разрабатывали проекты созыва «Народного веча» и «Верховного Собора», то-есть, будущего первого собрания народных представителей России. По проекту одного из главных заговорщиков, Рылеева, в России предполагалась организация «областного правления

северо-американской республики, при императоре, которого власть не должна много превосходить власть президента Штатов».

В декабре 1825 года, по смерти Александра I-го, в день восшествия на престол его брата Николая I-го, декабристы в Петербурге подняли открытое восстание. Но восстание было подавлено. Пять главных заговорщиков повешены, свыше ста сосланы на каторгу в Сибирь. Но раз выбившись на поверхность народной жизни русское революционное движение уже не прекращалось.

Время царствования Николая I-го, несмотря на полицейский режим, сковывавший свободные силы народа, оказалось расцветом русской литературы, ее золотым веком. Близкий друг многих декабристов, А. Пушкин, разделявший идеи своих погибших и сосланных друзей, в это время достиг всероссийской славы. В знаменитой оде «Вольность» (1818) он писал:

Тираны мира! Трепещите!
А вы мужайтесь и внемлите!
Восстаньте падшие рабы!

Самовластительный злодей!
Тебя, твой род я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу!

И вслед ушедшим на каторгу, в Сибирь, друзьям-декабристам, писал:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут и свобода
Вас примет радостно у входа
И братья меч вам отдадут!

Вся великая русская литература этого периода — Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Грибоедов, Чаадаев — была пропитана идеями свободы и гуманности. В русском культурном обществе идеи декабристов заглохнуть не могли. И если условия

полицейского режима Николая I-го не давали возможности открыто появиться анти-правительственной политической организации, таковые появлялись тайно.

В 1845 году в Петербурге был арестован кружок, известный в истории русского освободительного движения под именем «петрашевцев» (по фамилии главного организатора кружка Петрашевского). Это был кружок революционной молодежи, мечтавшей о свержении самодержавия и замены его свободным демократическим строем. В него входил ряд людей, впоследствии ставших знаменитыми — Ф. Достоевский, Н. Салтыков-Щедрин, А. Плещеев, В. Майков, Н. Данилевский. Из арестованных сорока человек «петрашевцев» двадцать один за «заговор идей» и за «умысел на ниспровержение существующего строя», были приговорены к смертной казни. 22 декабря 1849 года на Семеновской Площади в Петербурге приговоренным прочли смертный приговор, надели на них саваны и солдаты уже навели ружья, когда подъехал царский адъютант и прочел приказ о замене смертной казни каторгой. Прямо с Семеновской Площади приговоренных повезли в Сибирь. Среди них был и гений русской и мировой литературы — Ф. М. Достоевский.

Со смертью Николая I-го в царствование его сына Александра II-го на политической арене России уже открыто появляется революционная террористическая партия, борящаяся за свержение самодержавия. Несмотря на то, что 19 февраля 1861 года император Александр II-й издал манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости и началась эпоха великих реформ, открывавшая России путь к свободе — деятельность в стране революционно-террористической партии не прекратилась.

В это время властителями революционных дум в России была плеяда известных политических писателей-революционеров: Добролюбов, Чернышевский, Герцен, Бакунин, Лавров, Михайловский. За ними шла русская революционная молодежь. В 1872 году в России появилась знаменитая прокламация «Молодая Россия». Эта прокламация звала к «изменению современного деспотического правления в республиканско-федеративный союз областей, причем вся власть должна перейти в руки Национального и Областных Собраний».

Создавшаяся тайная революционная партия «Народная

Воля», выдвигавшая идею народоправства и идею Учредительного Собрания, в своей борьбе с правительством пользовалась методами террора. С первого же момента образования эта партия заняла авансцену революционного движения. В 1880 году в № 3 «Народной Воли» она опубликовала «Программу Исполнительного Комитета», центральной идеей которой была та же идея созыва Учредительного Собрания для установления формы государственного устройства и разрешения всех насущных задач жизни народа. «Мы полагаем, — гласила эта программа, — что народная воля была бы достаточно хорошо высказана и проведена Учредительным Собранием, избранным свободно, всеобщей подачей голосов при инструкциях от избирателей».

7-го февраля 1880 года один из членов «Народной Воли», рабочий Степан Халтурин, под видом столяра проникший в Зимний дворец, произвел там взрыв. Было много жертв. Только благодаря случайности Александр II-й остался жив. В прокламации по поводу взрыва в Зимнем Дворце народовольцы писали: — «объявляем еще раз Александру II-му, что эту вооруженную борьбу мы будем вести до тех пор, пока он не откажется от своей власти в пользу народа, пока он не предоставит общественное переустройство Всенародному Учредительному Собранию, составленному свободно и снабженному инструкциями от избирателей». 1 марта 1881 года членами этой террористической партии Александр II-й был убит.

Необходимо отметить, что в царствование Александра II-го и Александра III-го в России, в среде русской интеллигенции и земских деятелей, помимо революционных групп, народилось сильное либеральное течение, отвергавшее революционные методы борьбы с правительством, предпочитая им путь мирных реформ. Это течение, опираясь главным образом на земства, пыталось влиять на царское правительство, дабы побудить его пойти по пути демократизации режима. Русское либеральное течение объединяло выдающихся представителей русской культуры. Уже при Николае II-м именно из этого либерального течения русской общественности вышла конституционно-демократическая партия, имевшая в своем составе блестящие имена русской профессуры и адвокатуры, такие как проф. Милюков, проф. Муромцев, проф. Кокошкин, проф. Кизеветтер, юристы — В. Маклаков, В. Набоков, и многие другие.

В царствование Николая II-го революционное движение в

России вспыхнуло с наибольшей силой. В этой борьбе с правительством главную роль играла, непосредственно вышедшая из «Народной Воли», партия социалистов-революционеров, опиравшаяся идеологически на крестьянство, и социал-демократическая партия, находившая опору среди городских рабочих. Центральной политической идеей этой борьбы была идея свержения самодержавия и созыва Всероссийского Учредительного Собрания.

В 900-х годах террористическая организация партии социалистов-революционеров развила небывалую террористическую борьбу с представителями власти. Террористами были убиты царские министры Сипягин, Плеве, московский генерал-губернатор вел. кн. Сергей, генералы Риман, Мин и множество других крупных и мелких представителей власти. Террор партии социалистов-революционеров сильно расшатывал и без того уже нетвердые устои царского самодержавия. В противоположность социалистам-революционерам социал-демократическая партия, главными лидерами которой были Плеханов (меньшевики) и Ленин (большевики), в своей борьбе к террору не прибегала. Третьей большой силой освободительного движения, как мы уже указывали, являлась конституционно-демократическая партия, отвергавшая методы революционной борьбы. Во главе этой партии стоял проф. Милюков, будущий министр иностранных дел во Временном Правительстве 1917 года.

После неудачной русско-японской войны, когда в стране вспыхнула первая революция 1905 года Николай II-й был вынужден пойти на уступки обществу и народу. В октябре 1905 года Николай II-й обнародовал манифест, возвещавший конституцию и созыв Государственной Думы. За время его царствования было созвано 4-ре Государственных Думы. Как бы по своему избирательному закону эти Думы ни были несовершенны, они всё же выражали мнение русского общества, являясь началом, хоть и ограниченного, народоправства. Царское правительство — под напором сил освободительного движения — было уже не в состоянии ему сопротивляться. И казалось, что Россия вступает на путь политических и гражданских свобод.

Но полная свобода к русскому народу пришла только в 1917 году, когда в результате тяжелых неудач на фронте и полного маразма в рядах правительства, вспыхнула вторая рус-

ская революция и царское правительство пало. Его место заняло Временное Революционное Правительство. Но через восемь месяцев и это, признанное всем народом, Временное Правительство пало, насильственно свергнутое вооруженной силой большевиков. 5-го января 1918 года собравшееся в Петербурге, избранное всем народом, Всероссийское Учредительное Собрание было разогнано военными отрядами большевиков. Таким образом, большевики явились узурпаторами законно избранной народом власти. В Учредительном Собрании из 601 депутата было 320 социалистов-революционеров, 12 кадетов, 11 меньшевиков, 2 народных социалиста, 56 представителей разных национальностей и казачьих групп и 160 депутатов большевиков (т. е. 25%).

Враги русского народа утверждают, что большевики не узурпаторы, что русский народ признаёт эту власть и поддерживает большевистское правительство. Установим факты. Ни один народ, порабощенный тоталитарной диктатурой (ни немцы, ни итальянцы, ни испанцы, ни один народ из стран-сателлитов) не оказал поработившей его диктатуре такого длительного и ожесточенного сопротивления, какое оказал русский народ коммунистической диктатуре.

В октябре 1917 года большевики захватили государственную власть. Уже в ноябре-декабре 1917 года под руководством двух бывших верховных главнокомандующих, генералов Корнилова и Алексеева, на Дону, в Ростове и Новочеркасске, создалась Добровольческая Армия для вооруженной борьбы с ними. Политическим лозунгом этой армии оставалось — Учредительное Собрание.

Несколько позже, весной 1918 года, на Волге, в Самаре, под руководством социалистов-революционеров, членов Учредительного Собрания, организовалась «Народная Армия», начавшая вооруженную борьбу с большевиками. Поддержанная восставшими военнопленными чехословаками эта армия заняла ряд поволжских городов. Ее поддержали широкие массы народа. Так, под Самарой, в Иващенкове против большевиков восстали рабочие Иващенковских заводов, захватившие огромные запасы всякого военного снаряжения, которое потом питало весь Поволжский фронт.

7-го августа 1918 года Народная Армия взяла Казань. С взятием Казани фронт с лозунгом «Вся власть Учредительному

Собранию» переходил на левый берег Волги, соединяясь с фронтом Уральских казаков, которые тоже восстали под командой атамана Дутова, вошедшего в состав Комитета Учредительного Собрания.

Этим же летом в Москве, в свое время отколовшиеся от партии и пошедшие-было с большевиками, так называемые, «левые эс-эры» подняли открытое восстание против большевиков. Сигналом к нему было убийство германского посла графа Мирбаха. При развитии восстания левые эс-эры арестовали целый ряд видных большевиков во главе с председателем ВЧК Дзержинским.

По их же сигналу, прибывший во главе большевистских войск на Волгу, в Симбирск, полковник Муравьев, большевистский главнокомандующий, восстал против большевиков. А в Петербурге и в Москве в это же время раздались два выстрела — одним выстрелом из револьвера, в Петербурге, был убит председатель ВЧК Урицкий (его убил поэт Канегиссер), а вторым выстрелом, в Москве был тяжело ранен председатель Совнаркома Ленин. Пуля Доры Каплан, стрелявшей в Ленина, прошла на полсантиметра правее сердца. Убей Дора Каплан Ленина и может быть, в тот момент, когда всё ползло из рук Кремля, ее пуля уничтожила бы диктатуру большевиков. По крайней мере известный большевик, друг Ленина и управляющий делами Совнаркома Вл. Бонч-Бруевич в своих воспоминаниях пишет: «Если б случилось непоправимое несчастье с В. И. Лениным, всё бы пропало, всё бы пошло на смарку и большевистская социалистическая революция приостановилась бы потому, что мы все малоопытны в управлении страной и без Ленина несомненно наделали бы много роковых ошибок, а они повлекли бы за собой огромные неудачи, которые закончились бы общим крахом». Точно так же оценивает тогдашнее положение большевиков и Троцкий: — «Весна и лето 1918 года были из ряда вон тяжелым временем. Моментами было такое чувство, что всё ползёт, рассыпается, не за что ухватиться, не на что опереться. Всюду гноились заговоры. Всё осыпалось, не за что было зацепиться, положение казалось непоправимым». («Моя жизнь» т. II, стр. 123-126).

Борьба «Народной Армии» в Поволжье дала возможность организоваться в Сибири еще более крупным антибольшевистским силам, которые сначала были возглавлены демократиче-

ской директорией из пяти общественных деятелей, а потом «верховным правителем», адмиралом Колчаком, признанным союзниками.

На юге и юго-востоке России в это же время организовалась Донская армия генерала Краснова и переорганизовалась и значительно усилилась Добровольческая армия генерала Деникина, заменившего собой убитого генерала Корнилова.

Южная Добровольческая армия генерала Деникина в своем наступлении на Москву поднималась до Орла. Армия Колчака, тоже открывая путь на Москву, доходила до Урала. «Народная Армия» доходила до Казани. В то же время на крайнем севере, в Архангельске, в августе 1918 года образовалась армия генерала Миллера, политическое руководство которой находилось в руках известного члена Учредительного Собрания, Н. В. Чайковского.

Вооруженная борьба русского народа с большевиками длилась больше двух лет. Она окончилась неудачей. О причинах неудачи существует большая литература. Сведем эти причины к двум главным пунктам. В процессе гражданской войны власть в антибольшевистских армиях оказалась полностью в руках белых генералов, людей политически необразованных, начавших проводить в занятых антибольшевистской армией областях реакционную антинародную политику, которая, естественно, оттолкнула народные массы. Это одна причина. Вторая же причина неудачи антибольшевистской вооруженной борьбы ложится на союзников, которые, во-первых, как это ни странно не поддержали в этой борьбе демократические элементы русского народа, а поддерживали правых белых генералов. К тому же и им обещая серьезную военную помощь, ее не дали.

Бывший в России английский представитель полк. Уорд пишет: «Мы сделали нечто худшее чем неисполнение обещания. Это только отрицательное преступление. Союзники ударились в другую крайность: их помощь приняла характер прямой, преднамеренной обструкции». И дальше полк. Уорд говорит о прямом «дезертирстве» по отношению к русскому народу и уверяет, что будь он правителем, он стал бы просить «Бога избавить его от двуличных союзников и чересчур осторожных друзей». («Союзная Интервенция» стр. 26 и 170).

В 1920 году на территории России гражданская война

закончилась. Ее жертвы надо исчислять больше миллиона человек. Около двух миллионов русских эмигрировали за пределы России. Но и окончание гражданской войны не дало большевикам возможности спокойно властвовать.

Уже в 1921 году по России прокатились крестьянские восстания. В Сибири вспыхнуло Ишимское восстание, на Северном Кавказе восстанье под водительством комбрига Ершова, крестьянские восстанья возникали и на Украине, но самое большое и организованное восстанье крестьян против коммунистов разразилось в Великороссии, в Тамбовской области, во главе которого встал народный учитель, крестьянин Герасим Антонов. Повстанцам удалось поднять не только Тамбовскую область, но и смежные с ней районы. Чтобы подавить это восстанье Кремль бросил в Тамбовскую область сильные и хорошо вооруженные части с танками, самолетами, артиллерией под командой Тухачевского. Больше года боролось это крестьянское восстанье против коммунистов и было подавлено с чрезвычайной жестокостью. В этом восстаньи погиб и Антонов.

Но в том же 1921 году, в марте месяце, вслед за крестьянскими восстаньями вспыхнуло восстанье матросов в Кронштадте, еще нагляднее показавшее ненависть народа к поработившей его коммунистической диктатуре.

Кронштадтское восстанье выбросило своим лозунгом: — «Советы без коммунистов! Свобода трудящимся!» Этому восстанью сочувствовали рабочие Петрограда, где в феврале тоже началось среди рабочих глухое недовольство коммунистической властью. Главной причиной возмущенья рабочих, было отношенье власти к крестьянам: насильственное отобранье хлеба у крестьян и бессудные расстрелы их коммунистическими заградительными отрядами.

5-го марта восставший 70.000-ный матросский гарнизон Кронштадта избрал Военно-Революционный Комитет, который формулировал требования матросов, выражавшие политические и социальные настроения широких масс трудящихся. Эти требования сводились к следующему: перевыборы Советов тайным голосованием и свободная предварительная агитация; свобода собраний, свобода профсоюзов и крестьянских объединений; пересмотр дел заключенных в тюрьмах и концлагерях; свобода слова и печати; уничтожение коммунистических за-

градительных отрядов в деревнях; свобода крестьян пользоваться своей землей; свобода труда ремесленников и кустарей. Главным же лозунгом было: — «Советы без коммунистов!» — «Мы выступаем не от себя, мы выступаем от всего народа, от всех трудящихся, — писали в своих прокламациях восставшие матросы, — не мы сказали «долой коммунистов!», это сказали трудящиеся всей России!»

Поднимая восстанье, кронштадтские матросы верили, что их поддержат не только рабочие Петрограда, но и вся Россия и их восстанье разгорится во всероссийскую народную революцию против деспотии Кремля.

Но эту возможность хорошо понимали и в Кремле. И Кремль бросил на Кронштадт сильные коммунистические части и громадные технические силы танков, самолетов, артиллерии, назначив командовать усмирением Кронштадта знаменитого Тухачевского. Кронштадт был подавлен с такой же жестокостью, как и крестьянские восстанья.

Как известно, в результате народных восстаний (Кронштадтского и крестьянских восстаний), которые грозили разрастись во всероссийскую революцию, Ленин резко повернул весь курс коммунистической политики, неожиданно прокламировав, так называемый, НЭП (новую экономическую политику), которая открыла народу некое подобие хозяйственной свободы. Успокаивая народ Ленин говорил, что НЭП создается «всерьез и надолго». Народ этому поверил. Но этот период коммунистической передышки длился только семь лет.

За эти годы относительной хозяйственной свободы, внутри страны стали нарастать и укрепляться настроения, чуждые коммунизму, в особенности среди крестьян. Эти настроения резко расходились с планами мировой революции головки Кремля и к 1930 году Кремль снова взял «жесткий коммунистический курс» пятилеток и коллективизации.

Только русские знают, каких страшных жертв — миллионы человеческих жизней — стоило русскому народу проведение этих коммунистических мероприятий Кремля. Сопротивление крестьянства коллективизации сламывалось чудовищными по своей жестокости мерами: физическим истреблением населения; иногда истреблением населения целых областей.

Такие «массовые акции» в отношении сопротивляющегося населения были проведены в Тамбовско-Воронежской обла-

сти в 1934 году, в Московской и Ленинградской в 1936 году, в Приморской Дальневосточной в 1937-38 году, на Северном Кавказе в 1943-44 также была уничтожена целиком Чечено-Ингушская республика; после войны такая же судьба постигла крымских татар и немцев Поволжья.

Так уничтожается коммунистической диктатурой всякое сопротивление народа, который в отношении нее находится всё время в состоянии «подавленной враждебности» и долгие годы заполнял собой гигантскую сеть концлагерей принудительного труда, покрывающую весь СССР, где по самому скромному подсчету было заключено до 15 миллионов человек.

Но самым ярким фактом, показавшим всему миру до какой степени народы России ненавидят тоталитарный коммунистический режим и в каждый момент готовы ему оказать сопротивление, было, конечно, массовое пораженчество 1941 года, как ответ на вторжение Гитлера в Россию. В первый год войны немцам в плен сдавались целые воинские соединения, не желая «сражаться за Сталина». В Донбассе, сформированные большевиками дивизии из шахтеров, без выстрела переходили к немцам. Не только рядовые красноармейцы, даже члены партии рвали свои партийные билеты и переходили к немцам.

Эти пораженческие настроения 1941-42 г.г. охватили все слои населения СССР. Это было широкое народное движение и оно вовсе не ограничивалось пассивным «сложением оружия». Нет, народ хотел воевать **против Сталина.** В немецкой армии за 1941-42 г.г. было больше миллиона советских добровольцев. Народ шел к немцам не из каких-нибудь симпатий к гитлеризму, их не было в русском народе. Решающим побуждением, толкавшим миллионы русских людей на такой шаг была ненависть к большевистской диктатуре. Ненависть такой силы, что она закрывала глаза на всё остальное, во имя единой цели — **освобождения народа от ненавистной сталинской диктатуры.**

Политически настроения народа и цели освобождения России были сформулированы генералом А. А. Власовым, который будучи в немецком плену, стал во главе антибольшевистской армии, формировавшейся из советских военнопленных и депортированных. В 1943 году в обращении к народам России и в 1944 году в известном Пражском Манифесте генерала

Власова говорилось о возвращении русскому народу всех его свобод, завоеванных в февральской революции 1917 года.

Задачей ген. А. А. Власова было перевести в России внешнюю войну на путь внутренней гражданской войны против режима. Эта задача не удалась, во-первых, потому, что этого не хотели немцы, не доверявшие этому национальному движению, и потому, что тупость немецкой расовой политики, бесчеловечное обращение с русскими военнопленными в лагерях, зверское обращение с населением в России, теория «унтерменшей», депортации и пр. к этому времени в России уже превратили весь русский народ в заклятого врага гитлеризма.

Так, Гитлер спас Сталина, который, учитывая вырвавшиеся антибольшевистские настроения во время войны, в свою очередь обманывал народ посулами изменения режима и играл на национальных чувствах народа. Очутившись между политикой «унтерменшей» Гитлера и хитрыми посулами Сталина русский народ, победивши Гитлера, оказался еще раз обманутым коммунистами.

Н. Кошелев

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

ЗАПИСИ В. М. ЗЕНЗИНОВА

БЕСЕДЫ С И. А. БУНИНЫМ

Один экземпляр этих записей бесед В. М. Зензинова с И. А. Буниным и художником Ф. Малявиным В. М. еще при жизни передал Р. Б. Гулю в его архив. При жизни В. М. не хотел их печатать. РЕД.

29. X. 1934 — Сионские протоколы не могли иметь значения. Конечно, они могли создавать иллюзию оправдания для администрации, но ведь неверно, будто администрация организовывала погромы. Погромы совершал народ... Да вы видали ли погром? Я видел погром самый страшный в Одессе.

— В первые годы революции евреи свою роль сыграли. Особенно молодые евреи в чеке. Хотя с евреями и в чеке можно было разговаривать — например Северный в Одессе (это псевдоним, конечно). А вот вспоминаю я одного грузина. Мчался он в автомобиле, глазища — во! Лицо худое, как у архангела, вокруг головы красный башлык, в правой руке ружье, в левой наган. Я увидал, остановился среди улицы, рот разинул — что это? Ангел смерти? Фамилия его была Клименко — тоже псевдоним.

Слушает внимательно, но с неприятной улыбкой французскую речь в радио.

— Что это за язык!.. (площадное ругательство *В. З.*) Какой-то развратный, упадочный. А раньше в нем много дикого было — все эти «уа», «уа»: всё это признаки дикости. Потом звуки эти отпали, но язык стал отвратный. Разве вы не слышите сами? Ну что это такое?.. (площадное ругательство *В. З.*) Как говорит! Ну просто как б...! Что если я вам буду говорить: — ну, возьмите-е ещé-е кусó-очé-ек, пожá-алуй-стá-а-а!... Нет, нет... И сколько фальши! Английский и немецкий языки тоже неприятны, но всё же они естественнее. Русский язык гораздо проще, естественнее. Нет в нем фальши.

Неаполитанские песни в радио.

Италию впервые в Венеции увидал. Почему-то на вокзале стал требовать разного вина. Принесут бутылку, а я другого хочу попробовать, получше. Бутылок двадцать принесли. А я всё говорю «ancora». Весь стол заставили, бегают, обалдели совсем, ничего не понимают. Потом начали хохотать, как сумасшедшие.

— В Неаполе мы с Горьким совсем напились. Горький в меня тычет: — ecco... poeta russo. ... Ну как его... vino... еще ancora... — По-итальянски ни черта не может сказать. Я тогда один две бутылки осадил. Итальянцы поют, на гитарах играют (показывает, как откидываются назад всем корпусом). Я танцовать пустился (заложил руку за затылок). Сколько народу собралось кругом. Смотрят, смеются, подпевают... Совсем пьяны были — и я и Горький.

— Да, было дело. А теперь что? Старик, старый мерин в лаврах...

И низко поник головой к столу.

31. X. 34 —Я часто думал, Иван Алексеевич, что если бы Чехов прожил дольше, вы бы с ним крепко подружились?

И. А. ответил не сразу, сначала задумался.

— Нет, не думаю. Очень мы с ним были разные люди. Правда, Чехов меня любил, всегда мне радовался. И мне он казался совсем не похожим на всех других писателей — ведь вы и представить себе не можете, какая всё это была сволочь. Самая настоящая сволочь!

— Вы не забывайте, из какой среды Чехов вышел, можно сказать — выбился. Из настоящей мелко-мещанской, торговой. Человек он был сдержанный, застенчивый, даже стыдливый. Такой и вся его семья была — и мать его и Маша. Мне Маша сама рассказывала, как она к девочкам Толстого попала. Слышали они, что их отец Чехова-писателя хвалит. Позвали к себе Машу — познакомиться. А они такие — всё слова произносят на все буквы: и на г, и на ж и т. д. Кроме того любили в других подмечать дурное, было это в семье. И как брякнет одна из них о каком-то писателе: — «Ну, что это — ведь это настоящее г...» — Маша так и шарахнулась. Потом уж привыкла да и я ее приучил. Человек она была простой, здоровый — любила со мной смеяться. (Вера Николаевна шопотом: — «Ведь Марья Пав-

ловна влюблена была в Ивана Алексеевича...»). А теперь она совсем с ума сошла, по-настоящему.

— А как, Иван Алексеевич, вы объясняете перелом, который в Чехове произошел — от юмористических рассказов к грусти, от беззаботного и жизнерадостного Чехова к сумрачному...

— Никакого особенного перелома в нем не было. Вот уж нельзя его назвать ни жизнерадостным, ни беззаботным — никогда таким не был. Что писал юмористические рассказы, по этому судить нельзя — это внешнее. Да и какая это юмористика! О чем он тогда писал? Подмечал нелепости жизни, смешное в человеке... Проститутка ищет, где бы занять ей деньги. Идет к зубному врачу, но просить не решается. Он садит ее в кресло, вырывает ей зуб и она отдает ему свой последний рубль. Идет по улице и плюет кровью. Не правда ли, как всё это смешно? Возьмите его «Пестрые рассказы» — разве они смешны?

— Конечно, с годами он делался более грустным, задумывался — потом болезнь, которую он, как врач, хорошо понимал. Вот тогда он и *начал* писать по-настоящему, — проблески этого видим в «Архиерее», «В овраге». Это уже была настоящая литература. Если бы прожил больше, дал бы настоящее.

— «Жизнерадостный» Чехов, «беззаботный»... Вот уж нет! Что такое жизнерадостность? Он никогда своей души не открывал, разве иной раз блеснет глазом — всегда был сдержанный, никогда у него не была душа нараспашку. А возьмите меня — я, наоборот, безудержный, могу и люблю размахнуться — многие меня и сейчас странным считают.

— В его жизни много женщин было, сколько одних актрис... Комиссаржевская, Таня Куперник (Щепкина-Куперник) да и с Лешковской что-то было. Так и с Книппер. Он особенного и значения этому не придавал. Ну, остановились в гостинице Киста... Вы Севастополь знаете? Обрыв, южный вечер, Абрау Дюрсо... Экая беда, он и значения этому не придавал. Актриса! И позднее звал ее ехать по Волге — и так, чтобы другие не знали. Молодая еще, свежая, блестящая — вероятно и как женщина ему нравилась, хорошо сложена, хотя и было в ней, пожалуй, что-то деревянное... А она к этому иначе отнеслась. Что там говорить — между нами сказать, она его на себе женила. Он-то наверное об этом и не думал.

— Ее называли самой умной женщиной Москвы.

— Да? Не знаю, не слыхал. Особенно умной ее никогда не считал. (Вера Николаевна: «Была культурная, воспитанная — культурнее и воспитаннее Чехова и он это, вероятно, чувствовал»). Не понимаю, как она могла с ним в одну постель лечь. Ну, один еще раз куда ни шло... Ведь он уж в каком был состоянии. Я его как раз в это время в Ялте видел. Позвонили по телефону, ответил два слова и мне трубку передал, подтолкнул. — «Не могу говорить, соврите что-нибудь — отозвали, вызвали...» — Взял я трубку, так и отшатнулся: из трубки прямо мертвечиной несет — и какой мертвечиной. В пять или шесть дней... А ведь всего два слова сказал. Ведь у него был туберкулез кишечника. Я знал, что с ним кровавый понос бывает — ну, думал: понос и понос. А это, оказывается, туберкулез был.

— Сам он ни за что бы не женился. Мне одному как-то сказал: «Знаете, жениться я решил». — Я: — «Ну, что же, дело хорошее. Подавай Бог». — «Женюсь на немке. Чистая, не то что русская, которая лицо только вот до сих пор моет. Эта и за ушами, и шею, и всюду мыть будет. До скрипа. И в комнатах чисто будет. Ребята не будут на четвереньках в моем кабинете по полу ползать и костью в таз бить...» — А у самого вид немножко смущенный. Хотел мое мнение услышать. А я что скажу? Конечно, понял, о ком он говорил.

— Не очень была подходящая пара. Маша и мать, с которыми до сих пор всегда вместе жил, очень ревновали. Я видел, что с Машей делалось — с Машей он очень близок духовно был. А мать говорила: — «Жена актриса — что за жизнь! Будет жить в Москве, а Антоша в Ялте. Актриса — заведет себе в Москве любовников!»

— После смерти Чехов всё оставил Марии Павловне — и литературное наследство и дачу свою. Книппер же оставил маленькую хибарку с клочком земли, которую за 10.000 купил в Крыму. А дача его тогда в 150.000 золотых рублей была оценена. Это даже скандально вышло. Конечно, с Машей он духовно и душевно ближе был.

Вера Николаевна: — «Но Книппер же и передала всё это в распоряжение Марии Павловне. Чехов всё это на клочке бумажки написал перед смертью — Книппер могла ее изорвать...»

— Извини, пожалуйста. Чехов не такой человек был — у него всё было акуратно, всё в порядке. Наверное, настоящее

завещание в сейфе лежало, в московском Лионском кредите. Бывало, идет и говорит: — «Да-с, иду в банк купоны стричь».

— Почему, говорите, Книппер за него замуж вышла? Ну, конечно, по честолюбию.

1. XI. 34. — В Москве у нас был телефон: трещит без конца, а ничего не слышно, и говорить в него нельзя — дотронешься, искры из него во все стороны летят — тр-р... тр-р... фырк... фырк... Мы его и на бумаги ставили, ватой закладывали, калошей прикрывали — ничего не помогало: трещит и искры выскакивают. Так и Андрей Белый.

— Ну просто сумасшедший. Говорят там, что сумасшествие и гениальность как-то там сопрягаются, что они конгениальны. Может быть, даже наверное так. Но лучше уж каждое отдельно: сумасшествие без гениальности, а гениальность без сумасшествия. Так гораздо лучше.

БЕСЕДА С ХУДОЖНИКОМ Ф. МАЛЯВИНЫМ

2. XI. 34 — Мне 65 лет, а давайте попробуем в перегонки —наверное вас перегоню.

Дед мой был, должно быть, француз. Вырезывал из дерева Распятия в натуральную величину. Вы только подумайте такую нелепость: разве будет русский человек Распятие вырезывать? Когда он умер я очень обрадовался: был у него ящичек, а в ящичке огрызок цветного карандаша и ножичек; он этим ножичком еще и буквы вырезал. И как умер, я сейчас же этим ящичком овладел. Помню, при его жизни я как-то нарисовал буквы и показал ему.

— Ах ты, постреленок, тоже умеешь — пошел вон! — И к ящичку близко не подпускал.

Было мне 7 или 8 лет. Нашел я 33 копейки, купил на них фуксина, бумаги. Нарисовал десять святых — я думал, что рисовать можно только из головы. Когда мне сказали, что их можно с икон срисовывать, очень удивился — это так легко. Картинки свои продал по 3 копейки за штуку. Был у нас священник. Вдовый, ухажер и кавалер, держал у себя красивых стряпок, ходил в шелковой рясе. Я его не любил — наша семья вся была очень религиозная. Рассказывали, что когда стряпка его родила,он взял ребенка за ноги и ударил головой о косяк, а потом велел его стряпке зарыть в землю. Все это знали, но никто ничего не сказал. И когда он вошел в избу, где были кар-

тинки моих святых, я очень волновался, что он скажет. В избе он остался долго, а когда вышел, сказал мне, чтобы я к нему пришел — карандаш мне даст. А когда пришел к нему, ничего мне не дал — забыл.

Землю я не любил — пахать, косить, терпеть не мог, а отец заставлял, не хотел, чтобы я был живописцем. Но когда мне было 16 лет, я отпросился на Афон — слышал, что там рисуют. Отец не мог мне отказать — поехать на Афон дело хорошее.

Когда приехал на Афон, меня спрашивают, умею ли я рисовать. Я ответил, что всё умею, всему уже научен — боялся больше всего, что к краскам не допустят. Был там монах, взял меня к себе — я и стал рисовать. Скоро монахи стали говорить: — А ведь у брата Филиппа лучше выходит. — Монах обиделся. — Что вы, про меня говорят, что у меня итальянщина, а итальянцы в живописи первые мастера. — Может быть, отвечают ему, а всё же у брата Филиппа лучше. — Монах обиделся, начал меня преследовать.

Шесть лет пробыл я на Афоне послушником. Поехал в Петербург воинскую повинность отбывать — денег мне на дорогу дали. На Афоне видел меня попечитель Беклемишев, еще раньше Богданов-Бельский. Уже тогда я не любил в картинах ничего неестественного — Левицкий казался мне слишком слащавым.

В Петербурге пришел в Академию. Привели меня в класс — вижу, рисуют орнаменты с натуры. Я до тех пор не видел, чтобы с натуры рисовали — показалось мне это очень высоким, недостижимым. Там всё были ученики из школ Московской, Киевской. Но очень скоро орнаменты эти одолел. Сразу перевели в фигурный класс. Сначала я был третьим, потом вторым, наконец и первым. — Эге! — думаю.

Учеником нарисовал я «Красных баб».

С Бенуа не соглашался и с Дягилевым всегда спорил: зачем нам подражать Европе?! Мы и Европу должны в себе переработать по-своему, по-русски.

В. Зензинов

БИБЛИОГРАФИЯ

С. Л. ФРАНК. *Душа человека. Опыт введения в философскую психологию.* 2-е изд. YMCA-Press. Париж. 1964.

Этот труд Семена Людвиговича Франка должен был появиться в «Записках Историко-филологического факультета Петроградского университета» в августе 1916 года. Но вышел он в свет год спустя, то есть совсем накануне октябрьского переворота. Поэтому ныне выпущенное *второе издание,* по существу является первым, ибо предыдущее, по понятным причинам, до читающей русской публики не дошло. Оно было известно только узкому кругу друзей и единомышленников Франка и, быть может, некоторым специалистам-психологам. А книга эта, я думаю, особенно нужна, и прежде всего современной русской молодежи и новой русской, нарождающейся интеллигенции, как мы знаем, жадно прислушивающейся к свободной мысли, ко всему новому, творческому, что выходит вне пределов досягаемости советской цензуры.

Семен Людвигович как бы предчувствовал трагическую судьбу русской духовной культуры. Вот, что в июле 1917 года, он писал в предисловии к своему труду:

«В силу ненормальных типографских условий, печатание книги значительно задержалось. Ей суждено выйти в свет в момент, когда русскому обществу, среди тягчайших испытаний родины, — казалось бы — не до науки вообще, а тем более, не до отвлеченных философских размышлений. Но если в этой книге есть вообще что-либо ценное, то автор смеет надеяться, что она не окажется бесполезной и в настоящую минуту. Ибо в чем бы ни заключался конкретно выход из переживаемого нами тяжелого кризиса, не подлежит сомнению, что единственный путь к нему — повышение духовного уровня нашей культуры, углубление плоскости обсуждения всех жизненных вопросов, преодоление всякого невежества, варварства и одичания. В этом смысле и философ имеет право верить, что своей независимой мыслью он посильно содействует духовному и общественному возрождению своей родины».

Надо сказать, что эти строки Франка и по сей день не утратили своего значения. Независимая философская мысль нужна для духовного и общественного возрождения России сейчас больше, чем когда-нибудь. А мысль Франка, особенно в области психологии, была

независимой и, в известном смысле, даже революционной уже и тогда. Как в своей книге отмечает сам Франк, «атомизм» и позитивизм, понимаемые как отрицание несводимой оригинальности *субъекта*, царствовали тогда почти безраздельно как в Западной Европе, так и в России. Правда, у Франка был уже выдающийся предшественник — Анри Бергсон, которому Франк воздает должное. Но всё же и Бергсоны и Франки были одиночками.

В чем же основная мысль, основной метод Франка? Мысль его очень проста. Для анализа субъекта, для анализа живой человеческой личности надо исходить из самóй реальности этой личности, надо обратиться к собственному «внутреннему», то есть, непосредственному опыту, а не к надуманным схемам, взятым из наблюдений над объективными, то-есть «внешними» фактами и процессами. В объективности не найти субъекта. Эту идею Франк повторяет неоднократно. Субъект может найти только сам себя. Более того — субъекту и искать себя не надо, ибо сам ищущий уже и есть субъект.

Как эпиграф к первой, вступительной главе книги Франк приводит следующую цитату из Лотце: — «Из всех заблуждений человеческого ума самым странным мне всегда казалось то, что он мог дойти до мысли сомневаться в своем собственном существе или рассматривать его только, как приобретенный продукт внешней природы, ведомый нам только из вторых рук, — через посредство того самого духа, который мы отрицаем».

Цитата эта характеризует исходную установку Франка. У нас есть внутренний опыт, опыт этот чрезвычайно богат, его накопило человечество на протяжении тысячелетий в лице самых блестящих своих представителей. И опыт этот *законен*. Более того, только такой опыт и может считаться действительно *научным*, если слово научный вообще имеет какой-либо смысл. Внутреннюю жизнь человека можно познать и познавать только изнутри. Но жизнь эта разнообразна и сложна. Более того — она противоречива. Это Франк показывает в ходе подробного анализа наших непосредственных переживаний.

Франк подчеркивает единство личности, то основоположное единство, без которого, конечно, нет и личности, нет и живого человека. И в этом одна из оригинальностей анализа Франка. Франк показывает, что единство это есть единство разнообразия, единство различных уровней, моментов, даже единство противоборствующих «центров личности». Прежде всего Франк разлагает сложное и туманное понятие «сознания». Это до него уже сделал Фрейд, «открывший» подсознание. На самом деле Фрейд сам указывал, что подсознание открыл не он, а великие поэты, художники, мыслители. Фрейд утверждает, что он открыл лишь метод, дающий возможность анализировать подсознание. Но, как указывает Франк, само наличие

различных уровней сознания теперь является одним из общепризнанных фактов не только в психологии, но и в психпатологии и в медицинской психологии.

Однако, в своем «разложении» личности Франк идет дальше Фрейда. Можно сказать, что разложение личности Франком глубже, глубиннее деления лишь на сознание или сознательное и подсознание или подсознательное. У Франка деление не только, так сказать, вертикальное, оно еще и качественное. Прежде всего Франк отличает «душу», как носительницу некой неповторимой личности, от «стихии душевной жизни». Затем «сознание» у Франка не тожесловие «души». «Душа» и даже «душевная жизнь» шире сознания. Сознание лишь один из моментов «души». «Душа», как инстанция отличная от стихии душевной жизни» тоже качественно разложима, имеет свой «верх» и «низ», свою «плоть» и духовность.

Но, подчеркнем еще раз, несмотря на все эти различные и даже враждующие моменты, существует какое-то основоположное единство — «...ибо душевная жизнь не есть сумма или равнодействующая сталкивающихся между собой отдельных сил и процессов, а есть первичное единство». (стр. 185).

Мы не можем входить в детали всех антагонизмов и противоречивых моментов, составляющих человеческую личность; и вскрытых Франком антагонизмов, которые могут и доходят в некоторых случаях до того, что принято неточно называть «раздвоением личности». Отметим, что по Франку сами эти противоречия на фоне личности и личностью непосредственно переживаемые, хотя и не всегда ясно осознанные, лучше и непосредственнее всего свидетельствуют о первичной единичности, без которой нет и не могло бы быть живого человека. Как это ни странно может показаться, это живое единство лучше всего выражается в искусстве, в *эстетическом облике* человека. Само понятие «облика» до известной степени тождественно с понятием личности, *лица*. Приведем еще одно место из книги С. Л. Франка, до известной степени резюмирующее всю эту книгу.

«Во всяком эстетическом «общем впечатлении» от человека мы имеем некоторого рода смутное предугадывание своеобразия его личности, формирующего единства его души. А в том особом, чутком проникновении в чужую душу, которое дает любовное отношение к человеку — как бы часто оно не было обманчиво в иных случаях, — нам непосредственно предстает коренное первичное единство, связующее «дух» человека с его «плотью», таинственное, глубочайшее своеобразие его внутреннего духовного *я* — с блеском его глаз, модуляцией голоса, манерой движений, со всеми его прихотями, вкусами и инстинктами. *Живой субъект* душевной жизни — то, что мы зовем живой, конкретной личностью — есть именно это непосредственное конкретное единство психо-физической, «соматической» фор-

мирующей силы с *духовным* своеобразием — единство, сохраняющееся даже в самой острой раздвоенности и противоречивости между «низшей» и «высшей» сторонами человека. Невыразимая тайна личности есть именно тайна этого глубочайшего единства разнородного в ней — тайна, которая может быть лишь художественно выявлена, но не логически вскрыта. В логической схеме это может быть уяснено лишь в общем понимании коренного единства двойственности человеческого существа...» (стр. 215).

Можно ли после этого удивляться, что наибольшими провидцами человеческих душ и человеческой реальности вообще были великие художественные творцы; поэты, писатели, художники, музыканты? Кстати, такого же мнения придерживался и «циничный» Фрейд.

В заключение выразим пожелание, чтобы то же издательство поскорее выпустило и второе издание монументального труда С. Л. Франка, его магистерскую диссертацию «Предмет знания».

Лев Закутин

РУССКИЕ ПОЭТЫ XIX ВЕКА. *Хрестоматия. Составил Н. М. Гайденков.* Издание 3-е дополненное и переработанное. Москва 1964. 1040 страниц.

Эта объемистая хрестоматия выходит уже третьим изданием. Она представляет собой сравнительно дешевый сборник образцов русской поэзии 19-го века, который можно рекомендовать русскому читателю. Но хрестоматия заслуживает упоминания в отделе рецензий «Нового Журнала» и по иной причине: она «переработана» и переработка эта симптоматична для «новых веяний» в литературных взглядах и оценках в СССР. Несмотря на сравнительно немногие изменения и дополнения, сборник всё-таки является шагом вперед по пути освобождения литературы от догматического гнета официальной идеологии. Трудно предполагать, что это освобождение связано с переоценкой творчества предшественников символизма, стихотворения которых появляются впервые в этом третьем издании. Но нельзя недооценивать и того факта, что для читателя в СССР становится возможным историческое понимание развития русской поэзии в конце 19-го века: ему становится понятным, что поэзия начала 20-го века — так наз. «символизм», — выросла из определенных корней, что для конца 19-го века были характерны не только Трефолев, Дрожжин и Надсон и их предшественники — Минаев и Курочкин, но и группа «предшественников символизма», впервые появляющаяся в лице своих представителей в новом издании хрестоматии.

Владимир Соловьев был, правда, уже представлен в прежнем издании хрестоматии. Но сейчас к нему присоединены Н. Минский и К.

Льдов. Отсутствие Минского в прежних изданиях было особенно непонятно. Ему принадлежали стихотворения, популярные не только среди «эстетов», но и в широких кругах политически-заинтересованных читателей. Напомним, кстати, такие строки из его стихотворения:

Как сон пройдут дела и помыслы людей.
Забудется герой, истлеет мавзолей
и вместе в общий прах сольются.
И мудрость, и любовь, и знанья, и права,
как с аспидной доски ненужные слова,
рукой неведомой сотрутся.

Многие отнюдь *не* политически заостренные или философско-исторические стихотворения Минского тоже были популярны, как например: «Я боюсь рассказать, как тебя я люблю», или наконец, излюбленная декламаторами «Гефсиманская ночь». Если стихотворения Минского и даже его имя в последние годы замалчивались, то в этом были повинны какие-то его иные «промахи» или «прегрешения», скорее всего его (кстати не очень глубокие) философские трактаты. Теперь для нескольких стихотворений Минского нашлось место среди произведений его современников. Не менее характерно появление Льдова совсем забытого и по моему мнению даже не «*предшественника* символизма», а просто стоявшего в стороне от группировок символистов *раннего* символиста. Льдов (его настоящая фамилия — Розенблюм-Витольд) издал в 90-х годах три сборника стихотворений, печатался в «Северном Вестнике» и затем не исчез с литературного горизонта, но отошел в сторону и печатал, кажется, преимущественно переводы немецких поэтов. Ему между прочим принадлежит прекрасный перевод «Ученика волшебника» Гёте и не менее интересные переводы стихотворений юмориста Вильгельма Буша, — в этом случае перед переводчиком стояла особо трудная задача, с которой Льдов прекрасно справился. Ему и Минскому в хрестоматии уделено сравнительно много места. Каждый представлен 7-ью стихотворениями, дан даже отрывок из «Гефсиманской ночи». Теперь — после появления полного собрания стихотворений Ин. Анненского и избранных стихотворений Случевского и Фофанова — надо ждать, что в следующем издании хрестоматии найдется место и для раннего Мережковского и для *ранних* стихотворений Бальмонта и Сологуба, позже примкнувших к символистам.

Появилось в сборнике и несколько новых имен поэтов 19 века: рано умерший друг Жуковского Андрей Тургенев, Александр Гаврилович Ротчев (1806-1873) и, вероятно, только случайно раньше пропущенный гегельянец Н. В. Станкевич. Некоторые поэты, к сожалению, из хрестоматии исчезли, как напр., интересный ранний романтик Коншин и талантливый, оригинальный «петрашевец» Баласоглу.

Всё же еще характерны отзывы о поэтах. Хотя Ротчев и рекомендуется как «талантливый поэт, обладающий высокой культурой поэтического мастерства», но в сборник попало только три его стихотворения, а типичные для него стихи с религиозной тематикой оставлены за бортом. Да и характеристика его, как мастера стиха связана с указанием на его (в общем случайные) связи с декабристами и Полежаевым, и как будто именно эти связи и позволяют принять этого «мастера стиха» в сборник. О Льдове сообщается, что он «эпигон», связан «с традицией Тютчева и Боратынского», указывается на его «талант и художественную культуру», но всё же его считают нужным упрекнуть в том, что традиции крупных поэтов он воспринял «неисторически» и кроме того «замкнулся в кругу личных и традиционно-романтических тем».

Самое характерное, однако, это — исчезновение из сборника «любимого произведения Сталина» — «Девушка и смерть» Горького. Сталин считал, что это небольшое стихотворение в прозе «посильнéе 'Фауста' Гёте»! Характеристика Горького как стихотворца (он, конечно, был далеко не бездарен) от устранения этого слабого мелодраматического произведения, конечно, не пострадает. Но устранение «Девушки и смерти» — интересный симптом «новых настроений». Сейчас, правда, пришло сообщение и о появлении сборника стихотворений Б. Пастернака (в 600 страниц). Это симптом не менее знаменательный.

Дмитрий Чижевский

НОВЫЕ КНИГИ О ДОСТОЕВСКОМ:

М. БАХТИН: *Проблемы поэтики Достоевского*. Изд. 2-е, переработанное и дополненное. Москва. 1963, стр. 364.

А. С. ДОЛИНИН: *Последние романы Достоевского*. Как создавались «Подросток» и «Братья Карамазовы». Москва-Ленинград. 1963. стр. 344.

Обе книги не совсем «новы». Так книга Бахтина вышла в 1929 году и была высоко оценена исследователями, но вскоре стала «библиографической редкостью» (как отмечает сейчас издательство). Это случилось потому, что книга оказалась «формалистической» — и хотя никто точно не понимал, что такое «формализм» и где его границы, но блестящая книга исчезла и не только не переиздавалась, но и не цитировалась, как несоответствующая официальным «нормам».

Содержание книги Бахтина может быть в общих чертах изложено, как попытка характеризовать своеобразие романов Достоевского, создавшего и разработавшего по мнению Бахтина новую форму романа: «*полифонический роман*». Полифония (по-русски «мно-

гоголосие») романов Достоевского была замечена некоторыми исследователями, но охарактеризована не совсем правильно, как «театральность» («роман-трагедия» по Вячеславу Иванову). Между тем роман, конечно, в существе своем отличается от совершенно иного литературного жанра — театрального произведения. Бахтин видит «полифонию» романов Достоевского в том, что автор уделяет каждому действующему лицу особую «точку зрения на мир и на самого себя» (лучше сказать: «на человека вообще»), а сам отходит в тень и пытается как можно полнее и ярче передать в романе эту «точку зрения», не внося своих собственных взглядов и мнений. Достоевский «дает слово» своим героям, которые выступают перед читателем, как «люди идеи», т. е. носители определенных, *своих* идей. В отличие от подавляющего большинства писателей (Бахтин, как кажется, несколько преувеличивает своеобразие Достоевского). Достоевский не пытается давать этим идеям своих героев положительной или отрицательной оценки. Все его герои «равноправны» пред лицом автора и читателей — и даже «пред лицом истины».

Мы не будем излагать конкретных анализов композиционных приемов, языка и стиля произведений Достоевского: этим анализам посвящена бóльшая часть книги. Именно «равноправием» героев Достоевского «пред лицом истины» и объясняется тот странный факт, что исследователи идеологии Достоевского характеризуют его мировоззрение на основе высказываний самых различных его героев: от старца Зосимы и Алеши Карамазова до Ивана Карамазова и даже «человека из подполья»! Пожалуй только «мировоззрение» Смердякова не было использовано для характеристики взглядов Достоевского. Мнения Бахтина, как видим, до некоторой степени соприкасаются со взглядами С. Н. Трубецкого, изложенными в его статьях о Достоевском, печатавшихся в «Новом Журнале».

Конечно, и Бахтин не отрицает наличия у Достоевского системы его *собственных* взглядов, но источником их изучения должны быть статьи и письма Достоевского. Отметим, что статьи Достоевского доступны большинству читателей только отчасти (т. е. только те, которые были включены в старое «Собрание сочинений» и перепечатывались в Берлинском и Парижском изданиях, изданные же еще перед первой мировой войной Л. Гросманом сейчас почти забыты), первые три тома писем, вышедшие в 1935 г. тоже имеются только в немногих научных библиотеках Европы и Америки. Было бы преувеличением утверждать, что Достоевский *никогда* не высказывает своего отношения к взглядам своих героев: он позволяет себе иногда *намекнуть* на свое отрицательное отношение например к взглядам Шигалева в «Бесах» или Фетюковича в «Братьях Карамазовых». Но он всегда пытается показать нам «идеи» всех своих героев в возможно более ярком и последовательном выражении: в

этом его сила как художника и в этом же тайна его успеха и влияния в мировой литературе. В России, конечно, не было таких ярких представителей «просвещенства» (так я называю вместе с В. В. Зеньковским мировоззрение русских «шестидесятников», — дожившее кстати до наших дней), как Раскольников, Шигалев, Кириллов и Иван Карамазов. Бахтин показывает, какими средствами Достоевскому удается создание таких образов.

Книга Бахтина, конечно, не выясняет всех проблем стилистики Достоевского. Новое издание его книги подверглось некоторым (несущественным) сокращениям, дополнения незначительны и довольно «случайны». Книга заслуживает не только чтения, но и внимательного изучения поставленных в ней проблем.

А. С. Долинин был также долгие годы почти что забыт, как исследователь Достоевского. В его книге собраны его старые работы, значительно дополненные и переработанные. Книга уводит читателя от самих романов («Подростка» и «Братьев Карамазовых») к их «источникам» и к «подготовительным работам» Достоевского.

В отличие от распространенного мнения композиция «Подростка» не «хаотична» и не «неудачна»; кажущиеся непоследовательности и «хаотичность» композиции в действительности входили в литературные намерения автора: этой проблеме посвящена отчасти медальная работа моего ученика Г. Ю. Герigка о «Подростке» (на немецком языке). Но Долинин почти что не останавливается на *окончательной* форме романа. Его задача — исследование того литературного и житейского материала, который был использован Достоевским при создании романа. Указания автора интересны и по большей части убедительны. Тут и газетный материал 70-х годов, и судебные процессы — революционного кружка «долгушинцев» и подделки акций Тамбовско-Козловской железной дороги, и литературные образы Чаадаева и Герцена, и случаи участившихся самоубийств, и литературные произведения (Руссо, Диккенс, Лев Толстой, Гейне и «Фауст» Гёте) и, наконец, собственные переживания Достоевского и его заметки, предназначенные для других произведений, отчасти (как «Житие великого грешника») оставшиеся ненаписанными. Но, как сказано, за этим весьма пестрым материалом расплывается и исчезает целое романа, как художественного произведения.

Только первые *ранние* стадии работы подготовки «Братьев Карамазовых» рассмотрены во второй части книги. Заметки, изданные (в немецком переводе) В. Комаровичем под вводящим в заблуждение заглавием «Первоначальная *форма* «Братьев Карамазовых» (совершенно «бесформенные» и беспорядочные!), остались вне сферы внимания Долинина. Но собранный автором материал интере-

сен, хотя дает еще меньше для понимания романа, чем посвященные «Подростку» страницы.

Интересны обе небольшие вводные главы книги о Достоевском и Герцене и Достоевском и Страхове. Долинин совершенно правильно отмечает значение общения со Страховым для выработки мировоззрения Достоевского. Характеристика философских и публицистических работ Страхова несколько бегла, но лишена тех презрительно-пренебрежительных нот, которые обычны в советских работах при одном упоминании о философах-«идеалистах». Долинин совершенно правильно подчеркивает и значение сотрудничества Аполлона Григорьева в журналах братьев Достоевских и с полным правом сомневается во влиянии Федорова на Достоевского (о чем неубедительно писал В. Комарович). Вряд ли можно сомневаться в значении общения Достоевского с юным Владимиром Соловьевым именно при работе над «Братьями Карамазовыми»: об этом писал С. И. Гессен; но следовало бы проработать весь относящийся к этим годам материал.

Книгу Долинина можно рекомендовать прежде всего историкам литературы, да и русской духовной жизни 70-х годов вообще. Читателя-неспециалиста книга может завести в тупик, создав у него впечатление, что романы Достоевского — только собрания «пестрых глав», т. е. отрывков личных и литературных впечатлений Достоевского. Широкие картины русской жизни в обоих романах и незабываемые образы Версилова, старца Макара, старца Зосимы и членов семьи Карамазовых исчезают за мелочами подготовительных работ.

Достоевский и Ницше тема (о которой раньше писали Шарль Андлер, Гессен и я) и в последние годы была темой небезинтересных работ молодого немецкого слависта В. Геземанна и В. Шубарта. Не следует забывать Страхова, вероятно, первого русского читавшего Ницше и «предсказавшего» в своих статьях появление на Западе идеи «сверхчеловека» и возобновление античной идеи «вечного повторения». На этот источник «ницшеанства до Ницше» у Достоевского указал я. Но следовало бы проследить также и иные источники этих идей в «левом гегельянстве», у католического философа Ламенэ и даже у русских материалистов (идею «вечного повторения» развивал в ранние годы Н. Морозов; указания на это в его воспоминаниях «Как из меня вышел революционер вместо ученого?», конечно, пропущены в новом издании воспоминаний). Новые указания на «гегельянство» Достоевского неубедительны. Но интересна брошюра классического филолога и талантливого переводчика античных поэтов Я. Голосовкера («Достоевский и Кант», 1964). Не буду останавливаться на иногда выразительных параллелях мыслей Достоевского и кенигсбергского философа, отмеченных автором. Голосовкер исходит из предположения непосредственного знакомства Достоевско-

го с произведениями Канта. Мне это предположение представляется ошибочным: и здесь надо видеть знакомство с идеями Канта на основе философских информаций Страхова или Владимира Соловьева.

Во всяком случае новая литература о Достоевском показывает, что его духовный мир и литературное творчество еще заслуживают дальнейшего изучения.

Дмитрий Чижевский

ANTS ORAS. *Acht estnische Dichter*. Vaba Eesti. Stockholm, 1965.

Трудно судить о стихах по переводам. Всё же переводы необходимы, но, при этом, читателю нужно что-то знать об особенностях незнакомого ему языка. Эстонский язык принадлежит к угро-финской группе. Согласных в нем меньше, чем в индо-европейских языках, так отсутствуют шипящие, и для него вообще характерна вокальность. Гласные, а также и согласные, имеют три протяжения или долготы, обогащающих звуковую стихию этого языка. Как и в классических языках, слоги разделяются на долгие и короткие, но, кроме того, есть еще слоги сверхдолгие. Из гласных очень своеобразно *о*, отдаленно напоминающее славянское *ы*. Встречаются слова, состоящие из одних гласных.

Есть что-то певучее в эстонском языке, и по-эстонски хорошо поется, как и по-итальянски. На одном международном конкурсе (в 30-х г.г.) эстонский язык получил второй приз за его музыкальность (первый достался итальянскому). Очень выразительны и некоторые эстонские согласные, напр., раскатистое *р* в северно-эстонском произношении. В самом языке много звуковых повторов и некоторые поэты даже стараются их избегать, ибо эстонская речь уже сама по себе — сладостная, певучая. Первым из русских поэтов, отметивших красоту эстонского языка был В. Кюхельбекер: «тебя обворожит речей эстонских звук». А филолог Г. Сокольский указывая на «звучность, мягкость, неслыханную текучесть эстонского языка», утверждал, что «эстонская нация языком нежнее итальянской» («Москвитянин» 1841 г.).

Эстонский фольклор возник во времена доисторические. Финскому эпосу «Калевала» близки по духу песни о Калевипоэге (сыне легендарного короля Калева). В середине прошлого века их собрал эстонский поэт и писатель-просветитель Фридрих Рейнгольд Крейцвальд, по специальности врач. Однако, его грандиозная поэма не всегда подлинный народный эпос, а отчасти индивидуальное произведение, созданное из фольклорного материала. «Калевипоэг» переведен на 18 языков. При этом, одним из наиболее удавшихся переводов считается русский — В. Державина и А. Кочеткова (третий и наилучший вариант был издан Эстонским государственным издательством в Таллине, в 1961 г.).

В 1535 г. была напечатана первая эстонская книга — лютеранский катехизис, но художественная литература развивается гораздо позднее, в 18-м и 19-м в.в. Среди первых эстонских писателей было немало немцев и они отчасти германизировали грамматику и словарь. В недолгие годы независимости Эстонии, (1918-1940) писатели и языковеды старались очистить эстонский язык от германизмов и других иностранных влияний. Выдающийся филолог Иоханнес Аавик ввел в свой словарь много неологизмов, заменяющих выражения иностранные или же, по его мнению, чуждые эстонскому языку. Отметим, что поэт и критик Артур Адсон назвал Аавика «Мартином Лютером эстонского языка». Далеко не все созданные им новые слова были усвоены в живой речи, но многие из них вошли в поэтический язык. Поэтому иностранец, без труда читающий эстонскую прозу, иногда плохо понимает речь поэтическую.

Для ознакомления с эстонской поэзией очень существенны критические исследования и очерки профессора Антса Ораса. Он — выдающийся эстонец-европеец. Англист по специальности, он хорошо знаком с европейской литературой на разных языках. Между прочим, Орас виртуозно перевел «Домик в Коломне», большую часть «Евгения Онегина», а также много отдельных стихотворений Пушкина. Он тонко понимает и современную поэзию. В этой статье я отчасти следую его интерпретации эстонских поэтов — их стихи он переводил не только на немецкий, но и на английский. Антс Орас сумел показать эстонских поэтов на фоне европейской поэзии и ему, действительно удалось приблизить их к читателю, эстонского языка незнающему. В СССР часто переводят эстонцев, но подбор материала почти всегда делается не по художественным признакам, а критические отзывы обычно подсказываются «политикой» — партийными приказами «на литературном фронте».

Профессор Орас пишет о значении труппы «Молодая Эстония», возникшей в начале 20-го века. Ее вождь — Густав Суйтс (1883-1956), очень расширил круг интересов своего поколения. После него эстонская поэзия перестает быть провинциальной. Молодые Эстонцы (или Младо-Эсты) ориентировались на Запад, увлекались Ницше, Бергсоном, новыми французскими и немецкими поэтами. Выдающийся писатель и критик Фридеберт Туглас отметил влияние Вяч. Иванова на Суйтса, а о воздействии Ф. Сологуба на того же поэта писал Орас. Другие поэты иногда подражали Брюсову, Северянину, имажинистам. Русские влияния, однако, были слабее западных. Младо-Эсты были патриотами радикального направления и приветствовали возникновение независимой Эстонии, но во многих их стихах мотивы общечеловеческие звучали сильнее мотивов национальных.

Для Младо-Эстов и, в особенности, для их наследников, пишет Орас, характерен экспериментализм, а также и экспрессионизм. Им

хотелось как можно ярче передать в поэзии всю полноту напряженно пережитого мгновения жизни.

За последние 4-5 десятилетий эстонские поэты придают большое значение стилистике, увлекаются неологизмами Аавика, да и сами изобретают новые слова. Именно поэтому у читателя иногда создается впечатление, что эстонская поэзия, не столько по темам, сколько по языку, искусство преимущественно аристократическое, иногда даже эзотерическое, но это нисколько не мешает ее популярности в широких кругах населения. Эстонцы своих поэтов ценят и любят.

Самый выдающийся поэт Эстонии — Мария Ундер (род. в 1883 г., живет в изгнании — в Швеции). Есть в ее поэзии ощущение роковой неправды в мире, но есть и ощущение благодатного изобилия бытия. Есть жалость ко всему живому и есть страстное упоение стихиями. Ее большой талант — одаряющий, благословляющий. Самое качество ее стихов — светлое. Она тьмы не избегает, но идет «путем света» (и это — название одного из ее стихотворений). Таких поэтов, как Мария Ундер, трудно переводить. На другом языке можно воссоздавать слова, даже ритм, но чудо поэзии всё же ускользает. Нужно, однако, отдать справедливость Орасу, он сам поэт, и его переводы — живая поэзия, даже если ему и не всегда удается передать сияния стихов гениальной Марии Ундер. Трудно переводить и мелодиста Хенрика Виснапуу (род. в 1890 г. умер в 1951 г., под Нью Йорком). Это поэт очень талантливый, хотя и очень неровный. Иногда при переводе ускользает и мелодизм Бернарда Кангро (род. в 1910 г.). Ему удалось создать очень интересный синтез анимизма и патриотизма, при этом, он умело смешивает выражения южноэстонского диалекта с литературным языком.

Значительное явление — теолог и ориенталист Уку Мазинг (род. в 1909 г., живет в Тарту и лишен возможности публиковать свои стихи). Он поэт-богоискатель, мистик по восприятию мира и, по мнению Ораса, у него есть черты родственные Р. М. Рильке периода «Дуинских элегий». Апокалиптика XX-го века отражена в поэзии необыкновенно одаренного Хейти Тальвика (1904-1945). Алексис Раннит сказал о нем — это Франциско Гойя с душой фра Беато Анджелико. Ему мерещится распад нашего мира, его неизбежный конец. Неизбежность вообще одна из его любимых тем. Ему близки по духу — переведенные им «Пляски смерти» Блока. Из других русских поэтов он очень любил Анненского, Ходасевича, Георгия Иванова и высоко ценил философию Шестова. Всё у него — мучительно и он, с неистовством флагелланта, готов усиливать собственные муки. Иногда же, с отчаяния, он впадает в цинизм, а, вместе с тем, он глубоко верующий человек. Тальвик — душа страстная и поэзия его, то кощунственная, то пророческая, понятна многим нашим современни-

кам. Тальвик, враг нацизма, был всё же арестован большевиками в 1945 г. Он умер во время переезда из одного концентрационного лагеря в другой, на реке Оби, летом того же года.

Бетти Альвер (вдова Тальвика, род. в 1906 г.) тоже очень современный поэт-лирик и голос ее «приглушен» в Советской Эстонии. Для нее характерны отдаленные ассоциации, но, вместе с тем, есть конкретность, есть вещность и в ее причудливой поэзии. У Альвер много оригинальных образов и мыслей и это облегчает перевод ее стихов. В одном стихотворении передается атмосфера бреда: лирическому герою кажется, что его тело — огромный отель с лифтами, зеркалами, лестницами, коридорами, напоминающими извивающуюся змею. И этот имажинизм Орасу удалось хорошо передать.

Удачны и переводы Ораса стихотворений Алексиса Раннита (род. в 1914 г.). Его поэзия тоже очень образная (он мыслит метафорами). Напомним, что его стихи, в прекрасном переводе Лидии Алексеевой, часто помещались в «Новом Журнале». Раннит иногда напоминает французских парнасцев и некоторых наших акмеистов, но вместе с тем он и нео-символист, верящий в тайное и высшее значение каждой земной вещи. Любой хаос, как первоначальный, так и современный, из его поэтического мира исключается. Но его метрически строго выверенные стихи — не холодные, не бездушные, это не идеальные поэтические модели классицизма. Есть в них жизнь, есть дыхание, есть и романтический огонь. Орас находит в них «пламя подобное алмазу» — это цитата из книги Вальтера Патера по истории ренессанса. Для Раннита очень существенно творческое переживание искусства — в особенности картин замечательного эстонского гравера Эдуарда Вийральта. Это переживание было знакомо и Рильке — в годы его жизни в доме Родэна (Орас). Раннит, «принц эстонской поэзии» (по выражению Жана Кокто), откликается на самые разнообразные мотивы европейской культуры и европейского искусства. Об этом можно судить по его посвящениям и по темам последней его книги стихов «Сухое сияние» (Декарт, Стефан Георге, Сезанн, Брак, Итака, Лесбос, Керкира, Афон) и ему, действительно, удается передавать в стихах «музыку интеллекта» и «математику души» (выражения эти я заимствую из его стихотворения «Искание сущности»).

Из восьми поэтов, переведенных Орасом — пять эмигрантов, а трое остались в Эстонии — один из них преждевременно погиб, двое лишены возможности печататься. А среди нового поколения в Советской Эстонии выдающихся талантов нет.

Выскажем пожелание: следовало бы составить новую антологию эстонских поэтов и на других языках, включая русский. Сборник Игоря Северянина «Поэты Эстонии» (1928 г.) последних течений в эстонской поэзии не отражает. Изданная в Москве (в 1959 г.) двух-

томная антология эстонской поэзии — книга сугубо тенденциозная, в ней отсутствуют самые замечательные поэты Эстонии — Мария Ундер и Густав Суйтс. За исключением Бетти Альвер в ней нет ни одного из поэтов, переведенных Орасом.

Эстония от Суйтса и Ундер до Альвер и Раннита была богата выдающимися дарованиями. Каждый из этих поэтов поет свою арию в современной европейской поэзии. Пусть эстонский язык — язык маленького народа, но существенно ведь не количество, а качество. В хорватском Дубровнике числилось всего пять тысяч жителей, но эта южнославянская республика подарила Европе таких больших поэтов, как Ма́рулич и Гу́ндулич, а португальцев в эпоху Камоэнса было не больше, чем теперь эстонцев.

Юрий Иваск

ИВАН ГУНДУЛИЧ. *Слезы блудного сына*. Перевод Лидии Алексеевой. Вступительная статья, редакция и комментарии Р. В. Плетнева. Inter-Language Literary Associates. Вашингтон. 1965.

Наше знакомство с литературой югозападных славян до удивительности необширно. У большинства оно ограничивается гениальной подделкой Пушкина-Меримэ, а в самое последнее время пополнилось нобелевским лауреатом Иво Андричем...

Тем бо́льшая заслуга издательства, решившегося выпустить по-русски, в первой же серии своих книг, поэму далматинского поэта 17 столетия Ивана Гундулича «Слезы блудного сына». Этим несомненно в нашей литературе заполняется большой пробел.

Конечно, издание это ждет отзыва специалиста. Простому же прилежному читателю должно отметить обрамляющую перевод статью Р. Плетнева с обстоятельным разбором элегии Гундулича, дающую много специальных сведений касающихся стихосложения и весьма интересных мыслей по поводу «литературного барокко», а попутно обрисовывающую и своеобразный дух Дубровника, чудесно живущий и по сие время. Но нельзя не пожалеть, что хотя бы кратко не обрисован литературный портрет Гундулича, не рассказана его жизнь. А ведь несомненно жизнь его для такого рассказа дает достаточно материала!

Иван Гундулич, а по итальянскому произношению Джованни Гондола — знаменитый далматинский поэт, родившийся в 1588 г. в маленькой республике Рагуза-Дубровник на адриатическом побережье и умерший в 1638 г., был человеком и весьма одаренным, и образованным. Он изучал философию и право и был знатоком итальянской литературы. Очень быстро достиг Гундулич и высших государственных постов в Республике, но в историю вошел, как «король далматинской поэзии». Лирика его, эпос и драмы одинаково отлича-

ются и совершенством формы, и музыкальностью языка. Для нас интересно, что Гундулич является первым славянским драматургом. «Ариадна», «Прозерпина», «Клеопатра», «Дубравка» — названия его драм, полностью, к сожалению, не сохранившихся...

По содержанию все произведения Гундулича являются достаточно верным зеркалом его эпохи, в котором с одной стороны отразилось торжествовавшее в 16 в. классическое образование, а с другой — та мировая борьба Христианства с Исламом, в которой едва ли не передовую роль играло славянство. Самой большой вещью Гундулича является его эпос «Осман» в двадцати песнях, выдержанный в стиле итальянского эпоса того времени и посвященный польско-турецкой войне 1621 г. и деяниям и судьбе султана Османа Второго. Но самое значительное его произведение, это предлагаемая ныне в русском переводе элегия «Слезы блудного сына» в трех песнях-«плачах»: «Согрешение», «Познание греха», «Покаяние».

Каждому «плачу» предшествует эпиграф взятый из Евангелия от Луки и как из самого заглавия, так и по этому уже можно судить о религиозном устремлении «Слез» и правильно и интересно отмечается в вступительной статье то, что триптих Гундулича «проткан отголосками различных мест Евангелия», как и то, что в религиозной настроенности Гундулича есть явный католический уклон иезуитского оттенка.

Однако, менее всего можно видеть в «Плаче» произведение чисто религиозное или духовное: триптих этот явно автобиографического характера и в нем, на фоне пропитанной пряным грехом жизни 17 века, звучит страстной горечью голос покаяния за любовь недостойную к куртизанке, у которой всё было фальшиво, вплоть до накладки из золотистых волос! Подобные жизненные мелочи дальней эпохи, то и дело вплетающиеся в взлетающий до настоящего пафоса стих покаяния Гундулича, с истинной роскошью барокко насыщенный образами, чрезвычайно приближают к современному читателю триптих и его кающегося героя. Они придают своеобразную интимность, читатель проникается настоящим сочувствием и с облегчением вздыхает, когда «Слезы», завершающие литературно как-то и средневековый «миракль» — тоже увенчиваются «апофеозом»: блудного сына встретил сам Отец, «перстень дал ему на палец» и — «радость для него открылась — вечно славить Божью милость»...

Поистине надо поблагодарить Л. Алексееву с исключительным мастерством преодолевшую неимоверные трудности перевода. Трудности уже в своеобразии поэтического языка Гундулича, к которому словарей нет. Тем не менее перед нами стихотворный перевод секстин Гундулича, *перевод совершенно точный,* строка за строкой с сохранением ритма оригинала! Как настоящее чудо — при всей такой «подстрочности» — труд Л. Алексеевой всегда остается на

уровне высокой поэзии, передавая и аромат, и стиль эпохи. И разве только уж какой-нибудь особенный до того охотник в этом сосуде, полном меда начнет разыскивать капельку дегтя... Но вместо этого гораздо правильнее представляется нам — выразить радость появлению этого нового несомненного вклада в нашу литературу, сделанного прекрасным поэтом и первоклассным переводчиком — Лидией Алексеевой.

Ю. Офросимов

ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВА. *Прозрачный след.* Третья книга стихов, 1964.

«Прозрачный след» — книга талантливая и очень разнообразная. Она многое охватывает, на многое отвечает, о многом спрашивает. Тема природы; тема родины; тема лично-лирическая; тема детства; тема «историческая», т. е. тема пережитого во время войны; тема смерти. Пожалуй, каждая из этих тем могла бы заполнить тоненький сборник. Теперь же — теряешься: на чем остановиться? Что выделить? Высокое мастерство ровным светом рабочей лампы горит на всех страницах. Не так уж много зарубежом русских поэтов, которые умеют, как Алексеева, выразить то, что хотят, так точно, кратко и так изящно; в двух строках дать законченный пейзаж:

В лесной темнеющий покой
Ведут берез далеких вешки.

Или — в стихотворении об облаках — дать мягкими полуоткрытыми гласными ощущение легкости и быстролетности облаков:

И нежно тени по земле летели

С этой меркой точности и скупого изящества Алексеева подходит к каждой из своих тем. Очень сильна у нее тема смерти:

Всех дел не переделаешь,
Всех писем не напишешь,
Всех книг не перечтешь, —
Всё ближе стужа белая,
Зимой последней дышишь,
Последний ветер пьешь...

И совсем поразительно по сжатости:

Запах сырости и воска,
В крестном знаменьи рука.
Плач ребенка, гнев подростка,
Взрослых смирная тоска...

И, наконец, замыкающий книгу верлибр: — «...Не отнимай у нас игрушек наших, Господи! — чем-то напоминающий «Послушайте, если звезды...» Маяковского.

К теме смерти примыкает и стихотворение памяти Пастернака, где есть удивительная строфа о том, как — когда гроб поэта несли на руках на кладбище —

Листьями поспешно шевеля,
Что-то ветки вдаль передавали,
И вступились небо и земля
И Тебя себе на память взяли.

Второе стихотворение о Пастернаке — «В облетевшем лесу пустынно» — тоже очень значительно. Будучи как бы перепевом одного момента из «Доктора Живаго» — когда Юрий Живаго видит рябину в тайге, — стихотворение это в то же время совсем по-своему, по-особому освещает этот момент; оно глубоко по мысли, как философски-этической, так и идеологически-политической, и — опять-таки предельно-лаконично — закрепляет в образе звериную травлю Пастернака:

Он — один в тайге неоглядной
Он один в тайге — человек.

Алексеева откликается на многое, и своим безошибочным чувством меры создает стихи, мимо которых нельзя пройти. Таков «черный Данте в облетевшем скверике», — Данте, которого знают многие живущие на западной стороне Манхаттана, в Нью Йорке. Таков «Дубровник» с пленительным задумчивым размером:

На старинный светлый камень,
Утомленный солнцем и веками,
Лег вечерний розовый покой...

и с великолепной концовкой:

...Черный колокол времен.

Но может быть всего сильнее в этом новом сборнике Алексеевой нота трагедии нашего рассеяния. Два двухкатренных стихотворения я хочу привести целиком. Первое из них — чудесно по своей строгой, бунинской форме. И как оно сделано! Как инструментовано этими созвучиями гласных — «ает», «ая»; как соблюдена гармония частей:

Так взлетает по стеклу оса,
И звеня скользит, скользя взлетает,
Но стекло заклятое не тает,
Но стоит запрета полоса.

Вверх и вниз, как в безысходном сне,
Нетерпенье звоном выдыхая,
Чтобы стать, легчая, высыхая,
Летним сором на чужом окне.

Другим, быть-может лучшим стихотворением сборника мне хочется закончить этот отзыв:

Дети мелом чертили «классы»
На усталых камнях Стамбула.
В мире тлели иконостасы,
В мире смрадом убийства дуло.

Но кивая бантом крылатым
Скачет девочка так умело,
Что, по всем проскакав квадратам,
Меловой черты не задела.

Ольга Анстей

VLADIMIR MARKOV. *The Longer Poems of Velimir Khlebnikov.* University of California Publications in Modern Philology. Volume 62. University of California Press, Berkeley and Los Angeles. 1962. Pp 273.

Монография В. Ф. Маркова, по-моему, — лучшая работа о Хлебникове, хотя в ней и анализируются преимущественно его поэмы. Хлебников — явление в русской литературе загадочное. Даже знатоки с трудом разбираются в его зауми, и Марков признает, что последние две поэмы Хлебникова малопонятны. Вместе с тем, Хлебников, как это ни странно, связан со многими традициями русской поэзии, и Марков это хорошо показывает и разъясняет: в хлебниковском хаосе слышатся отголоски стихов чуть ли не всех русских поэтов, начиная с Ломоносова и Державина — до В. Иванова и Блока. Пусть все футуристы отталкивались от символистов и враждовали с акмеистами, но есть у Хлебникова своя символика и он сам говорил, что многим обязан Кузмину — мастеру свободного стиха, а характерные для него звуковые повторы культивировались многими поэтами предыдущего поколения. Всё же — чужие мотивы звучат у него иначе, чем у других поэтов.

Я бы еще добавил, что Хлебников, при всей своей оригинальности, типичен для литературы XX-го века. И здесь он не одинок. До него Рембо, а позднее дадаисты и многие другие европейские и американские поэты — насаждали и насаждают заумь и всему рациональному предпочитают иррациональное. Разумность человека отрицают и современные психологи — Колумбы подсознательного

мира. Наконец, алогичный поток сознания отражен в романах Пруста и Джойса. Это значит — странный Хлебников не так уж странен на фоне нашей эпохи или же, по крайней мере, для современной литературы. «Эпохально» и его тяготение к примитиву, но, вместе с тем, все эти новые тенденции преломились в нем иначе, чем у других «темных» поэтов и непонятных художников.

Многие считали его гением, и не только собратья-футуристы, но и «акмеист» Кузмин, а кн. Святополк-Мирский находил в нем черты и гения, и идиота... Для Маркова Хлебников поэт-примитивист: он не анти-культурен, он анте-культурен (т. е. до культуры). Далее Марков утверждает, что Хлебников похож на ребенка, читающего книгу для взрослых: кое-что он понимает, но многое он истолковывает по своему, перевирает; и, подобно детям, часто теряет интерес к своей игре — игре в слова и, поэтому, стихов иногда не отделывает, темы не развивает и поэму не заканчивает. Да, есть в Хлебникове черты детские, как и черты дикарские. Но, как мы знаем, дети и дикари иногда достигают большого мастерства в искусстве. Их картины далеко не всегда мазня, есть в их малевании — организация, дисциплина. Я видел рисунок девочки (кажется — итальянки): в центре — зебра — и сине-черные полосы пересекают не только тело этого животного, но и всю плоскость картины. Так, эта девочка «озебрила» весь фон или «среду» зебры! Здесь очевиден замысел, здесь художественная логика. Марков упоминает об Анри Руссо: но есть законченное совершенство во всех его примитивных (и давно уже не странных!) картинах, как и во многих произведениях настоящих дикарей Новой Гвинеи или Полинезии. Есть организация и в примитивном фольклоре, но в детской «словесности» она менее отчетлива. У Хлебникова материал часто неорганизован. Многое не только непонятно, но и лишено очарования поэзии Рембо, позднего Мандельштама и некоторых заумных поэтов — наших современников, как русских, так и нерусских. А кое-что отзывается и графоманией. Дети (но едва ли дикари) иногда мелют чепуху, однако, чаще в жизни чем в своем примитивном искусстве. Вообще, Хлебников «несводим» к ребенку, к дикарю, хотя и имеет некоторые общие с ними черты.

Марков утверждает, что несуразность, неловкость — особый прием Хлебникова, — «мастера неточного слова». Но существует ли такое мастерство? Не лучше ли сказать, что он отчасти графоман, но, иногда и настоящий мастер-организатор, умеющий воплощать свои замыслы, что Марков и подтверждает многими яркими примерами.

У Хлебникова поражают его смелые и иногда очень убедительные языковые эксперименты, увлекающие лингвистов (напр., Р. О. Якобсона). Интересно его неправильное употребление грамматических времен (будь я влюблюсь). Тут же Марков отмечает, что вре-

мена «путали» Розанов, Ремизов, а также немецкие поэты Р. М. Рильке и Готфрид Бенн. Оправданы и некоторые хлебниковские неологизмы (седыня воды, божествины). «Самовитое слово» подсказало Хлебникову и его «Заклятие смехом» — знаменитых смехачей. Это не только экспериментальная лингвистика, это вполне законченное стихотворение, передающее все оттенки смеха — и слóва, и всей реалии этого явления. Хлебниковские смехачи (как и злобачи) столь же осмыслены, как бородачи, брюхачи, силачи, рвачи. Оправданы и некоторые звуковые повторы Хлебникова — иногда более удачные, чем у символистов. Эти аллитерации у В. Иванова иногда затемняют смысл, как мне кажется, без достаточного основания: Пьяный пламень поле пашет,/Жадный жатву жизни жнет... Более оправдана фоническая заумь Хлебникова: бобэоби пелись губы... (ведь *б* и *п* губные согласные!) или эти звуковые сближения: волны Волги — волки. Здесь Хлебников мастер точного, хотя и странного слова. Впрочем, Марков этого и не отрицает и кроме зауми, находит у него и «классику».

Некоторое отступление: каждый вообще поэт или испытанный читатель стихов найдет у Хлебникова — особенно близкие ему, любимые стихи. Иногда они понятные, простые:

Мне много ль надо? Коврига хлеба
И капля молока,
Да это небо,
Да эти облака. («Каменная баба»).

Но есть совершенство, есть прелесть и во многих его непонятных поэмах. Вспоминая Хлебникова, я часто твержу эти стихи (из «сверх-повести» «Зангези»): «Они голубой тихославль, они голубой окопад. Они в никуда улетавль, их крылья шумят невпопад». Не знаю — кто здесь «улетавль» (улетает?) — Зангези или сродные ему птицы, поэты, ангелы; и рай ли — «голубой тихославль» и «инеса» (иные небеса?), но вся эта глава («плоскость» 13-ая) звучит как серафическая песня песней, как будто отдаленно перекликающаяся с православным — Свете тихий, святыя славы... Здесь — мастерство, пусть странное, не вполне понятное, но законченное и поистине — высокое. И это лирика, а не эпос, и Марков прав, утверждая, что у Хлебникова немало лирических стихов, хотя обычно его считают преимущественно эпиком.

Уже не раз отмечалось, что у Хлебникова есть древне-славянские, языческие мотивы, а также и «евразийские» — шаманские, татарские, персидские. Но Хлебников не стилизатор подобно Городецкому, Зенкевичу, и уж тем более непохож он на Островского, хотя, как утверждает Марков, кое-что заимствовал из «Снегурочки». Вообще, он «брал» у многих, но его колдовство-волшебство — коренное его свойство-качество, ему одному присущее. И есть в его

поэтическом волхвовании некоторая мудрость — не змеиная, а голубиная.

Кажется, никто еще не «классифицировал» Хлебникова, как юродивого. Между тем, он сам подсказал это в своей персидской поэме «Труба Гуль Муллы»: мальчик-перс крикнул ему: — Урус дервиш... А дервиш тот же юродивый и поэт ему брат (*Путешествие в Арзрум*)! Юроды часто несут вздор, мелют чепуху, перевирают слышанное или читанное, как дети или идиоты. Но некоторые из них и при этом скорее немногие — поистине мудрецы, праведники: нищие духом, которым обещано Царствие Небесное или же — чистые сердцем, которые Бога узрят. В Хлебникове была нищета духа и чистота сердца. Он был бы или мог бы быть канонизированным юродивым в золотой век русского юродства, в XV-XVI ст. При каких-то других обстоятельствах Хлебников сделался бы им и в XX в., но он стал поэтом, а поэт его типа — несомненно, «брат дервишу»!

Очень интересна первая глава монографии Маркова: о футуризме. Кое-кто называл футуристов хулиганами, противополагая их акмеистам — дэнди! Это отчасти верно. Самый прославленный из всех футуристов, Маяковский, сознательно культивировал хулиганство и в жизни, и в поэзии, носил хулиганскую маску (впрочем, только до 1917-18 г.г.). Но юродивый Хлебников хулиганом не был. Марков формулирует иначе и очень удачно: около 1910 г. символист-тайновидец уступает место футуристу-инженеру, вдохновляющемуся десятой музой — Технэ (по выражению Н. Кульбина). При этом, мне кажется, это не столько инженер-конструктор, сколько инженер-лаборант, делающий опыты с языком, исследующий все потенции «самовитого слова». Это определение, утверждает Марков, «покрывает» не только всех футуристов, включая Хлебникова, но и многих поэтов и писателей, как будто далеких, чуждых и даже враждебных футуризму, но, вместе с тем, склонных к словесному эксперименту — Ремизова, Белого, Цветаеву, отчасти позднего Кузмина, Мандельштама 20-30-х г.г. и даже Ахматову (ее «Поэму без героя»). Здесь с Марковым нельзя не согласиться. Всё же «зерно» Хлебникова-экспериментатора, его *суть* — магическая. Его техника была служанкой его магии. Он инженер слова, но и колдун, даже шаман, а также нищий духом и чистый сердцем юродивый-дервиш, взыскующий града невидимого — тихославля в инесах. При этом, конечно, нельзя считать его только метафизиком. Хлебником приемлет и этот мир, в особенности, его красочные, евразийские (астраханские или персидские) аспекты, а также, например, и русскую бунтарскую стихию разинщины, пугачевщины. Наконец, в годы революции, он прозревал пришествие анархической Свободы-Неувяды... У Хлебникова — широкий размах, огромный диапазон. Но дело, конечно, не в одной тематике. В лучших своих стихах, *сдвигая* действительность, явь, он как-то блаженно-

юродски преображает и мир, и язык. Вообще же чтение хлебниковских стихов требует терпения. Но стóит пройти через его пустыни вздора, через все дебри графомании: усталого путника ждут вдали волшебные оазисы живительной поэзии. При этом, ему, несомненно, очень поможет подробный путеводитель Маркова по Хлебникову.

Юрий Иваск

КЛАВДИЯ ПЕСТРОВО. *Цветы на подоконнике*. Стихи. Австралия. 1964.

В одном своем стихотворении Клавдия Пестрово говорит:

...Всё разлетелось в леденящем шквале.
Ушел глубоко в землю тайный клад.
Нет!.. Мы не продали! Мы потеряли
Пути-дороги в наш вишневый сад.

«Вишневому саду» — преображенной детскими воспоминаниями родине — посвящено много стихотворений в этом сборнике. И это уносит поэта от ему сужденного экзотического приюта «Terra Australis» к далекому и потерянному краю.

Но и чуждую австралийскую природу поэт умеет ощутить, и увидеть — и «краснобурые спины скал, равнодушных к векам» и «сероватую жемчужину солнца, сияющую, изнутри лучась» — сквозь облака — и «прозрачные агаты смолы» на еловых стволах, и «атласный шелест океанского отлива», и «пену бесноватого прибоя», и всю «хмурую громаду океана», постоянно грохочущего поблизости. В уменьи видеть и ощущать экзотическую природу сказывается влияние Гумилева — одно из стихотворений так и озаглавлено — «С Гумилевым»:

Хорошо от шума городского,
От забот, от пыли — хоть на час! —
Взяв с собою томик Гумилева,
Лечь на теплый гравий, под баркас.

Улыбнуться Музе Дальних Странствий,
Взявшей сразу сердце на буксир,
И лететь — в чудесные пространства,
В героический волшебный мир!..

И всё же стихи Клавдии Пестрово не только описательны — они полны искренней, я бы сказала — беззащитной в своей откровенности — лирики, простых и сильных человеческих чувств.

Прелестно — и прекрасно сделано — стихотворение «Птица», — где птица из-под стрехи весь день спрашивает тремя нотами: «Оби-дел?» — и мучит этим любящую женщину, которую и на самом деле обидел любимый.

Больше всего, мне кажется, Клавдия Пестрово в своей сфере, когда она говорит — с пронзительной нежностью — о наших «братьях меньших» — об умирающем котенке, брошенной собаке, о сверчке, поселившемся в ее комнате, даже о срубленном дереве. Ее мечта — попасть после смерти в «звериный рай», где она встретит всех замученных на земле зверей.

Жестокость жизни и ее красота поочередно потрясают душу поэта, именно потрясают, — нет и следа равнодушия в этой взволнованной, горькой или восторженной поэзии.

Лидия Алексеева

ИВАН ГУНДУЛИЧ. *Слезы блудного сына.* Перевод Лидии Алексеевой. Вступительная статья, редакция и примечания проф. Р. В. Плетнева. Вашингтон. 1965.

Эта небольшая книжка заслуживает особого внимания. Переводы произведений славянских литератур на русский язык редки и часто слабы; иногда переводчик не решается пожертвовать языковым своеобразием оригинала и получается.. почти юмористическое произведение, вроде изобилующего самыми «дикими» полонизмами русского перевода «Пана Тадеуша» Мицкевича, принадлежащего Н. Бергу, в других случаях уж не такого беспомощного переводчика.

К счастью здесь перед нами — *прекрасный* перевод. К содержанию духовной поэмы Гундулича так подходят — не слишком обильные — церковнославянизмы и даже свободные рифмы. Впрочем вряд ли допустимы «неточные рифмы» вроде — старец :: в паре или человека :: в реках и т. п. Содержание передано прекрасно: и изображение печального жизненного пути «блудного сына» (Плач первый) и познание своей греховности, завершающееся жуткой картиной адских мучений (Плач второй) и «Покаяние» (Плач третий) с картинами «красы земной» и прославлением милосердия Господа, благостно принимающего раскаявшегося грешника.

Переводу предпослано введение проф. Плетнева, которое каждый читатель прочтет с пользою. Но мне хочется всё же сказать несколько слов о тех — для понимания поэмы Гундулича не слишком существенных — недоразумениях, которые я здесь встречаю. Иво Гундулич (1589-1638) — один из наиболее замечательных поэтов периода расцвета хорватской литературы на Далматинском побережьи. Главное произведение Гундулича, конечно, не «Слезы...», а эпическая поэма «Осман», которую ему не удалось закончить. Гундулич писал и другие религиозные произведения: это переводы псалмов и особенно небольшая ода «О Божьем Величии». Его блестящий, ясный и крайне сжатый стиль зависим и от традиций хорватской поэзии, имевшей за собой тогда уже столетнюю давность и в самом

конце 16-го века усвоившей стиль барокко, и от современной ему итальянской поэзии, о которой проф. Плетнев почти не упоминает. Славянские литературы переживали по временам периоды вспышек или даже «взрывов» литературного творчества: Болгария пережила такой период в начале 9-го века, Киев — в 11 и 12 веках, Чехия — в позднее средневековье, Польша и Далмация — в эпоху ренессанса и барокко. Понятие «поэзия барокко» представляется проф. Плетневу «*новым*». Это не совсем так.

Еще в 1893 году польский исследователь Порембович писал о польском поэте А. Морштыне, как о «представителе барокко». В новое время о поэзии чешского и украинского барокко писали с 1930 г. пражский проф. Вашица и пишущий эти строки. Поэтому не было оснований цитировать поздних замечаний В. Штаммлера (он барокко почти не занимался) и особенно Шпенглера! И неверно, что в эпоху деятельности Гундулича еще не было «зрелой» поэзии барокко в немецких литературах (оставляю это замечание на совести автора) «*не говоря* (!) о чешской, сербской и даже польской литературах» (стр. 7). В сербской литературе поэзии барокко в начале 17 века, конечно, не было. Но в польской литературе уже умерший в ранней молодости в 1584 Николай Сенп-Шаржинский оставил небольшое количество прекрасных стихотворений в стиле барокко, а Я. А. Коменский уже во втором десятилетии 17 века (он был почти-что ровесником Гундулича, род. в 1592 г.) дал наилучшие образцы чешской прозы в стиле барокко: «Письма к небу», «Лабиринт света...» и др. и уже тогда писал стихи.

Вообще о поэзии барокко у славян и в частности в России следовало бы сказать больше, чем только упомянуть «Комедию о блудном сыне» Симеона Полоцкого, которая «не имеет художественной цены вообще (?) в русской литературе». Но Полоцкий писал и стилистически тонкие проповеди, стихи и дал не плохой перевод Псалтыри в стихах (перевод двух псалмов по заслуживающему доверия преданию принадлежит царевичу, позже царю Феодору Алексеевичу). Полоцкий оставил русскую традицию (С. Медведев, Петр Буслаев), к которой примкнул в своей замечательной реторике Козьма Грек, а позже, отказавшись от изобилия церковно-славянизмов, поэзию барокко представляли и Кантемир, и Тредиаковский, и Ломоносов. Историки литературы (часто просто повторяющие школьную мудрость гимназических учебников), называют этих поэтов «псевдоклассиками». Это совершенно неверно! И если мы даже отнесемся с пренебрежением к Тредиаковскому (анекдотические стихи, ему приписываемые, — только *пародии* на его стихи), который, действительно писал стихи с грацией танцующего бегемота, то его связь с западно-европейским барокко так же несомненна, как и «барочность» поэтики Ломоносова, опирающейся главным образом на поэтику Ко-

усинуса (Коссен, его книга вышла около 1620-го года) и Помэ (1650 г.). И полемика Сумарокова против Ломоносова основана вовсе не на его личной антипатии, а именно на том, что в отличие от представителя барокко — Ломоносова, он был сторонником (французского) классицизма!

Один знаменитый химик писал о работах своего ученика: «он кладет хорошие яйца, но забывает покудахтать», — т. е. самому обратить внимание читателей на свои работы. И я позволю себе здесь сказать несколько слов о своих работах. Я дал ряд исследований и о славянском барокко вообще, и в частности о чешском, украинском, словацком и русском. Плетнев цитирует только мои беглые замечания в моей «Истории украинской литературы». О моих работах говорится, например, в обширной книге о славянском барокко венгерского историка литературы А. Андьела. Была и полемика, которую вели советские историки литературы против моих работ. Наиболее осведомленный из них, многознающий, но маломыслящий начетчик П. Берков считает, что самое понятие барокко не применимо к литературе, так как произведения поэзии барокко весьма различны. Но тогда трудно говорить и о реализме, так как вряд ли возможно найти «общий знаменатель» для Помяловского и Льва Толстого, особенно, если присоединить к ним еще таких «реалистов», как Софокл и Шекспир! Самый термин «барокко» был в литературах восточно-европейских стран долгие годы *запрещен* (не знаю, специальным ли декретом). Но сейчас это понятие (и мои работы о барокко) признаны и чешскими и польскими исследователями. Есть признаки, что и в советской литературе предстоит пересмотр этого запрета.

В русской литературе отзвуки барокко вновь появляются у поэтов эпохи Екатерины II: это ее придворный поэт, Василий Петров, изучавший английское барокко (кстати — блестящее; к нему принадлежит вся так наз. «метафизическая школа»), и вспыхнувший метеором А. Ржевский, забытый историками литературы, и наконец Державин (о его «барокко» есть, кроме моих замечаний, статья брюссельского слависта Клода Бакфиса). Историки русской литературы заграницей ждут очевидно появления авторитетной информации о литературе русского барокко от какого-либо советского специалиста — возможно даже от того же П. Беркова, которому уже время переучиться!

Я позволил себе это отступление, после которого хочу заметить, что я в общем приветствую предисловие проф. Плетнева и жаль только, что он остановил внимание читателей только на Гундуличе, забывая о других не менее замечательных поэтах хорватского барокко (ведь задача историка литературы не только в том, чтобы давать сведения о «генералах от литературы» и ставить им и их произведениям отметки — «самый лучший», «неудачный» и т. п.): это

например — Юний Пальмотич, Иван Бунич-Вутичевич (его изящные стихотворения могла бы перевести так хорошо зарекомендовавшая себя переводом Гундулича Лидия Алексеева), позже Игнят Джорджич (о которым есть хорошая немецкая книга г-жи Р. Лахман). О Гундуличе есть, кстати, немецкая книга проф. В. Сечкарева. Излишни в предисловии проф. Плетнева длинные и большинству читателей непонятные хорватские цитаты. Я не знаю также прав ли проф. Плетнев в том, что «Гундулич не был богат»: он во всяком случае принадлежал к верхнему слою торговой аристократии Дубровницкой республики.

Прекрасный перевод и интересное предисловие делают эту книгу — сейчас одну из сравнительно редких попыток познакомить русского читателя с литературами других славянских народов — ценным приобретением русской литературы заграницей.

Дм. Чижевский

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

Н. Нароков. «Могу!» Роман. Изд-во «Сеятель». Буэнос Айрес. 1965.

Евгений Раич. Современник. Стихи. Изд-во «Рифма». Париж. 1965.

Вл. Дитерихс фон Дитрихштейн. Собрание стихов. 1912-1964. Изд. журнала «Родные Перезвоны». Брюссель. 1965.

Николай Туроверов. Стихи. Книга Пятая. Париж. 1965.

Сергей Шаршун. Небо Колокол. Поэма. 1919-65. Изд-во «Вопрос». Париж. 1965.

Сергей Шаршун. Ракета. Лирическое повествование. Изд-во «Вопрос». Париж. 1965.

К. Э. Грундман. Их два путешествия в 1914 и 1920 г.г. Краткая но выразительная повесть. 1965.

Леонид Ганский. Слова. Стихи. Изд. автора. Париж. 1965.

Aleksis Rannit. 22 verse. Ablâncy György fordítasa. 1965.

The Slavic and East European Journal. Fall 1965. Vol. IX, No. 3. Published by the University of Wisconsin Press for AATSEEL.

А. Ванновский. Третий Завет и Апокалипсис. Токио. 1965.

Color and Rhyme. No. 55, 60. David Burliuk, Editor, Mary Burliuk, Publisher. Hampton Bays. 1965.

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА:

ЕЛЕНА ИШУТИНА

НАРЫМ

ДНЕВНИК ССЫЛЬНОЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ РОМАНА ГУЛЯ

ЦЕНА 2 ДОЛ. 25 Ц.
ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ
В «НОВЫЙ ЖУРНАЛ»

ИЗДАНИЕ «НОВОГО ЖУРНАЛА» Нью Йорк 1965

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION

(Act of October 23, 1962: Section 4369, Title 39, United States Code)

1. Date of Filing—Oct. 1, 1965.

2. Title of Publication—The New Review.

3. Frequency of issue—4 issues yearly (March, June, September, December).

4. Location of known office of publication—2700 Broadway, New York 10025, N. Y.

5. Location of the headquarters of general business offices of the publishers—2700 Broadway, New York 10025, N. Y.

6. Names and addresses of Publisher, Editor and Managing Editor—

Publisher, New Review, Inc., 2700 Broadway, New York 10025, N. Y.; Editor, Prof. Nicolas S. Timasheff, 140 West 86 St., New York 10024, N. Y.; Managing Editor, Roman B. Goul, 506 West 113th St., New York 10025, N. Y.

7. Owner (If owned by a corporation, its name and address must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual must be given).

New Review, Inc. No stocks. 2700 Broadway, New York 10025, N. Y.; President, Nicolas S. Timasheff, 140 West 86 St., New York 10024, N. Y.; Secretary, Alexis Goldenweiser, 523 West 112 St., New York 10025, N. Y.; Treasurer, David Shub, 920 Riverside Drive, New York 10032, N. Y.

8. Known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages, or other securities (If there are none, so state).—None.

9. Paragraphs 7 and 8 include, in cases where the stockholders or security holder appears upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for whom such trustee is acting, also the statements in the two paragraphs show the affiant's full knowledge and belief as to the circumstances and conditions under which stockholders and security holders who do not appear upon the books of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity other than that of a bona fide owner. Names and addresses of individuals who are stockholders of a corporation which itself is a stockholder or holder of bonds, mortgages or other securities of the publishing corporation have been included in paragraphs 7 and 8 when the interests of such individuals are equivalent to 1 percent or more of the total amount of the stock or securities of the publishing corporation.

10. This items must be completed for all publications except those which do not carry advertising other than the publisher's own and which are named in sections 132.231, 132.232, and 132,233, Postal Manual.

	Average No. copies each issue during preceding 12 months	*Single issue nearest to filing date*
A. Total No. copies printed	1200	1200
B. Paid circulation		
1. Sales through dealers and carriers, street vendors and counter sales	315	315
2. Mail subscriptions	840	843
C. Total paid circulation	1155	1158
D. Free distribution/including samples/by mail, carrier or other means	40	40
E. Total distribution/sum of C and D/	1195	1198
F. Office use, left-over, unaccounted spoiled after printing	5	2
G. Total/sum of E & F—should equal net press run shown in A/	1200	1200

I certify that the statements made by me above are correct and complete.

Roman Goul, Managing Editor

"НОВЫЙ ЖУРНАЛ"

под редакцией

Р. Б. ГУЛЯ и Н. С. ТИМАШЕВА

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

●

В 1966 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

●

Подписная цена 9 долл. в год (за 4 книги)
Цена одной книги — 2 долл. 50 цент.
Во Франции — 8 франков.

●

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, 2700 Broadway
New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: MO 6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня.